Светлана Аллилуева
ДАЛЕКАЯ
МУЗЫКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.

- Светлана Аллилуева
  -
  -
  - БЕЗ МАРШЕЙ
  - ПРЕКРАСНАЯ И ДОВЕРЧИВАЯ
  - ЗАПАДНЯ
  - ГРУСТНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
  - ДАЛЕКАЯ МУЗЫКА
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31

Светлана Аллилуева
Далёкая музыка

Настоящая книга была написана в Англии в 1983 году на английском языке и предназначалась для издателя в Англии. Однако она была издана в оригинале лишь в Индии, в августе 1984 года и только для книжного рынка Индии, Бангладеш, Пакистана.

Русский перевод подготовлен автором в 1987 году в США. Как говорил профессор-теолог Георгий Флоровский, которому пришлось заниматься переводом своих ранних работ, изданных в Англии: «Переводить самого себя на собственный родной язык неожиданно трудно». Это действительно так. Мыслить по-английски и писать по-английски совсем не то же самое, что думать по-русски и писать по-русски. И я надеюсь, что читатель это поймет и простит мне стилистические погрешности. Это — не книга, написанная по-русски, а перевод, хотя бы и сделанный тем же человеком.

Светлана Аллилуева,

автор и переводчик

Настоящий русский перевод подготовлен автором в 1987 г., в США. Оригинал на английском языке был издан в 1984 г. под названием «The Faraway Music», издательством Lancer International в Дели.

Копирайт издания на английском языке принадлежит Светлане Аллилуевой.

Тот, кто не поспевает в ногу
С остальными,
Возможно, слышит
Иного барабанщика.
Пусть шагает с той музыкой,
Которая слышится ему —
слабая и отдаленная.

Торо

БЕЗ МАРШЕЙ

Мне всегда слышался иной барабанщик.

Так было еще в СССР, когда я ходила в школу и училась в Московском университете. Я никак не могла попасть в ногу с остальными кремлевскими детьми и не поспевала в строю тех организаций, к которым мы должны были с детства принадлежать. Когда в университете меня тащили в партию, в двадцатитрехлетнем возрасте, я провалилась на экзамене по истории партии, что было большим конфузом для партийной организации университета. Вечно шагала я под свою собственную, индивидуалистическую музыку, под иной ритм…

Возможно, что это было наследством, полученным мной от моей романтической матери-идеалистки, а также от ее матери.

Но, может быть, это было также плодом воспитания в традициях русской классической литературы, созданной аристократией прошлого века, к которой мое поколение не имело ни малейшего отношения. Как бы то ни было, но мой индивидуальный барабанщик, который слышался только мне, спас меня от мерной поступи убежденных коммунистов.

Странная, отдаленная музыка не прекращалась с годами, напротив, она звала меня все дальше и дальше от Кремля, от обычаев советского общества и, наконец, увела меня за пределы моей родной страны. Но она продолжала звучать — слабая и далекая — и в свободном мире, где я жила, не позволяя мне присоединиться к среде эмигрантов и перебежчиков, вечно подсказывая мне что-то такое, чего не ожидали от дочери Сталина ни друзья, ни широкая публика.

И я привыкла жить с этой мелодией, полюбила мой собственный ритм и темп, хотя это часто приводило меня в закоулки, где блуждают одинокие индивидуалисты и мечтатели.

Но ведь только те, кто никогда не мечтает, любят шагать в колоннах под флагами, шагать на свою погибель, обреченные нашим жестоким веком. Они шагают в ногу, поют хором и подчиняются приказам как один, уставившись на знамя. И только индивидуалист с его одиноким усилием может повернуться и поплыть против течения к противоположному берегу — будь то в политике, в религии, в личной жизни или в любой области искусства. Но это нелегко.

Настоящий рассказ является продолжением моих двух автобиографических книг, хотя автобиография как таковая никогда не была моим намерением. Но также и не об Америке эта книга. Анализировать и оценивать Америку с политической или

социологической точки зрения не является целью автора. Как и в прежних двух книгах, мой главный интерес прежде всего обращен к людям, к нюансам и подробностям человеческой жизни, ко всему, что объединяет Род Человеческий, к тому, что роднит нас всех.

События и факты, люди и города, описанные здесь, возникали на пути автора с естественностью движения, но не всегда были выбраны автором по его предпочтению. Они описаны здесь в том порядке, как возникали передо мною в течение пятнадцати лет жизни в США.

В большинстве случаев я не была в состоянии изменить тот поток жизни — могучий поток свободного, многообразного общества, — в котором мне предстояло плыть. Я не была к этому подготовлена моим уединенным «викторианским» воспитанием в Советском Союзе. Но я приняла эту перемену с радостью, полюбила ее и следовала течению событий — нравились мне они или нет.

Эта книга не история достижений и успеха, потому что подобные цели никогда не стояли передо мной. И это не типичный рассказ об эмигрантской борьбе за достижение карьеры, славы, положения и богатства: в данном случае все было иначе. Не стремилась я также встретиться с известными людьми и знаменитыми умами Америки: жить среди обычных людей всегда было моим предпочтением. Большинство лиц, описанных здесь (часто под вымышленными именами), не известны широкой публике.

Я надеялась, что в Америке смогу вести тихую частную жизнь, как я это привыкла делать в Москве. Жить в стороне от правительства и его агентств, — то есть то, что было невозможно в СССР. Я надеялась жить среди интеллигенции — как это всегда было с моих университетских лет в России. И вообще мне так хотелось жить незамеченной — этого требовала моя замкнутая натура. Возможно, что это было слишком большим требованием к открытому обществу с его свободной прессой. Однако, как бы то ни было, мне часто в различные моменты моей жизни казалось, что я нашла в Америке то, что хотела; нашла, лишь для того, чтобы через минуту потерять вновь.

Оглядываясь назад, на те пятнадцать лет, я вижу это время тесно переплетенным — а не отделенным — со всей моей предшествующей жизнью, а также в тесной связи со всем, что было описано в предыдущих книгах — «Двадцать писем к другу» (детство и семья в СССР), «Только один год» (история коренной перемены, бегства из СССР, из коммунистической идеологии и от моего собственного прошлого). Нет нужды повторять на этих

страницах все то, что уже было описано. «Далекая музыка» предлагает дальнейшее развитие истории моей жизни.

Я надеюсь, что замечательные читатели, так хорошо понявшие мои прошлые книги, прочтут и этот рассказ и, быть может, это побудит их вернуться к уже знакомым страницам, и они попытаются представить себе мою жизнь как целое. Тем, кто мыслит политически, будет трудно увидеть это единство. Но те, кто рассматривают жизнь вне политики и идеологий, возможно, найдут здесь именно то, во что они верят.

Безусловно, я не оставила мир коммунизма, чтобы примкнуть к противоположной политической крайности. Хотя вначале было очень приятно поддаться искушению и проклинать все, чему меня учили с детства под красным флагом.

Однако со временем удивительная схожесть двух мировых держав — коммунистической и капиталистической — становилась мне все более ясной; к тому же я всегда верила в большое сходство двух великих народов — русского и американского. Со временем я стала все более склоняться к умеренным и более сдержанным правительствам и обществам, не страдающим крайностями советского подавления, с одной стороны, и тотальной свободы всего и вся, с другой стороны. Некий третий путь — полагала я, — возможно, спасет мир на планете, раздираемой на части враждой двух гигантов. И мир на земле, достигнутый благодаря умеренности в политике, представился мне единственной надеждой для будущего. Но этот вывод не был результатом пятнадцати лет, проведенных в США, — это был результат всей моей жизни, почти что шестидесяти лет. В первые годы в Америке я не думала подобным образом.

Свободный мир, и в особенности великая американская демократия, были уже превознесены почти всеми писателями эмиграции и уж, конечно, всеми перебежчиками из коммунистических стран. И я внесла свою лепту в это превознесение в своей книге «Только один год», абсолютно ослепленная улыбками здоровых дружеских лиц повсюду, где бы я ни появлялась. Роскошь и шик не прельстили меня, просто потому что в эти богатые американские пригороды я попала совсем не из бедности. После многих лет жизни среди американцев, наблюдая все ее проявления, начинаешь понимать многое, что тебя раздражает.

Начинаешь ненавидеть «паблисити» — явление, от которого никому нет пощады: лучшие люди Америки страдают от «свободной прессы» и находят ее вульгарной, невежественной, искажающей правду и глубоко негативной по отношению ко

всему. Начинаешь видеть ужасное невежество по отношению к «противнику», — такое же, как в СССР: там — полное невежество в отношении американской жизни. Тут американцев действительно уместно сравнить с русскими. Приемы пропаганды, применяемые обеими враждующими сторонами, стоят друг друга в своем качестве и служат только распространению предрассудков, порожденных далеко не лучшей частью общества. Милитаристские устремления и пропаганда в Америке поистине столь же дики и полны ненависти, как это можно наблюдать в СССР. Преступления и убийства, столь широко представленные американским кино и телевидением, равны такому же размаху преступности в СССР, с той лишь разницей, что в СССР это замалчивается прессой и искусством. Невежество удовлетворяет оба правительства куда более, нежели просвещенный идеализм, к которому обе страны продолжают лицемерно призывать. И, возвышаясь над всем остальным, созданные человеком арсеналы атомных вооружений обещают смерть не только врагу, но всей планете.

Все эти обстоятельства, не сразу увиденные мною, заставили меня пересмотреть мою первоначальную безграничную идеализацию системы частной собственности. Правительство крайних милитаристов в состоянии уничтожить мир, независимо от цвета своего флага: красного или полосатого со звездами. И в восьмидесятых годах нашего века недостаточно только бороться с коммунизмом на всех больших материках и малых островах: совершенно необходимо успокоить военный зуд обоих гигантов и научиться жить, сосуществовать рядом и вместе.

К подобному заключению я пришла постепенно, не сразу. Когда в марте 1967 года в американском посольстве мне сказали, что я могу лететь прямо в США, я была поражена и обрадована. Но, пройдя через пятнадцать лет собственного американского опыта, я смотрю теперь с большей симпатией на менее эмоциональные правительства, чем те два, так хорошо мне известные; мне ближе умеренность более спокойных голов в обеих этих странах-гигантах, — я говорю о СССР и США в равной мере; свои надежды я связываю с рационализмом европейцев и азиатов, а также нейтральных стран — теперь я смотрю в этом направлении в поисках ответа на вопрос: как спасти мир от полнейшего разрушения.

Прожив годы в СССР и в США, хорошо зная эту особую привычку мыслить большими категориями, присущую большим странам, я страшусь того, как похожи друг на друга эти две державы, и того, как они враждебны друг к другу.

Они так похожи, эти две огромные страны, населенные

многими народами, имеющие разнообразные климатические условия, соединяющие воедино различные религиозные и культурные традиции, созданные исторической необходимостью выжить, обремененные необходимостью одевать и кормить свое многомиллионное население. Абстрактные «русские» так же нереальны, как и абстрактные «американцы», — это плод воображения и пропаганды обеих сторон. Но внутри этих абстракций действительно существует огромное реальное человеческое сходство двух огромных народов.

«Благословенна жизнь маленькой скандинавской страны!» — сказал однажды некий американский политик, весьма критически настроенный по отношению к своей стране, но также и ее большой патриот. Нельзя с ним не согласиться. В самом деле, жизнь маленькой скандинавской страны, куда как благословеннее, нежели жизнь моей родины, простершейся на семь временных поясов с востока на запад… Куда как легче управлять, скажем, Норвегией. И идея создания атомных вооружений «для защиты от нападения» никогда не родилась бы ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в Швеции. Эта маниакальная идея порождена гигантами — странами, которые я знаю хорошо.

В эти дни я как бы стою на высоком плато, и с высоты моего жизненного опыта вижу лучше, чем кто-либо, как опасны обе гигантские страны, чьи народы (недокормленные в СССР и перекормленные в Америке) существуют под властью милитаристов со слабыми мозгами. Я вижу, как абсолютно необходимо вмешательство холодного разума миротворцев и посредников для того, чтобы приблизить и гармонизировать два противоположных лагеря, чья политика основана на эмоциях, большей частью негативных.

Между прочим, моя точка зрения не возникла так вот, вдруг. Еще в 1967 году в моем Объяснительном заявлении, написанном в посольстве США в Дели, несмотря на тогдашние мои запинки и поиски английских слов, мне удалось ясно обрисовать свою точку зрения. Индивидуалистка из Кремля, никогда не занимавшаяся политикой, я написала тогда: «…Я верю в силу интеллекта повсюду в мире, в любой стране. Я верю, что дом может быть где угодно. Мир слишком мал, человечество — это капля во Вселенной. Вместо борьбы и ненужного кровопролития человечество должно работать вместе для всеобщего прогресса… Для меня не существуют капиталисты или коммунисты, а только лишь хорошие люди и плохие, честные или бесчестные. И где бы они ни жили, — повсюду на земле люди одинаковы».

Это никак не было типичным заявлением перебежчика в подобных обстоятельствах, в момент перехода из-за «железного

занавеса» в мир свободы. Но я высказала это в состоянии необычайной ясности ума, так как момент был фатальный и говорить надо было коротко и ясно.

Откуда же пришли такие идеи ко мне, прожившей сорок лет в советской изоляции от внешнего мира? Безусловно, из книг, проглоченных за годы учебы, из искусства, из поэзии, из музыки, из религии, к которой я только недавно пришла, из университетского объема гуманитарных наук и, конечно же, от моих дорогих друзей из московской интеллигенции. Потому что Москва, дорогой читатель, состоит не только лишь из Кремля и из КГБ, как утверждают некоторые писатели-диссиденты перед американской и европейской публикой. Москва — как и вся остальная Россия, — не раз рождала и продолжает рождать умы необычайной глубины, души истинной духовности, которым близки идеи глубокого братства людей. Академик Сахаров, создавший водородную бомбу, заявил впоследствии, что все атомные арсеналы должны быть уничтожены. Оппенгеймер говорил то же самое в Америке. Одинокие в своем высоком мышлении, теперь они оба почитаемы миллионами последователей во всем мире.

С удивлением вижу я сегодня, что на самом деле я не одинока на земле. И хотя я никогда не маршировала на улицах «за мир» — ни в СССР, ни в США, ни в Англии, где мы живем сейчас, по существу я принадлежу к самому широкому движению, обнимающему все народы, все страны, — к движению за мир, к которому правительства все более прислушиваются. Они еще не подчинились ему, но и это придет.

После многих лет одиночества и разочарований, вызванных личными причинами в США, я вдруг вижу себя, как песчинку на берегу, как каплю в море, среди миллионов мне подобных, и мои слова лишь повторяют то, что поет весь хор. Так вот куда вела меня далекая музыка, и, по-видимому, не только меня. Вот, что отбивали палочки моего — иного барабанщика, когда он звал в поход, но не на войну. Вот, о чем был его марш.

* * *

И вот, дорогой читатель, когда мое фатальное заявление было направлено послу США в Индии и начало двигаться по лестнице дипломатической субординации к Вашингтону, я ничего не заявила насчет «политического убежища в США» — так как этот легальный термин мне не был в то время известен. Я познакомилась с подобной терминологией позже, уже находясь в

США. А в тот роковой момент я просто решила, по наивности, что каждый, переступивший порог иностранного посольства, будет принят в данную страну. Или — в противном случае — будет возвращен в Советский Союз. Я сознавала эту страшную возможность вполне серьезно и думала о ней все время — пока наконец не была принята (после остановки в Швейцарии) в Соединенные Штаты. Только тогда этот страх покинул меня.

Но вполне представляя себе подобную наихудшую возможность (какой-нибудь «обмен»), а также хорошо зная образ мышления советского правительства, я не могла сейчас выбирать, настаивать, требовать что-либо у моих новых покровителей. Я не могла себе позволить оценивать то, что происходило.

Тем временем моя рукопись «Двадцать писем к другу», находившаяся при мне в Индии, была взята на просмотр и передана, страница за страницей, не известным мне техническим методом, прямо в Госдепартамент в Вашингтоне, где шесть ее копий были розданы различным специалистам по советским делам, для того чтобы определить ее качество.

Затем я была быстро выдворена из Индии, чье правительство, вполне возможно, могло бы отправить меня домой в Москву. И, пока я в буквальном смысле висела между небом и землей — в самолете где-то между Дели и Римом, — несколько правительств в бешеном темпе решали вопрос, как бы так вывернуться, чтобы Москва не была слишком оскорблена; как в то же время сохранить собственное достоинство; и как, по возможности, обезвредить этого странного перебежчика. Без сомнения, в тот момент существовали подозрения, что дочь может начать действовать подобно своему отцу, который умел выигрывать на международной арене: хитрыми, непредвиденными путями, ошарашивая своих вежливых, цивилизованных оппонентов. Оглядываясь назад, на те дни, я вполне понимаю страхи, мучившие даже посла Честера Боулза, наиболее человечного из всех, кто принимал участие в этих событиях, и буквально спасшего меня тогда. Они все могли подозревать наихудшее.

И вот после некоторого размышления и задержки Государственный департамент решил «сбросить» меня на маленькую Швейцарию (с ее согласия), пока в американской прессе бушевала буря. В печати были высказаны протесты, раздавались призывы не позволять мне ступить на «священную землю Америки». Джеймс Рестон подытожил официальную точку зрения в «Вашингтон пост» в статье, озаглавленной «В другой раз, Светлана!». Русские эмигранты ожесточились больше всех и требовали, чтобы меня «отправили обратно в Советскую Россию».

Но в те дни я ничего этого не знала, и никто мне об этом не

сообщал. Я лишь несколько удивилась перемене настроения, так как вначале американская виза была поставлена в моем советском паспорте, которым меня снабдили в Москве для поездки за границу. Но позже, когда мы приземлились в аэропорту да Винчи в Риме, мне сказали, что мы «должны обождать», так как что-то переменилось в Вашингтоне. Еще чуть позже, уже в Швейцарии, специальный эмиссар Государственного департамента приехал поговорить со мной, и я вдруг снова стала вполне приемлема для въезда в США. И вовсе не в какой-то «другой раз», а сейчас, прямо через две недели!

Моя голова кружилась, все плыло, как в тумане. Ландшафт быстро сменялся один за другим: Дели, Рим, швейцарские Альпы, а мне все еще не верилось, что все это наяву и что меня не отсылают назад в Москву…

А когда почтенные адвокаты из Нью-Йорка, с Мэдисон-авеню, приехали в Швейцарию, чтобы обсудить со мной издание моей книги, когда вдруг все это стало реальным, я была ошеломлена окончательно.

Разговоры на юридическом языке о «фондах», «завещаниях», «правах», деньгах, о доверенности адвокатам и прочих подобных вещах, были для меня китайской грамотой. Советский гражданин ничего не знает об этих вещах, и, даже если бы на этих переговорах присутствовал переводчик, он тоже ничем не смог бы мне помочь.

Совершенно вслепую, без малейших возражений я подписала все, что меня просили подписать, абсолютно не подозревая в то время, что я тем самым отказывалась от прав на собственную книгу и от всех прав, которыми обладала как ее автор. Что тем самым я отрекалась от всякого контроля над собственной жизнью на вполне продолжительное время; что теперь мои адвокаты будут принимать решения за меня и для меня — даже в отношении этой безумной «паблисити», то есть это они, а не я будут решать где, когда и что я буду говорить. (Заявление было подготовлено, чтобы прочесть его по приезде в США.) И я должна заметить, что адвокаты не потратили ни минуты, чтобы попытаться объяснить мне все эти юридические соглашения и документы.

С облегчением и бесконечной радостью я узнала, что меня не отсылают назад в СССР. И обученная моей советской жизнью подчиняться, молчать и не спорить со старшими, я безоговорочно принимала теперь все, что мне говорили, предлагали и на что мне указывали американцы. Несомненно, что мое «кооперирование» всем очень понравилось, и я видела вокруг улыбающиеся лица. Я ничего не понимала, кто кому платит,

сколько заработают адвокаты на продаже прав на мою книгу по всему миру. Я просто плыла, не делая никаких усилий, на волнах сумасшедшего «американского успеха» — от одного интервью к другому, искренне веря, что, по-видимому, это принято в Америке…

И прошло много времени, дорогой читатель, годы и годы, прежде чем я поняла наконец, что даже в Америке это совсем не всегда так; и что в моем случае совсем не было необходимости все делать, как это было сделано.

Кроме того, я полагала, что мой приезд в США, — это приезд человека, который собирается «жить в Америке». Мне никто не сказал, что мне была выдана лишь туристская виза на шесть месяцев (позже она была продлена). Таким образом, политический факт моего «дефекторства» из СССР в глазах публики превратился в «международное путешествие» дамы, которая захотела после поездки в Индию «…издать свою книгу в Нью-Йорке». По крайней мере, именно это было сообщено американской публике.

Сентиментальный идеализм, которым я страдала в те времена, нашел достойное и щедрое отражение на страницах «Только одного года», истории необыкновенного года 1967, приведшего меня из СССР через Индию в Соединенные Штаты; года, от которого началось для меня новое летосчисление. Откройте те страницы, дорогой читатель, чтобы узнать, как чувствуют себя перебежчики, только что принятые в Америку! Это был водоворот событий, лиц, огней, все, как в тумане, без возможности сосредоточиться, подумать, принять разумные решения, понять кто был кто…

Никто и не ждал от меня решений. Они были сделаны за меня, соответственно с двумя доверенностями на имя моей адвокатской фирмы, которые я подписала. Я не жалею о том, что работавшие для меня в те дни люди были счастливы. Но я сожалею о том, что им ни разу не пришло в голову, сколько несчастья они привнесли в мою будущую жизнь в Америке, сделав меня «знаменитостью», выставив меня напоказ во всем этом блеске и мишуре, подав повод для спекуляций о «миллионах», заработанных на публикации книги. Американцы так никогда и не узнали истинную историю о тихой девочке, воспитанной в занятиях и работе в ее советском заточении. Вместо этого им была предложена версия, соответствующая пропаганде и предрассудкам, о «кремлевской принцессе», якобы решившей «вновь попользоваться хорошей жизнью, после того как ее отец умер и ее роскошная жизнь в СССР окончилась». Немудрено, что многие отвернулись от меня и от моей книги, в особенности

русская эмиграция.

Да, мне довелось узнать многое, в том числе и хорошие отрезвляющие уроки, в последовавшие за моим побегом годы. Моему поколению, которому не дозволено было путешествовать за границу, свойственно было идеализировать Америку. И эта идеализация должна была уступить место трезвым оценкам. В конце, — оглядываясь назад из сегодняшнего дня, — я, наверное, должна быть благодарна за все «обучение», которое я прошла здесь. На этот раз моим учителем была жизнь, а не книги, не университетские лекции.

…А далекая музыка продолжала звучать, слабо, но непрерывно. Она требовала, чтобы я жила все эти годы по-своему. Она вела меня от мишуры первых лет к нормальному образу жизни, свойственному мне даже в те далекие времена, когда мой отец был главой государства.

Далекая музыка пела мне, что надо верить в хороших людей. И как-то само собой хорошие люди появлялись, где бы я ни жила. Спустившись вниз от статуса «знаменитости» на уровень домохозяйки из маленького городка, я нашла в этой среде много добрых друзей, часто соседей на той же улице. Я опять была разведенная мать-одиночка, чего я совершенно не ожидала; но, по-видимому, это определено было судьбой. С поздним материнством возникла необходимость и самой переучиваться, чтобы воспитывать дочь в американской культуре. И это «образование» было получено мной не из книг, а часто добыто своими руками и опытом. В общем, это было хорошо, но трудновато и несколько поздно в мои за пятьдесят.

Но эта жизнь матери и домохозяйки познакомила меня с Америкой ближе, чем все остальное, а американский образ жизни стал моим образом жизни с поразительной легкостью. Возможно, потому что это наиболее легкий и комфортабельный образ жизни: американская домохозяйка — самая избалованная женщина в мире, и также избалованы ее дети.

Интеллектуальные и художественные круги Америки, за редким исключением, не приняли меня в свою среду. Возможно, их отвратила вульгарность, окружавшая меня в первое время моей жизни в Америке. Но это не было моим решением: статус знаменитости не был моим выбором.

Все годы, проведенные в Америке, я тосковала по компании моих друзей — прекрасных артистов и интеллигентов, которых я знала в Москве и Ленинграде. По тем, кто всегда видел меня отдельно от моего отца, и понимал меня как человеческое существо. Как мне хотелось и тут, в Америке, находиться среди подобных же людей, высокообразованных — но у меня не было к

ним доступа. Мне так не хватало интеллигентных друзей и знакомых, вероятно, еще и потому, что я никогда не была хорошей домохозяйкой. Я стала ею лишь в американском пригороде, и это было не лучшим из моих перевоплощений.

Может быть, не стоит жаловаться на это. Свой дом и моя девочка требовали моих забот, но и поддерживали меня внутренне. Сама жизнь приносила мне немало утешений среди повседневных домашних хлопот. Это были моменты спокойствия и счастья среди простых вещей и простых забот дня. Я полюбила свой маленький собственный дом, мой маленький сад — чего у меня никогда ранее не было; работая здесь целый день, я познала необычайное удовлетворение, которое может дать простая жизнь, удовлетворение, которого я раньше не знала. Мы путешествовали по стране на машине с моей маленькой дочерью, мы поистине росли вместе, и я училась новой жизни вместе с нею.

Из-за моего внутреннего отвращения к собственному прошлому я никогда не учила ее русскому языку, ни одному слову; мне хотелось, чтобы она чувствовала себя стопроцентной американкой. И в самом деле такой она и росла. Процесс роста моей дочери и ее воспитание в конце концов помогли мне почувствовать, что Америка — это наш дом. И после долгих десяти лет ожидания натурализация и американское гражданство были естественным шагом для меня.

В течение тех лет я незаметно возвратилась к самой себе от неестественного для меня статуса знаменитости. Мне всегда было свойственно жить одной и заниматься воспитанием детей. Как неизбежно повторился опять тот же самый круг! Внутренне я мало изменилась, по-прежнему сохраняя любовь к морским побережьям, к камерной музыке, к горящим каминам, к хорошим фильмам. Я приняла Америку как свою, так же как ранее я приняла Индию, и поместила ее в своем сердце вместе с Россией и Грузией. Конечно же, не о правительствах я говорю, а о незнаменитых хороших людях, о красоте и величии природы, о всем том, что объединяет людей повсюду на земле.

Глядя на Америку сегодня, я вижу ее такой, как описал ее Владимир Набоков в «Лолите» — так точно и хорошо: «… прекрасная, доверчивая, мечтательная, огромная страна».

Я полюбила эту страну и ее доверчивых, мечтательных, щедрых людей, всех тех, кто живет, любит, растит детей, а не увлечен смертельной игрой в политику. Друзей и земляков моей младшей дочери.

Светлана Аллилуева
Кембридж, Англия. 1983

ПРЕКРАСНАЯ И ДОВЕРЧИВАЯ 1968–1970

В середине июня главная улица Принстона в штате Нью-Джерси выглядит приятной и солнечной. Ежегодный парад выпускников университета закончился на прошлой неделе, но в городе все еще было полно бывших студентов всех возрастов, от двадцати до восьмидесяти, одетых в разнообразные костюмы, соответственно с годом окончания. Уже становилось жарко и душно, как обычно в это время года, но ходить пешком было все еще приятно.

Молодой человек, походивший больше на школьника, быстро обогнал меня и остановился прямо передо мной. «Я вас знаю! — выпалил он. — Все ваши фотографии просто ужасны. Вы совсем не похожи на себя».

На мне было дешевое платье из местного магазина и сникерсы на босу ногу. Что ему нужно? Чего он хочет? Мне был симпатичен этот мальчик в роговых очках с сильными линзами.

«Я сделаю ваш хороший портрет, если вы согласитесь посидеть. Согласны? Я — фотограф, серьезно занимаюсь фотографией. Я вам принесу свою коллекцию работ!».

«Хорошо, — сказала я. — Конечно!» Я сама когда-то занималась фотографией, проявляла, печатала, все делала сама. «Приходите ко мне, и, если ваш портрет будет удачным, я помещу его на обложке моей новой книги».

«Правда? — спросил он. — Тогда я скажу своей маме».

Несколько встревоженные родители позвонили мне по телефону и представились. Отец был инженером со многими патентованными изобретениями. Он был заинтересован. Мать была озабочена. Я заверила их, что мои намерения вполне серьезны.

Коллекция работ мальчика была очень хороша. Восемнадцатилетний юноша — он выглядел пятнадцатилетним — обладал острым, наблюдательным глазом, черно-белые фотографии были отличными. Родители сознавали, что он должен серьезно заняться фотографией, он уже был принят в Технологический институт в Рочестере. Мой фотограф был очень маленького роста, и, если бы не его уверенный, зрелый глаз профессионала, казался совсем ребенком. Я вполне понимала беспокойство его матери.

Мы сидели все вместе на солнечной террасе дома, который я снимала в Принстоне и где писала тогда свою книгу о бегстве из

СССР «Только один год». Кристофер щелкал аппаратом, пока я разговаривала с его родителями. Это была очень приятная, совсем не формальная встреча. Я говорила им, что действительно мне нужна была хорошая фотография, и рассказала им смешную историю, как я позировала известному нью-йоркскому фотографу Филипу Хальсману.

Это была безнадежная попытка снять меня в его громадной мастерской, настолько неудачная, что он даже не показал мне первые снимки. У Филипа Хальсмана был свой метод: вы должны говорить о чем-то крайне важном для вас, и тогда вся ваша внутренняя сущность обнаружится и будет зафиксирована в портрете. Но как быть, если вы больше всего любите молчать? Мне не хотелось опять разговаривать в тот день, опять эти интервью — теперь его жена задает мне надоевшие вопросы… Я была напряжена, раздражена, мне было не по себе.

Друг Хальсмана, присутствовавший при съемках, также пытался помочь мне «раскрыться», но он заморозил меня окончательно. Друг этот был не кто иной, как художник Сальвадор Дали, и его эксцентричный вид и странные истории, которые он излагал передо мной, никак не способствовали моему «самораскрытию». Разочарованный Хальсман написал мне позже, что я «не раскрылась». Возможно, что и так. А почему я должна это делать по указу, для других? Мы больше не встречались.

А тут мы болтали на летней террасе, и так естественно было расспрашивать эту пару об их детях, а я рассказывала им о моем сыне и дочери в СССР. Мы стали друзьями и впоследствии переписывались много лет. Фотографии получились прекрасные, и я послала одну из них в издательство «Харпер энд Роу». Осенью 1969 года, когда «Только один год» появился в продаже, фотография, сделанная Кристофером, была на обложке. Некоторые европейские издательства также взяли ее. Мать Кристофера пошла в издательство обсуждать оплату работы ее сына. «Он ничего не понимает в этих делах!» — сказала она. Кристофер получил заказы на портреты других авторов.

То были мои счастливые, лучшие годы в Америке.

Я стала, действительно, писателем и работала над новой книгой с энтузиазмом и с вдохновением. Мой собственный план заключался в том, чтобы описать тот год — 1967 — невероятный год перемены. Возможно, мне следовало бы озаглавить книгу «Год перемены». Но я также хотела сказать, как много всего случилось только в один год. Сконденсировалось только в одном году. Если бы мне удалось сделать книгу такой, как я этого хотела, она была бы лучше: в ней было бы меньше пропаганды, меньше политической риторики и больше человеческих деталей.

Я многое повидала в тот год, и это должно было быть детально описано. Увы, советовавших было более, чем нужно, и все они были более опытными писателями, чем я, и их авторитет подавлял меня. Однако глава об Индии получилась такой, как я хотела, потому что никто особенно не беспокоился об Индии. Эта глава и есть самая лучшая в книге.

Я все еще писала тогда по-русски, это был единственный язык, на котором я думала, видела сны, считала. Я могла тогда писать только по-русски, обычно сидя на террасе, на низкой табуретке перед моим швейцарским Гермесом, босиком, в шортах и майке. Воздух лета наполнял аромат свежеподстриженных газонов. Моя хозяйка — музыковед — уехала путешествовать вокруг света, собирать колыбельные песни на разных языках. Свой дом она оставила мне вместе со всем имуществом, а также вместе с полотером-негром и садовником-итальянцем.

Негр начал сейчас же жаловаться на свою жизнь, и вначале я слушала его с состраданием. Но когда выяснилось, что у него трое детей в колледже, что у него дом и машина — о чем все еще мечтают врачи и учителя в СССР, — я перестала его слушать. Пусть бы он попытался жить в какой-нибудь другой стране! Может быть, тогда он бы перестал жаловаться.

Садовник-итальянец жаловался на жизнь тоже. Он говорил, что в Италии он был учителем, но в США не смог найти работу и стал садовником, чтобы поддерживать семью. «Приходите к нам в гости, мы живем недалеко, — сказал он. — Моя маленькая Тереза скоро получит свое первое причастие».

Мне было любопытно, и я пошла. Угощали обильной едой, макаронами, мясными фрикадельками и наконец — зайцем. Красное кьянти помогало проглотить все это изобилие. Тереза была крошечная девочка с печальным личиком, как у отца. Ее мать была женщиной колоссальных размеров. Двое сыновей обычно помогали отцу подстригать лужайки в Принстоне.

Вскоре настал день подумать и о собственной машине. Мои братья научили меня ездить, когда я была еще школьницей. Они обучали меня на лесных дорогах за городом, по секрету, так как боялись, что наш отец, узнав об их собственных машинах, отнимет их как «излишнюю роскошь». А когда я уже была взрослой с двумя детьми, отец настоял, чтобы я купила себе машину и показала бы ему мои водительские права. Он как-то не верил, что молодая женщина могла водить машину, а он — нет. Удостоверившись, что я справляюсь с этим делом, он дал мне денег на покупку машины и заметил, что я должна «сама покупать бензин. Чтобы не тратить государственные деньги на шоферов!». Это было лето 1952 года.

Здесь в Америке я выбрала обычный незаметный «додж», чтобы легче было ремонтировать, если нужно, в любой мастерской. Я мечтала когда-нибудь отправиться в поездку через всю страну на машине, взяв только собаку, совершенно одна. Собака и машина были пределом моих мечтаний о собственности в те дни. Несмотря на большие деньги, где-то в Нью-Йорке, положенные в банк на имя моей адвокатской фирмы, мне никогда не приходило в голову отправиться покупать меха, бриллианты или хотя бы хорошую, дорогую одежду. Меня вполне удовлетворяло то, что я покупала в местных магазинах. По сравнению с готовой одеждой в СССР это было очень хорошо! И мой вкус оставался весьма консервативным, — я не знала ничего иного.

Отец Кристофера, молодого фотографа, предложил помочь мне выбрать автомобиль на огромном рынке в Ленгхорн (Пенсильвания), так как, безусловно, я не смогла бы выбрать сама хороший мотор. Мы провели там около шести часов, измучившись, просмотрев многие ряды разнообразных машин, и остановились на четырехдверном «седане» бутылочного цвета. Кондиционер я считала ненужной прихотью и сэкономила на этом. Мы приехали на машине домой и долгое время я просто сидела и смотрела на нее, обожая свою покупку. Темно-зеленая снаружи и черная внутри, она больше подошла бы пастору. Но я еще не научилась жить с яркими красками, характеризующими американскую жизнь. Для меня это был прекрасный автомобиль, который служил мне десять лет, пока я не обменяла его на другую модель «доджа».

Теперь мне нужно было получить права. Я начала практиковаться с автоматическим переключением скоростей. Это заняло некоторое время. Сын садовника-итальянца согласился учить меня. Он отнесся к этому очень серьезно, и мы практиковались в его машине на проселочных дорогах Нью-Джерси. После этого я прошла испытание в Трентоне и вернулась домой с правами, и на седьмом небе от счастья: я могла теперь ехать одна куда угодно!

«Так куда вы поедете?» — спросил отец Кристофера. Он к этому времени помог мне также купить портативный радиоприемник RCA и портативный (черно-белый) телевизор этой же марки.

«Ну, я просто поеду куда-нибудь по сельским дорогам, в лес или в поля, чтобы гулять, собирать полевые цветы… Никуда в особенности. Машина делает меня свободной. Я люблю ехать одна и слушать радио, музыку». — «Вы любите независимость», — заключил он. Должно быть, он был прав.

Его жена учила меня премудростям хозяек: как тратить меньше денег. Покупать только в периоды распродажи и в более дешевых супермаркетах. Покупать большие количества, так как это обходится дешевле, чем когда делаешь много мелких покупок. Но я не смогла следовать ее добрым советам. Мне нравились маленькие лавочки Принстона, куда я отправлялась всякий раз, когда мне было что-нибудь нужно. Это было дороже. Но супермаркеты были отвратительны, а здесь, в местной лавке, можно было остановиться и запросто сказать «хэлло» продавщице, как правило, хозяйке. В маленькой лавочке с вами разговаривают.

Потом я открыла для себя огромные площади с магазинами, целые «города торговли», с переулками и фонтанами под крышей, с ресторанами, чтобы перекусить и продолжать покупки… Выходишь из этого «города закупок», перегруженный ненужными пакетами, потратив все деньги, и долго ищешь свою машину, затерявшуюся где-то на стоянке, размером с футбольное поле. Позднее я сама покупала только в таких супермаркетах, вынужденная рационально экономить. Но в первые годы в Америке, еще только привыкая к нормальной жизни после всех шоков и перемен, я наслаждалась маленькими лавочками.

В хозяйственном магазине миссис Уркен можно было найти все, что вам могло когда-либо понадобиться. Миссис Уркен — небольшая, полная темноглазая женщина с распухшими щиколотками от многочасового пребывания на ногах — всегда находила нужную вещь. У нее в лавке было собрано поразительное количество разнообразных товаров, нужных в хозяйстве. Но самым замечательным в ней была все же сама хозяйка. Она знала каждую семью в городе в течение многих лет, и, казалось, предвидела, за чем могут прийти люди. Едва лишь покупатель открывал рот, она уже устремлялась к своим полкам и закоулкам и вскоре находила нужное. Я видела, как она проделывала это с каждым покупателем — без исключения. Почти все жители этого городка шли к миссис Уркен. Исключение составляли лишь студенты, покупавшие в более дешевом «Вулворте».

Меня миссис Уркен встретила приветливо, познакомила со своим сыном, помогавшим ей в лавке, и я сразу же поняла, что буду часто наведываться сюда: на первый раз мне был нужен длинный шнур для телевизора. Она спросила, где я живу, и по тому, как она кивала головой, я поняла, что она знает мою хозяйку, а также моих соседей.

Миссис Уркен была не просто владелицей лавки. Она старалась быть другом каждому и всем помочь. После всех моих «миграций» — в Аризону, в Калифорнию — я всякий раз

возвращалась в Принстон, и через несколько дней приходила к ней, встречаемая здесь не любопытством, а желанием помочь. «Ну-с, где вы теперь живете?» — следовал ее вопрос, и юмор светился в глазах. И, прежде чем я могла произнести: «Ах, миссис Уркен, мне надо начинать все сначала, с помойных ведер!..» — она уже вела меня к нужной полке. «Сюда, сюда. Я сейчас покажу вам, что у нас есть».

Как только я устроилась в своем первом снятом доме, зашла соседка, представилась и пригласила меня на коктейль с другими соседями. Почему бы и нет? Я с радостью согласилась. В те дни все было для меня новым и интересным — в Москве мы не знали коктейлей. И я пошла, и попала в большую компанию веселых, приветливых людей. Только значительно позже я научилась определять социальную группу человека по его внешнему облику; тогда же я не знала, что передо мной были весьма богатые принстонцы. Просто их дом показался мне очень красивым, сад был весь в цвету, и я полагала, что, наверное, все американцы живут именно так.

Над камином висели портреты довольно хмурого бородатого старика и старухи в чепце с кружевами. Хозяйка сказала, что это ее дед и бабка, оба — квакеры. Я немного знала о Вильяме Пенне и квакерах, но, кто мог предсказать мне в тот день, что впоследствии моя младшая дочь, рожденная в Америке, будет учиться в квакерской школе в Англии?.. Те два старых портрета не были забыты. Я вспоминала их как символы в следующие годы, они обозначали суровые добродетели американского пуританизма. Мне всегда было неловко, оттого что я не знала еще многого об этом новом для меня обществе со столь многими идеологиями, религиями, обычаями и чертами.

В те дни меня все время приглашали на обеды, ленчи, коктейли. Я часто встречалась там с протестантскими священниками различных деноминаций — нечто новое для меня, знавшей лишь о православных христианах, да немного о католиках, встреченных в Швейцарии. Здесь же пасторы — епископалы и пресвитериане со своими элегантными женами, веселились со стаканом вина в руке. Они совсем не походили на длинноволосых проповедников в рясах, которым прихожане обязаны целовать руку. У них были семьи, дети, и они могли говорить на любую светскую тему. Позже я подружилась с двумя семьями священников-епископалов в Принстоне. Католиков этого города я встретила намного позже. Местный доктор, нашедший у меня повышенное давление, заодно показал мне город и футбольный стадион университета. Однажды он остановил машину возле красивого современного здания в лесу, среди

деревьев и лужаек. Это была католическая школа Святого Сердца, куда этот доктор намеревался послать своих дочек. Сам он был активным членом местной синагоги. Я любовалась школой и размышляла об этой необыкновенной терпимости религий. Через четыре года, вернувшись в Принстон из Аризоны с маленькой дочерью, я определенно решила отдать ее в эту школу. И директриса сказала мне тогда, что нет абсолютно никаких причин препятствовать этому.

Вскоре я встретилась с известным теологом русского православия о. Георгием Флоровским и его милой, маленькой остроумной женой Ксенией Ивановной. В те годы отец Георгий читал лекции в Принстонской семинарии. Он посвятил меня в сложные взаимоотношения внутри русской церкви, к которой я принадлежала по крещению в Москве в 1962 году. Однако в Америке и в Европе русское православие раскололось на два враждебных лагеря на почве политики, а не догматов веры Так, Русская зарубежная церковь молилась ежедневно за восстановление монархии Романовых на Святой Руси, а более современная Американская православная церковь не настаивала на восстановлении монархии Романовых и даже терпимо относилась к Московскому патриархату — «советской церкви», находящейся под контролем советского правительства. Политические разногласия на этой почве раскололи всю русскую эмиграцию. Мудрого старого о. Флоровского хотели заманить на свою сторону все, поскольку он был авторитетным богословом, но он стоял в стороне от распрей. «Я — под патриархом Афинагором!» — заявлял он, что по существу не могло вызывать никаких возражений. Патриарх Афинагор был главой всех четырнадцати православных церквей мира.

Оказалось, что в Принстоне не было русской церкви, но были украинская и греческая в Трентоне. О. Георгий служил часто на кампусе для студентов в маленькой, отведенной для этого комнате, куда я и приходила несколько раз. Но я не «церковная» по натуре, и хожу в церковь только тогда, когда чувствую особый «зов». Тогда я иду в любую церковь любой деноминации, и это, конечно, «ересь».

Особое благословение и благодать заключались в приглашении домой к о. Георгию, где матушка Ксения Ивановна всегда накрывала обильный стол. Их образ жизни был поистине христианским — любвеобильным и простым. Я уверена, что негр, натиравший полы в нашем доме, этот жалобщик, жил куда лучше, чем Флоровские. Квартирка на втором этаже, маленькая гостиная, в которой на полках стояли разные фигурки, сувениры, всевозможные подарки от почитателей о. Георгия. На стенах

висели картины, написанные самой Ксенией Ивановной (она, правда, была далеко не Рафаэль), вперемешку с почтовыми открытками, календарями православной церкви, иконами — от дешевеньких до хороших. А в углу — лампадка из красного стекла с вечно поддерживаемым огнем.

Флоровские жили в полном соответствии с христианской любовью и моралью, умудряясь избегать склок и ссор, которых в избытке в жизни русской эмиграции. В маленькой спальне — две узких кровати стояли раздельно, лампадка горела в углу, а вокруг тоже подарки, картинки — все это они не могли выбросить, так как кто-то когда-то подарил им эти вещицы. Им и в голову не приходило думать о «хорошей» мебели или о том, как они одеты. Дружить со всеми было куда важнее для них.

Однако личная библиотека профессора Флоровского была уникальна, и он завещал ее Принстонскому университету. Его обширный кабинет был заполнен книжными полками с книгами и старыми журналами. Его часто можно было видеть на главной улице Принстона в длинной черной рясе, в маленьком черном берете, контрастировавшем с его белой бородой, толкавшим впереди себя (или же тащившим позади) нечто вроде детской колясочки, наполненной книгами. Так он курсировал между своим домом и библиотекой университета.

Очень застенчивый, Флоровский мало говорил, доверяя это своей супруге, умной женщине с хорошим чувством юмора и даже сарказма, однако такой же доброй, как и он. Они поженились еще в России, в ранней юности. Она тогда была студенткой-биологом, а он — историком. Вскоре Флоровский был рукоположен. Позже, став известным теологом русского православия, о. Георгий легко мог бы стать епископом, но никогда не стремился к этому. Ему нужно было бы тогда принимать участие в церковной политике, поддерживать одних против других, чтобы получить их поддержку взамен. А ему не хотелось этого. И, потому что Флоровский был человеком не от мира сего, его легко столкнули с поста ректора православной семинарии св. Владимира его более молодые и политичные оппоненты. Тем не менее Флоровский был по-прежнему любим и уважаем. Только его книги постепенно исчезали из Каталога русскиг книг, издаваемых вне России, — по-видимому, под напором его молодых учеников.

Через несколько лет Флоровские отпраздновали в Принстоне свою золотую свадьбу и вскоре отошли в лучший мир, один за другим.

Ксения Ивановна была замечательной поварихой, память об ее обедах осталась навсегда. Ее стол нужно было видеть, а не только вкушать. О. Георгий обычно начинал с маленькой стопки

охлажденной водки с последующим кусочком селедочки. Матушка же только пригубляла немного легкого немецкого белого вина, но уже позже, с едой. Благородным женщинам в России не полагалось глотать водку, это был мужской напиток. Времена, однако, заметно переменились.

Меня представил Флоровским мой хороший друг, профессор Принстонского университета Ричард Бёрджи. Католик ирландско-немецкого происхождения, он прекрасно владел русским языком, который начал изучать от нечего делать, когда служил в армии. Позже его интерес к русской культуре и русскому православию углубился. Несколько лет спустя он с такой же легкостью овладел греческим. Ричард был очень добр и внимателен ко мне и познакомил со многими интересными людьми в Принстоне и в Нью-Йорке. Но сколько меня ни уговаривали, я никогда не хотела преподавать русский язык — что все дамы эмиграции делают независимо от своей квалификации, и достигают даже полного профессорства. Профессор Бёрджи взял меня в свой класс, чтобы показать, «как это легко учить своему языку». Однако я не педагог, а вечный студент по натуре. С моим дипломом Московского университета и кандидатской степенью в русской литературе я могла бы стать педагогом много лет тому назад. Но мне никогда не хотелось этого, я мечтала писать.

Теперь здесь в Америке, после публикации моей первой книги я работала над второй и была счастлива. Это было нечто мое собственное, путь, который я могла теперь продолжать. Бесчисленные письма от моих читателей со всего мира подбадривали меня в этом, и я даже не очень огорчалась скептическими рецензиями профессиональных критиков и в особенности историков. Моя вторая книга была в значительной мере результатом требований моих читателей, ответом на их многие вопросы. После первой книги семейных мемуаров я писала теперь более политическую книгу о бегстве из СССР, чтобы показать моим критикам, что я была вполне осведомлена о том, что происходило в СССР в годы моего детства, знала о безжалостном режиме моего отца, и что я сама никогда не была среди его обожателей.

На этот раз, после того как я представила первую главу на просмотр, издательство «Харпер энд Роу» подписало со мною настоящий, полноценный контракт. Я получила аванс и связалась с будущим переводчиком. И здесь наступает как раз подходящий момент, чтобы вспомнить, как ненормально было все с моей первой книгой и ее автором всего лишь год тому назад.

* * *

Как я уже упомянула в предисловии, адвокаты фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» получили рукопись моей первой книги через Госдепартамент задолго до того, как они встретились с автором. И много раньше, чем я впервые услышала их имя. Адвокатская фирма сейчас же решила передать мою рукопись для публикации своим клиентам — издательству «Харпер энд Роу» в Нью-Йорке. Краткое содержание рукописи на английском языке было быстро подготовлено Присциллой Джонсон Мак-Миллан, молодой специалисткой «по русским делам», но не профессиональной переводчицей. Однако адвокаты и издатель почему-то уже выбрали ее на роль литературной переводчицы, не пытаясь найти более опытного профессионала.

Адвокаты хотели немедленно начать продавать права на книгу, так как это была в те дни международная сенсация. Но они хотели сделать все это сами — без моего вмешательства, без моего агента и пока я еще не появилась в США.

Адвокаты фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» и их сотрудники только и ждали момента, чтобы получить легальное согласие автора, подписать документы и начать продажу прав. Поэтому они перехватили меня еще в Швейцарии в марте 1967 года, куда я была «сброшена» две недели тому назад, и сам глава фирмы «генерал» Эдди Гринбаум встретился со мной. Я сразу же заметила, что мне труднее было понимать его американский акцент — жаргон нью-йоркских бизнесменов, — чем всех остальных. До него у меня не было трудностей с языком.

«Генерал» (как его все называли), хотя он был человеком штатским, как-то напирал на отдельные слова, проглатывая другие, к тому же он оказался туговат на ухо. Так как я абсолютно не могу говорить громко, между нами установилось полное взаимное «непонимание»: я не могла понять его рассуждений и доводов, а он не слышал меня, моих встревоженных вопросов.

Он начал сразу же говорить о деньгах и о необходимости сейчас же подписать завещание, «чтобы деньги не пропали». Я же стремилась услышать об издателях и о чисто литературной работе, которая мне предстояла с редакторами и переводчиками. Я никак не понимала, почему я встречаюсь здесь с адвокатами, а не с издателями. Где мой издатель? — вот что меня интересовало. Я никогда еще в жизни не подписывала завещания (в СССР никто этим не интересуется), и мне было как-то странно и неприятно думать именно сейчас о возможности смерти. Я пыталась спросить его о моей рукописи и о том, когда же я увижусь с издателем, но он продолжал свою речь без остановки. Наконец, я была вынуждена согласиться подписать завещание

сейчас же, хотя для меня этот первый шаг не имел никакого смысла.

Затем он перешел к вопросу о переводчике и предложил следующее.

«У нас имеются два кандидата: приятная девочка вашего возраста (мне было 40, ему — 80, так что я действительно была перед ним девчонкой), славная и симпатичная. В ее доме вы сможете остановиться по приезде в США; второй кандидат — англичанин, который очень хочет переводить вашу книгу и приехать для этого в США. Мы все — издатель, Джордж Кеннан и я — полагаем, что девочка будет вам лучшим компаньоном».

Выбор переводчика был чрезвычайно важен для меня. Я переводила на русский язык с английского в Москве и знала эту работу. Опыт здесь важнее всего. Однако мне не были названы имена, и ничего не было известно о профессиональном опыте кандидатов, хотя меня просили «выбирать». Ничего мне не сказали и о том, каких русских писателей переводила эта «девочка».

Мне никто не сказал в то время, что «англичанин» был не кто иной, как профессор Оксфордского университета Макс Хэйвард, один из лучших переводчиков современной русской литературы. Он переводил «Доктора Живаго» Б. Пастернака, и, безусловно, если бы мне сказали, о ком идет речь, я была бы польщена и обрадована работе с ним над моей первой печатаемой книгой!

Чувствуя, что все уже выбрали эту «девочку», я согласилась. Моя автоматическая советская привычка «не возражать» сработала и здесь не в мою пользу. Вскоре переводчица приехала в Швейцарию познакомиться со мной, и я была неприятно поражена ее неумением говорить по-русски. Она ловко оставила без ответа все мои вопросы о том, каких русских авторов она уже переводила.

Позже я узнала, что она была «специалистом по России» из Гарвардского университета, а совсем не литературной переводчицей. Макс Хэйвард же перевел многих советских диссидентов, прозу и поэзию, и был признанным авторитетом и знатоком русского языка. Как я узнала впоследствии, в выбор переводчиков вмешалась другая «специалистка по России» Патришия Блэйк, приезжавшая к Кеннану в Принстон с просьбой назначить моей переводчицей ее подругу — Присциллу Джонсон Мак-Миллан вместо Хэйварда. Кеннан одобрил ее кандидатуру, и моя судьба (судьба моей книги) была тем предрешена: она попала в руки дилетантки.

У «генерала» Гринбаума были и свои причины предпочесть «девочку», которая во всем соглашалась с ним. Профессор Макс

Хэйвард хотел предложить других издателей в Англии, и вообще он бы помог мне разобраться в положении вещей. А этого как раз никто и не хотел. Адвокаты уже создали свое агентство «Пасьенция» (что значит «терпение») для продажи прав. Они не желали вмешательства английского профессора с его предложениями — на которые автор мог бы согласиться! Надо было поскорее получить мою подпись на официальном соглашении и начать продажу.

Я совсем не была очарована этим глухим «генералом». По правде сказать, я уже была встревожена, потому что впервые за все время моих контактов с американцами я вдруг перестала понимать, что происходит. Я начала чувствовать, что что-то идет не так, как следовало бы, но я не могла возражать.

На следующий день, чувствуя, что все в нетерпении, я подписала несколько чрезвычайно важных документов, хотя швейцарский дипломат Антонино Яннер советовал мне «ничего не подписывать» и посоветоваться с ним, прежде чем принимать решения. «Вы не знаете, что на Западе подпись документа — это все! Вы не знакомы с подобной практикой».

Но я уже измучилась от этих бесконечных переговоров о деньгах и хотела поскорее закончить эту неприятную часть, к тому же мало мне понятную. Совещаться с Яннером не было времени, потому что меня торопили, и невозможно было все отложить еще на один день.

В большой комнате, где присутствовало пять или более адвокатов (двое швейцарских), я подписала две доверенности адвокатам, отказываясь, таким образом, от всякого личного вмешательства в публикацию моей книги. Затем я подписала завещание, передававшее в руки адвокатов право распоряжаться моими деньгами в случае смерти. Затем я подписала документ о передаче прав, уступая, таким образом, все права на мою собственную книгу, продавая их целиком корпорации в Лихтенштейне, называемой «Копекс», чей представитель, адвокат швейцарской фирмы, сидел тут же.

Мне никто не объяснил, что все эти бумаги значат, я ничего не понимала. Мне было абсолютно невдомек в то время, что как автор я обладала множеством прав, связанных с самим фактом моего авторства, но что теперь я не имела права даже спрашивать о публикации и обо всем, что с нею связано.

Мне показали маленький чемодан, наполненный банкнотами, и сказали, что это — оплата передачи прав на мою книгу. Я спросила: «Что это, аванс от издателя?» Возникла неловкая пауза, и после некоторого молчания швейцарский адвокат сказал, смеясь: «Ну, вы можете рассматривать эти деньги как аванс». Это

ничего мне не объяснило, так как, по моим скудным понятиям о литературном бизнесе, только издатель мог платить мне за мою книгу.

Я была подавлена этими двухдневными переговорами. Я не понимала, зачем были нужны пять адвокатов из двух стран, чтобы опубликовать одну книгу. Вместо переговоров с издателями о литературной стороне дела я прошла через неприятную процедуру с адвокатами. Мне хотелось остаться одной с моими мыслями.

Но я оказалась теперь в их руках на долгое время, и оно было впереди — публикация книги, интервью и выступления, публикация отрывков из книги в газетах и журналах… Вся моя личная почта шла через фирму Гринбаума, и ее служащие отказывали множеству людей, желавших видеть меня. Мне даже были отведены комнаты в личных резиденциях адвокатов, хотя мне так хотелось остановиться в гостинице в Нью-Йорке и быть независимой и одной.

Я устала от всего этого и желала только отдыха и уединения. Меня положили, точно в коробочку, и я даже не могла шевельнуть пальцем без их согласия.

Вскоре, после приезда в Нью-Йорк в апреле 1967 года мои адвокаты учредили два фонда: один благотворительный, другой — лично мой. Но все те же самые адвокаты назначили самих себя попечителями обоих фондов. Невозможно было бы изобрести лучшую систему, чтобы полнее парализовать человека. Даже деньги на мои собственные покупки я должна была просить у них, потому что они были помещены на счет фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст», мое имя не упоминалось в тех первоначальных вкладах, сделках и прочих документах. Неудивительно, что Эдди Гринбаума называли «разносторонним адвокатом». Его уже давно нет в живых; но я все еще никак не могу вернуть себе копирайт на мою первую, самую известную книгу «Двадцать писем к другу».

* * *

Возможно, что со временем адвокаты почувствовали некоторые угрызения совести. Издатель также понимал, что зашел слишком далеко, ни разу не посоветовавшись со мною в процессе публикации. Мою вторую книгу я хотела дать теперь издательству «Харкорт Брэйс Иованович». Председатель издательства Вильям Иованович приезжал ко мне в Принстон говорить об этом. Однако я не могла ничего изменить, так как «Харпер энд Роу» уже получил от моих адвокатов «право на

вторую книгу» — ситуация, о которой мне даже не было известно в то время.

Адвокаты настаивали, чтобы я отдала новую книгу тому же издателю, кстати, их же клиенту, и уверяли меня, что «теперь все будет так, как полагается». Я против своей воли согласилась: все равно уж, раз все шло таким путем… Только теперь мне дали подписать, наконец, самой контракт с издателем. Контракт на первую книгу был подписан за меня адвокатской фирмой, вернее агентством «Пасьенция», — созданным для этой цели, — как будто я была инвалидом или давно умершим автором.

«Ну, теперь вы и в самом деле писатель!» — воскликнул Алан Шварц, когда был подписан контракт с «Харпер энд Роу», признавая этим тот печальный факт, что меня не считали писателем в первый раз.

Я осталась с «Харпер энд Роу», но позже много раз об этом пожалела. Моя вторая книга, столь важная для меня, потому что я писала ее в Америке, осталась почти неизвестной широкому читателю. Ее почти никогда не было видно в магазинах; и что было еще страннее, сам издатель не продавал ее в собственном книжном магазине в Нью-Йорке. Ни вторую, ни первую мою книгу! Но обе эти книги всегда можно было найти в магазине «Харкорт Брэйс Иованович». Пути издателей неисповедимы.

Во всяком случае, я хотела теперь распрощаться с адвокатской фирмой «Гринбаум, Вольф и Эрнст». Ввиду того, что они несли полную ответственность абсолютно за все, мне ничего не было известно о доходах с продажи книг. Не подозревала я и о том, что «Двадцать писем к другу» уже не принадлежали мне, так как копирайт был продан корпорации «Копекс». В дальнейшем «Копекс» передал все права Благотворительному фонду Аллилуевой, где те же адвокаты были попечителями, и все опять же решалось ими. Ничего не знала я и о других агентах, продававших права на книгу по всему миру: ни кому они ее продавали, ни за сколько. Считалось почему-то, что «все эти мелочи неинтересны автору». Но ведь это было теперь мое ремесло, и я должна была знать все, до мелочей!

Из-за ненужной секретности, окружавшей публикацию книги, пресса преувеличивала и выдумывала цифры доходов, и публика считала, что я обладаю теперь многими миллионами. На самом же деле я жила в Принстоне, в то время как все деньги были в Нью-Йорке на счету адвокатской фирмы, и только небольшая сумма переводилась мне в мой банк в Принстон.

— У вас есть «севинг экаунт»? — спросила меня как-то Фира Бененсон, мудрая женщина, пытавшаяся учить меня практическим навыкам жизни в Америке. Сама она имела Дом

моделей в Нью-Йорке.

— А что такое «севинг экаунт»? — был мой ответ.

— А это то, где должны находиться ваши деньги! Разве вам этого не объяснили? — спросила она, совершенно огорошенная моим неведением.

— Нет, мне ничего не объяснили. (К тому времени, когда я решила завести «севинг экаунт», меня уже избавили от бремени денег. Но это было позже, значительно позже.)

Сейчас же я должна была звонить адвокатам по телефону и просить перевод, потому что мне нужно было купить меховое пальто к зиме. И оттого, что я так же вот всегда должна была просить денег, живя в СССР, мне казалось сейчас, что в общем-то ничего не переменилось…

Не без сарказма я рассказала об этом Джорджу Кеннану, которого все считали моим покровителем (роль, чрезвычайно его угнетавшая). Я заметила ему, что в Советском Союзе я всю жизнь жила под строжайшим контролем и что мне бы очень хотелось не находиться под таким строгим контролем и здесь, не докладывать о каждом шаге и о своих личных расходах. Иначе я не вижу большой разницы, настаивала я. Но посол Кеннан был дипломат с большим опытом, работавший во всех столицах Европы, и потому он имел привычку говорить приятное обеим сторонам. «О, я так вас понимаю!» — отвечал он мне, а назавтра говорил то же самое адвокатам моей фирмы. И, наконец, заявлял мне: «Откровенно говоря, я думаю, что они очень хорошо о вас заботятся». И все оставалось по-прежнему.

Мой нью-йоркский друг Фира Бененсон, почтенная дама под восемьдесят, хорошо знавшая посла Кеннана по своим многочисленным связям в Вашингтоне и в Европе, приехала в Принстон специально для разговора с ним, надеясь открыть Кеннану глаза на мое бесправное положение. Она даже предложила своего адвоката, чтобы он взял заботу о моих делах на себя, и говорила с ним несколько раз. Но я не хотела начинать мою жизнь со скандалов и обид. Поэтому я не стала настаивать на смене адвокатов сейчас же. Старая привычка подчиняться, не возражать и надеяться на лучшее взяла свое… Я еще не научилась отстаивать свои интересы так, как это делают все, кто родился в мире свободной конкуренции. Советское прошлое — как тяжелая глыба на сознании (и на подсознании), ее не сбросишь вот так вот, вдруг. И Фира Бененсон хорошо это понимала; она-то оставила Россию сразу же после революции.

И чем более я понимала действительность своего положения, созданного слепым согласием, которое я дала на все еще в Швейцарии, чем больше и больше говорили мне о юридической

стороне жизни в Америке мои соседи, друзья, все те, кто не был никак вовлечен в «бизнес» с моими книгами, — тем более я огорчалась. Я не только была полностью в руках моей фирмы, но выяснилось, что мой издатель, а также «Нью-Йорк таймс» были тоже ее клиентами! Как же могли мои адвокаты защищать мои интересы? Они защищали своих клиентов от меня.

Безусловно, мне следовало бы найти собственного литературного агента еще в те дни, когда я находилась под дружеским надзором Швейцарского министерства иностранных дел и его представителя Антонино Яннера. В те дни я каждый день получала множество писем, адресованных мне через швейцарское министерство иностранных дел, с предложениями от европейских и американских издателей напечатать мою первую книгу. И, между прочим, известные издатели предлагали очень большие суммы, не менее тех, которые «Копекс» заплатил мне за передачу ему всех прав! Я могла бы получить аванс такого же порядка и все права автора остались бы за мною. Но я просто не знала тогда, что мне делать и искренне верила, что адвокаты с Мэдисон-авеню приехали, чтобы помочь мне, — как они и сами утверждали. Позже Эдди Гринбаум просто запихнул в свой карман все вышеуказанные письма, о которых он, конечно же, пожелал знать. Я хорошо помню такое предложение от издателей «Мак Гроу Хилл» из Нью-Йорка.

В то время, в Швейцарии, да и в Нью-Йорке я не хотела ссориться, вызывать неприязнь, да еще требовать что-то, так как я совсем не была приучена к этому за мои сорок лет жизни в СССР. А идея, что у меня могут быть какие-то права на что-то, на преследование каких-то законных целей, не была мне свойственна. Советские граждане воспитаны без подобных опасных идей.

Поэтому я не хотела ссориться с моей переводчицей Присциллой Джонсон Мак-Миллан, хотя я уже поняла, что она не только не знает языка русской литературы, но также не понимает русской образности и совершенно не знает истории русской литературы. Так, упоминание в моей книге «Бориса Годунова» Пушкина (я цитировала оттуда: «народ безмолвствует») совершенно поставило ее в тупик. Все вокруг знали, что мне не повезло с переводчицей. Алан Шварц даже предложил отстранить ее от работы. Но я понимала, что это вызовет скандал и что она будет всех нас проклинать: так как у нее был хороший контракт на доход со всех изданий на английском языке. И я решила оставить все, как есть.

Мне никогда не удалось выяснить, почему эта дилетантка была выбрана мне в переводчицы, но привела ее за руку

Патришия Блэйк.

Однако Присцилла вскоре застряла, и пришлось приглашать ей в помощь (закулисную) того самого профессора Макса Хэйворда из Оксфорда, которого так хитро обвели мои адвокаты. Теперь же он помогал Присцилле, правил ее страницы и жаловался, что следовало бы просто все переделать, с самого начала. Но Присцилла не согласилась ни переделывать работу, ни на сопереводчество и через своего адвоката потребовала, чтобы только ее имя было на обложке книги. Все так устали от нее и были так огорчены, что не сопротивлялись, и на долю Джонсон Мак-Миллан выпал не только весь успех и деньги, но еще и право на интервью, как переводчицы.

В этих интервью — на телевидении в день выхода книги — она убеждала всех, что она — самый близкий мне человек, и не постеснялась лгать, якобы мы вместе работали, и сплетничать. На самом же деле я никогда больше ее не видела после первых дней в Нью-Йорке. Она уехала к мужу в Атланту и работала там. Ее работу мне не показали до дня, когда появился сигнальный экземпляр. Делать правку и читать корректуру мне не дали. Издатель Эван Томас сказал: «Вы можете не беспокоиться об этом».

Увидев наконец «сигнал», я совершенно расстроилась. Ошибки, плохой перевод, перевраны были даже даты! Очевидно, Присцилла не приняла всех поправок Хэйварда. Многие фразы звучали совсем не как в оригинале. И только Эдмунд Вильсон в ноябрьском номере «Нью-йоркера» (1967) наконец назвал вещи своими именами и квалифицировал перевод, как «вульгарный, вульгаризирующий весь тон оригинала». А о самой переводчице он писал, что «она не только не знает русского языка, но не знает также и хорошего английского».

Я написала тогда Вильсону благодарственное письмо. С этого момента завязалась наша переписка. Позже Вильсон предложил в переводчики моей второй книги своего соседа по Вэллфлиту, где они жили, Павла Александровича Чавчавадзе. Я, конечно, согласилась, и поехала в Вэллфлит на Кейп Код, чтобы повидать их всех.

Чавчавадзе, грузинский князь, представитель высшей петербургской аристократии, был женат на Нине Георгиевне Романовой, дочери Великого князя Георгия Александровича, наместника Грузии, и племяннице императора. Послушавшись совета Эдмунда Вильсона, я теперь чувствовала себя совершенно неподготовленной к встрече со столь знатными особами. Мои ноги не были очень тверды, когда я прилетела в аэропорт, и учтивый, вежливый Павел Александрович хотел взять мой

чемодан. Я никак не хотела ему давать этот чемодан («я сама, я сама!»), что его совершенно сразило, — как он говорил позже. (Он написал позже о нашей первой встрече.)

Я знала что Великий князь, отец Нины Георгиевны, был расстрелян большевиками, что ее спасло только то, что она была в то время в школе в Англии. Князь Павел Александрович Чавчавадзе был из старой аристократической грузинской семьи, хотя его мать была урожденная Родзянко. Они оба встретили меня — как и положено настоящим аристократам, — очень любезно, радушно, но с естественным достоинством. Их гостеприимство и простота скоро оставили далеко в стороне историю, революцию, насилие и мелкие чувства. Эти люди были выше всякой мелочности. Только посредственности неведомо ничего крупномасштабное — ни слава, ни трагедии, ни события, ни люди, ставшие историей. А какое чудесное чувство юмора было у них! Как весело умели смеяться они оба, а ведь они были уже весьма в летах! Даже их старый мопс Онуфрий Пафнутьич отнесся ко мне благосклонно, после предварительного обнюхивания.

В маленькой гостиной их простого белого домика в лесу мы болтали, пили коктейли и смеялись до слез, когда Павел Александрович изображал грузинских дворянок и их русскую речь… Присутствовавшая здесь же еще одна гостья, журналистка из Австралии, пораженная, смотрела то на хозяев, то на меня, не принимая участия в нашем веселье. В результате она призналась, что никак не могла понять, как это мы все вместе сидели тут, пили, смеялись, болтали… На что Нина Георгиевна заметила с улыбкой: «Только в Америке! Только в Америке!». И это было правдой.

Эдмунд Вильсон, совсем больной и с трудом двигавшийся, был также очень приветлив и хотел во всем мне помочь. Он считал, что история публикации моей первой книги была просто безобразием. Мы переходили из его дома к Чавчавадзе и опять к нему. Я никогда не искала знаменитостей в Москве и не занималась таковыми поисками в Америке, но Вильсон и его прелестная жена Елена, сами выразили желание встретиться со мной, и мы все подружились. Это была одна из немногих значительных дружб, среди многих формальных и недолгих, которые возникли в мои первые годы жизни в Америке. Чавчавадзе оба умерли через несколько лет, но я всегда помню их жизнерадостность. Это была, пожалуй, самая интересная для меня встреча в Америке, полная значительности — исторической и человеческой.

* * *

Я намеревалась жить в Принстоне тихо и незаметно, работая. Писать стало теперь моим основным занятием. Я любила также фотографию, и в дни моей молодости делала хорошие снимки, проявляя и печатая. По приезде в США я надеялась заняться фотографией серьезно, так, чтобы научиться снимать фильмы: моим «предметом» была бы природа, созерцание природы. Однажды я сказала о своем желании моим адвокатам, но это окончилось плохо. Группа кинооператоров появилась возле моего дома, чтобы обсудить «совместную работу». Их идея была взять меня с собой в поездку по Америке так, чтобы они могли снимать природу (например, Ниагарский водопад) и меня на этом фоне, читающую текст о красоте природы Америки… Я ужаснулась такому плану и, конечно, отвергла его. Но они полагали, что таким образом помогут мне «понять», как снимать природу. Я поняла, что раз я стала «знаменитостью», то, пожалуй, мне лучше всего сидеть дома и никуда не соваться, так как ничего нормального не получится. Я даже не заикалась больше о другой моей мечте: продолжать серьезное изучение иностранных языков, особенно — испанского, которым я занималась когда-то в МГУ. Теперь я просто фотографировала иногда, как это делают туристы, и посылала пленку проявить и печатать…

Одна дама из эмигрантских кругов настаивала, чтобы я немедленно отправилась в лекционную поездку по стране. Она даже нашла агента, который помог бы мне это осуществить. Она считала, что мне «следует „показаться на люди“. Они Бог знает, что думают о вас! А тогда они увидят, что вы — такой же нормальный человек, как все они». Оглядываясь назад, на ее идею, я думаю теперь, что она была, по-видимому, права. Но мне никогда не свойственно было читать лекции, я прирожденный вечный студент и люблю учиться… Она этого не поняла. Мне так хотелось сидеть на террасе босиком и строчить на пишущей машинке.

«Генерал» Гринбаум жил в Принстоне со своей женой, скульптором, и они нередко приглашали меня к себе, чтобы познакомить с кем-нибудь из избранных гостей. Я всегда знала, что это будет кто-то очень важный, но всегда забывала имена. «Генерал» постоянно давал мне советы, вроде: «Вы непременно должны познакомиться с вашими соседями через дорогу, они связаны с Библиотекой Моргана в Нью-Йорке!». Я обещала, но потом забывала. У меня не было интереса к важным или «нужным» особам.

Однажды моя обильная почта принесла приглашение от

Клуба знаменитостей в Нью-Йорке. Эта странная организация помогает «знаменитостям» узнать друг друга, встретиться на многолюдных роскошных обедах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Эти обеды освещаются в широкой сенсационной печати — кто был с кем и кто есть кто. Мне эта идея была просто смешна, и я даже не ответила. Но, очевидно, по американским понятиям я вполне подходила теперь для такого рода выходов в большой свет. Увы, я предпочитала вести себя иначе и даже отказалась от прислуги-негритянки, которую мне предлагали Гринбаумы.

«Но ведь вы будете принимать людей в своем доме! Вы должны!» — настаивали они. Они были по-своему правы: в своем статусе знаменитости я, очевидно, обязана была давать небольшие, элегантные обеды или устраивать ленчи для избранных лиц. Но я проявила полное непонимание обстановки, поблагодарила их и отказалась от услуг черной экономки.

Каждый день почта приносила письма от людей из всевозможных социальных групп, и это было мне так интересно: какое человеческое разнообразие! Как по-разному они выражали себя, как различен был круг их интересов, но они все были моими читателями. Они стремились рассказать мне о своей жизни, о том, как они живут в Америке, что это за страна. Они делились со мной своими личными переживаниями и опытом и ободряли меня в моем — как они полагали — одиночестве. Они знали обо мне из моих интервью на телевидении или из моей книги, письма шли или на телестудию, или к издателю, а часто на адрес адвокатской фирмы.

Сразу же стало ясно, что женщины были моими лучшими читательницами. История родителей, детей, трагедия семьи более отвечали их человеческому интересу. Женщины очень редко высказывали политические мысли. По существу, это было даже поразительно, как хорошо они поняли историю столь необычной семьи, какой была наша, наши трагедии и — столь ненормальные взаимоотношения. Но они все поняли.

Только очень недолго мне помогала секретарша, присланная «генералом», его приятельница — высокая костлявая дама, курившая сигары и говорившая басом. Она просто откидывала в сторону наиболее интересные для меня письма с личными исповедями. «Эти сумасшедшие! — говорила она. — Сумасшедшие всегда пишут письма знаменитостям. Бросьте их в корзину». Она отбирала «важные письма», на которые мы «должны были ответить» и печатала для меня формальные ответы в несколько строк, которые я ненавидела всей душой — так как я никогда таким вот образом ни с кем не разговаривала и не переписывалась. Но я подписывала их, чтобы не вступать в

конфликт, хотя между нами никогда не было согласия. Я благодарила (в ее же напыщенных выражениях) за внимание или отказывалась от лекций, прочитать которые меня часто тогда приглашали. Мы продолжали посылать эти безликие письма, приготовленные секретаршей, пока не начали получать сердитые ответы от моих корреспондентов. Они требовали: «…ответьте нам на вашем собственном английском языке, вместо формальных писем от вашей секретарши!»

Я продолжала отвечать на некоторые письма сама, своим более теплым «способом», и подписывала короткие формальные абзацы секретарши, где говорилось, что «читать лекции — не мое mйtiйr». И сколько я ни убеждала ее, что в мое время и в кругах, где я росла, никто больше не говорил по-французски, она полагала, что я теперь была почти что «из русской аристократии», и, следовательно, было уместно вставить французское словцо. Французский вышел из моды в СССР в дни моей молодости, он возвращается только теперь.[1] А нас всех учили тогда немецкому, и позже также английскому. Я знала, что наши формальные ответы звучали ненатурально, но секретарша не позволяла мне даже составлять письмо по-своему. Я предпочитала не спорить с нею.

Эта обширная корреспонденция, начавшаяся с моего приезда в Америку, подарила мне несколько друзей и постоянство их дружбы, которое продолжалось годы и годы. Кто-то умер, кто-то все еще пишет мне и сегодня из Америки, из Европы. Часто приходили просьбы помочь деньгами — все читали в прессе, что я стала «миллионершей» — и это ужасно огорчало меня. Все деньги были в двух фондах под управлением адвокатов, а у меня не было даже лишних своих, чтобы послать. Я отвечала, что передаю их просьбу в Благотворительный фонд Аллилуевой в Нью-Йорке, пересылала письма туда, но это обычно кончалось ничем. Правление фонда ни разу за много лет не собралось, как это полагается, чтобы обсудить ежегодно высылаемые субсидии. Адвокаты решали эти вопросы с Кеннаном и со мной по телефону, и всем заправлял казначей Морис Гринбаум (однофамилец «Генерала»), у которого уже все было продумано, решено, и я без рассуждений могла лишь соглашаться с их предложениями.

Основным — или лучше сказать — наиболее требовательным объектом нашей благотворительности стал госпиталь в Индии, который фонд построил на свои деньги, а также финансировал его ежегодно. На остальное оставалось очень мало. Поэтому мы никак не могли удовлетворить просьбу русского инженера во Франции, просившего 10.000 долларов, или просьбу Русского

центра в Нью-Джерси. Этот Центр просил меня «выплатить» за них сумму страхования жизни, так как кто-то лишился трудоспособности на их территории и теперь судил их. Сумма была выше ста тысяч долларов, и дама, приезжавшая просить меня от имени русского Центра, полагала, что мне стоит только раскрыть кошелек и… Мне было не по себе от этих просьб. Во-первых, я не могла никак помочь (адвокаты хорошо все предусмотрели). Во-вторых, я помнила, как меня ругали эти же русские эмигранты вначале, и требовали «отослать ее назад в СССР»; теперь они переменили тон. В-третьих, я еще никак не могла привыкнуть, что в мире, куда я попала из моего советского прошлого, действительно все зависит от денег, и поэтому люди больше всего об этом беспокоятся. Мне же это казалось «вульгарным материализмом», и меня коробило.

Благотворительный фонд Аллилуевой, созданный в Нью-Йорке в апреле 1967 года, выдал в те первые годы значительный «дар» Толстовскому фонду и меньшие дотации Обществу русских детей, а также Литфонду, поддерживавшему старых нетрудоспособных русских эмигрантов. Поддержан был также «Новый Русский Журнал». Но главные суммы пошли, как уже говорилось, на постройку сельского госпиталя на 30 коек в Индии. Мы все понимали, что на далеком расстоянии мы не будем в состоянии реально знать, как будет оказана помощь бедным в далеком Калаканкаре, в северной Индии. Лишь через 17 лет я поняла, что не следовало посылать туда большие суммы безо всякого контроля над их применением.

Нам советовали для большей эффективности отдать новый госпиталь под покровительство Медицинских Программ Организации Объединенных Наций. Но в то время я не могла отказать Сурешу Сингху (брату моего друга Браджеша, умершего в Москве), требовавшему «только прислать деньги» и обещавшему, что все остальное они сами сделают. Мы верили ему, я жила в его доме два месяца в Калаканкаре, его сын Ашок, живший в Сеатле (штат Вашингтон), также настаивал, что «семья знает лучше местные условия». И за семнадцать лет около полумиллиона долларов было отправлено в Индию под личную ответственность Суреша Сингха и его семьи. Но мы также постоянно получали жалобы от местной докторши и от других лиц, говоривших нам, что не все деньги идут на нужды госпиталя, что часть забирается на нужды семьи; что лучше было бы вместо такого частного дела отдать госпиталь в руки Индийского министерства здравоохранения — тогда никто не мог бы тратить деньги на сторону.[2] Это было хорошим уроком мне, идеалистке, пустившейся в плавание без компаса и вообразившей себя

благотворительницей в этом жадном мире. Браджеш Сингх всегда говорил мне: «Никогда не ввязывайтесь в дела с индийцами, потому что вас обманут тут же!». Следовало бы прислушаться всерьез к его словам.

И вот, я сидела в Принстоне жарким, влажным летом, когда все, кто может, уезжают отсюда, и работала над второй книгой и над обширной своей почтой. Местный почтальон был пожилой человек, собиравший марки, и я всегда отдавала все марки с моих писем ему. Письма приходили буквально со всего мира, за исключением стран коммунистического блока и моей родины. Ни одного письма ни от родственников, ни от друзей. Дисциплина! В СССР не прощают. Ни одного письма от моей дочери за семнадцать лет. Два письма от сына не позже 1968 года. И все.

Почтальон всегда останавливался поболтать, у него была дочь-школьница, которой он гордился. Однажды в особенно жаркий день, вытирая пот со лба, он заметил, что хорошо бы окунуться в бассейне в такой день. Я согласилась с готовностью. И вдруг он решил, что он может мне в этом помочь. Владельцы дома неподалеку уехали в Европу, оставив студента сторожить дом и — бассейн в саду!

На следующий день мой неожиданный благодетель поговорил с этим студентом и принес мне от него записку. Карандашом на клочке бумаги было написано приглашение заходить, посидеть у бассейна и пользоваться им, пока никого нет дома. Я тут же отправилась в этот дом и познакомилась с милейшим молодым семинаристом, занимавшимся своим ивритом у прохладного бассейна чистейшей воды, голубевшего среди газонов. О, трудно было поверить в такое благословение!

Я забирала свои записки и редактируемые страницы с собой, и мы вместе проводили часы у бассейна, занимаясь каждый своим делом. Мы болтали, когда он приносил ленч из кухни — сандвичи и холодный чай. Я узнала много интересного о жизни современной семинарии в Принстоне, протестантской, преимущественно пресвитерианской.

После окончания семинарии студент уехал в Иран, преподавать там в одной из христианских школ. Это был еще тогда «остров стабильности» (как назвал Иран Джимми Картер, через несколько месяцев решивший поддержать «революцию» мусульман-экстремистов и бросивший на произвол судьбы шаха, которого Америка же посадила на престол…). Во всяком случае, в 1968 году Иран еще был «оазисом мира и гармонии», и мой студент долго потом писал мне оттуда интересные и восхищенные письма. Религиозная терпимость тогда, по его словам, была там полнейшая. Жаль, что мне ничего неизвестно о

последующей судьбе этого славного молодого американца.

В то приятное, беспечное лето, а также и в последующее, я часто ездила в Нью-Йорк автобусом, чтобы работать с моим редактором Диком Пассмором над окончательным текстом (переводом) «Только одного года». После того, как Павел Александрович Чавчавадзе закончил перевод и пришли гранки, мы должны были их вычитать. Я также вычитывала с русским редактором русский, оригинальный текст для русского издания.

Дик Пассмор курил не переставая, а я тянула свой чай с сахаром. Мы сидели в издательстве «Харпер энд Роу», в комнате без окон, но, слава Богу, с хорошей вентиляцией и кондиционером. Ввиду того, что пол в комнате был покрыт от стены до стены красным ковром, а может быть, и еще по какой-то причине, — комнату, смеясь, называли «Кремль». Так вот, засев в этом «Кремле», мы должны были срочно сдать гранки и проводили там бесчисленные часы. Мы сопоставляли, страницу за страницей, английский текст с русским переводом, и иногда переправляли его, находя лучший эквивалент. То были дни громадного внутреннего удовлетворения для меня, так как я знала, что такое перевод (я переводила раньше в Москве), и потому что это была работа со словом, к которой я расположена по природе.

«Почему мы не могли вот так же работать здесь над вашей первой книгой?» — спрашивал не раз Дик Пассмор, очевидно удивлявшийся, что же было причиной моего полного отсутствия, как автора, в те дни 1967 года.

«Не спрашивайте об этом у меня, — отвечала я ему. — Это не было моим решением, я знала, что это было глупо». И до сих пор не могу понять, почему нужно было отстранить меня от работы, которую всякий автор обязан выполнить сам.

Может быть, так хотела Присцилла Джонсон, желавшая, чтобы я не вмешивалась в дела перевода, так как я слишком скоро обнаружила ее неквалифицированность? Может, так было лучше для Эвана Томаса, издателя? Наконец, возможно, что «Генерал», ничего не понимавший в специфике литературного труда, решил за меня — как и все остальное, — что кто-то другой может выполнить вместо меня эту работу? Ведь это принято, что такого рода работа делается для разных «знаменитостей» — кинозвезд, политиков и прочих непишущих. Слава Богу, теперь мы делали это вместе, иногда редактор Франсес Линдлей присоединялась к нам — и все работали с удовольствием. В течение нескольких дней мы сравнили тексты и сделали поправки.

Поздно вечером, около 10 часов, мы выходили из

издательства, чтобы поесть, и отправлялись в маленький ресторанчик (выбор Дика), называвшийся «Веселый шиллинг» на Лексингтон-авеню. Народу было мало в этот час, бифштексы — отличные, и слепой пианист тихо импровизировал, никем не прерываемый. Его большая собака-поводырь лежала у его ног.

Это было чудесное время совместной работы, это была нормальная жизнь, и никто никогда не обращал на меня внимания — ни в автобусе, ни на улице, ни в этом ресторанчике. Гостиница, где я останавливалась, была тихой, и после нескольких дней работы я отправлялась обратно к себе в Принстон счастливая, как жаворонок.

Никто за мной не «следовал». Никто меня ни разу не остановил с глупыми вопросами. И никто меня не «охранял». Я ходила одна, как под шапкой-невидимкой, смешиваясь с толпой на улицах, заходила в магазины Нью-Йорка и наслаждалась жизнью, которая принадлежала только мне и о которой никто не знал.

Возможно, мне следовало благодарить за это прошлогодние статьи в «Лайф», описавшие меня как «кремлевскую принцессу», которая, очевидно, должна жить в замке и ездить только в «роллс-ройсе», одетая в меха и бриллианты. Моя незаметная внешность была на самом деле продолжением моей действительно пуританской жизни в том самом, советском Кремле, где в годы моей юности роскошь не дозволялась. Позже я жила в Москве так, как живет интеллигенция, то есть опять же без мехов и бриллиантов. Спасибо, «Лайф»! Без ваших усилий, без ложного «образа», созданного вами, мне бы не ходить по нью-йоркским улицам с такой свободой.

А впрочем, никому нет никакого дела до других в Америке. Можно пройтись по Бродвею на руках (если умеешь), вверх ногами, и никто не удивится. Все может случиться — как написал в своей книге грузинский эмигрантский писатель Папашвили, — и никому нет до этого никакого дела. Прошло значительное время, прежде чем я поняла эту истину. Вначале я страшно огорчалась каждой неправдой о себе, которую видела в прессе, убежденная, что это — конец, что моя репутация испорчена навек. Но со временем я поняла, что нужно относиться к этому с полнейшим безразличием. Потому что никому нет до вас никакого дела.

* * *

1967 год был годом пятидесятилетия большевистской

революции в СССР, и Госдепартамент находился под постоянным давлением советских представителей. Это они пожелали, чтобы мой «перебег» был лишен всякого политического значения и был представлен как «путешествие вокруг света не совсем нормальной дамы». Под наблюдением моих адвокатов меня представили в прессе и на телевидении как маленькую девочку в смятении, которой просто де негде было больше опубликовать ее мемуары, как а Нью-Йорке! Предполагалось, что после выхода книги я отбуду в какие-нибудь иные страны. Публику заверили, что я нахожусь здесь, в Америке, просто, чтобы получить свои доходы от изданий книги. Соответственно, за это эмигрантские круги возненавидели меня, и немудрено! Пока я находилась «между небом и землей» — как написал тогда Харрисон Солсбери, мою визу продлили еще на шесть месяцев. Только вот мне забыли сказать обо всех этих подробностях. И только весной 1968 — адвокаты сообщили мне, что я наконец получаю статус резидента-иностранца в США.

Мы с Аланом Шварцем отправились в Управление иммиграции в Нью-Йорке, где у меня взяли отпечатки пальцев, и я была «принята» как иностранный резидент в США, получив соответствующий документ — «Грин карт». На моей «Зеленой карточке» июнь 1968 года был обозначен как «день въезда в Нью-Йорк», т. е. на целый год позже от того дня, как я прилетела из Цюриха. Целый год я была официально «туристкой», дама-путешественница из СССР через Швейцарию и Индию, — а не человек, бежавший от советского режима. Я полагаю, что советским так было угодно представить картину и сделать из меня полнейшую дуру.

Мне, конечно, было очень приятно наконец быть принятой в США по всем правилам закона. Но разве меня однажды не приняли уже, когда в марте 1967 года американский консул в Дели поставил штамп в мой советский паспорт для поездки в США? Этот паспорт не существовал более, так как я сожгла его летом того же года в Пенсильвании. (Тогда мне вдруг начали подсказывать идею поехать на Международную выставку в Канаду, или в Англию, или на Бермуды. Я забеспокоилась и сказала твердо «нет», боясь что меня могут отослать назад в СССР, что я не смогу вернуться назад в США из всех этих путешествий.) Тогда посол Кеннан решил, что мне следует вернуться в Швейцарию осенью 1967 года. Однако Швейцария не желала получить меня вторично и снова пережить беснование прессы. Возможно, что Госдепартамент наконец подумал: «Сколько еще времени мы будем возить эту женщину по всему свету?..» И мне решили дать статус резидента.

Это мои догадки, конечно. Но все мои «патроны» и адвокаты не позаботились о том, чтобы разъяснить мне истинное положение вещей, чтобы мы смогли обсудить все вместе и принять решение. Меня все время ставили перед свершившимися фактами, которые мне просто приходилось принимать. А публике давали совсем иные объяснения.

К концу лета 1968 года истек срок моей ренты дома, который я снимала в Принстоне, и вдруг мне позвонила местная дама, агент по продаже недвижимости. Я знала ее, так как это она нашла мне дом, который я снимала весь год. Я просила ее теперь найти мне маленькую квартиру, хорошо бы с двориком и деревьями: в Принстоне было много таких в университетских кварталах. Но у нее были иные планы для меня.

Мне было невдомек, насколько агент может влиять на решение клиента, что агент в Америке может «продать» вам все что угодно. Она желала показать мне «очаровательный маленький домик, который продается». Я запротестовала, объясняя ей, что мне только нужна маленькая квартира на первом этаже, и я не хочу ее покупать, а хочу только снимать. Я говорила ей, что никогда не имела своего дома и что в данное время дом мне совсем не нужен.

«Но ведь недвижимость — это вклады», — авторитетно заявила моя дорогая дама. В то время я не поняла, что она имеет в виду.

Во всяком случае я поехала с ней, просто потому что знала ее и потому что она была приятной женщиной. Я не хотела ее обидеть. Она была старше среднего возраста, седая, с яркими голубыми глазами и зубастой улыбкой. Мне она нравилась своей веселостью. Мы поехали в ее машине и остановились возле белого домика с черными ставнями, с черной асфальтовой крышей и кирпичным крылечком — типичный «Кэйп-Код». Она болтала о прежних владельцах, докторе с Лонг-Айленда и его жене, которые недавно умерли. Я не слушала. Дом был не нужен мне.

Мы прошли в приятную, квадратную гостиную с камином и окнами по всем трем стенам, через которые виднелся небольшой сад. Комната была очень светлой, стены и книжные полки белые (совсем, как полки в нашей квартире в Москве).

Она продолжала быстро объяснять детали, которые меня не интересовали, и мы были уже в кухне, и я смотрела через окно на кирпичную открытую террасу, глядевшую в сад, с большой яблоней… Все было таким приятным, и эта маленькая столовая рядом с кухней…

Потом мы подошли к лестнице, ведшей наверх в спальни.

Моя дама все еще говорила что-то о паркете, но я взглянула наверх. Там из окошка на площадке лился зеленый и золотой свет от деревьев сада, и одна спальня была налево, другая направо — совсем, как в нашей дачке под Москвой, где я провела прошлое лето с детьми. Я стояла на первой ступеньке лестницы, держась за перила, и не могла идти. Моя дама тихонько подталкивала меня сзади в нетерпении, но я застыла, погруженная в воспоминания, вдруг нахлынувшие с необычайной силой. Кочуя по свету, как цыганка почти два года, я внезапно ощутила свою бездомность и усталость от этого вечного движения. Я забыла, где мы, что мы, и очнулась, потому что моя дама трясла меня за плечо. Тогда я возвратилась к действительности, посмотрела на нее и быстро спросила: «Могу я купить этот дом?»

— Что? — сказала она, не веря.

— Я хочу купить этот дом. Как я это могу сделать?

Тогда она рассмеялась. Ее голубые глаза и белые зубы засверкали. Она была очень довольна собой, так как она предвидела, что именно ее клиент хочет, и привела меня туда, где мне так понравилось.

Я купила дом, не откладывая, но встретила недовольство «Генерала». Он не думал, что я должна была покупать дом, проговорив что-то насчет налогов. Но я пошла тогда к другому адвокату в городе и тот быстро устроил покупку. Ввиду возникших разногласий я не стала просить моих адвокатов о переводе денег из Нью-Йорка на покупку (как мы это делали в других случаях), а просто полностью использовала аванс, данный моим издателем за вторую книгу. Эта сумма была прислана мне лично и вложена мною в банк в Принстоне. Неожиданно я проявила несвойственную мне практичность, и первый раз в Америке сделала что-то сама. И что за чудный домик!

Мои новые соседи тут же снабдили меня малярами и плотниками: нужно было сделать просто несколько мелочей и освежить белую краску на стенах. И вскоре я въехала в дом, с парой складных стульев, с радио, чтобы слушать новости, с моим портативным телевизором. И зеленый, бутылочного цвета «додж» припарковался возле террасы позади дома.

Соседка привела мне своего художника по интерьеру, чтобы он помог мне купить мебель. Он был толстым, круглолицым молодым человеком, весьма серьезным и важным; он очень хотел сделать мой дом образцом хорошего вкуса. Однако я купила самые обыкновенные — но удобные — диван и кресла для гостиной; спальню традиционного американского стиля; и такую же традиционную столовую. Затем последовал обыкновенный конторский письменный стол, с диваном и креслом для кабинета.

Ряды белых книжных полок уже были на стене — это был прежний кабинет доктора.

Мои комнаты выглядели пустыми. Небольшой ковер желто-золотистого цвета в гостиной был единственным в доме: мне нравились полированные паркетные полы… Художник-декоратор был разочарован.

«Вам, очевидно, не нравятся старинные вещи», — заметил он. Я объяснила ему, что мне нужно, чтобы обстановка была простой, светлой, практичной и легко заменимой. «Если все это завтра сгорит при пожаре, я не хочу плакать о невозместимых потерях», — сказала я. Он помог мне во всем, но был заметно удивлен моим простым выбором. А может быть, это опять образ «кремлевской принцессы» мешал ему согласиться со мной? Но я заверила его, что буду очень счастливой в этом доме.

Так, в сорок два года у меня появилась «недвижимая собственность», превратившаяся в большую радость для меня и в последующие годы. Этот домик обладал какой-то внутренней теплотой. Люди, жившие тут, были хорошими людьми: их дух наполнял все. Свет щедро лился в небольшие окна, плясали на полу и на белых стенах отражения деревьев. Камин горел каждый вечер, когда я слушала известия или смотрела «ньюс» по телевизору. Потом появился проигрыватель: у меня было несколько любимых пластинок, одна привезенная из Швейцарии и даже одна из Индии…

«Генерал» Гринбаум — как уже было сказано — хотел снабдить меня черной экономкой, «чтобы принимать гостей». Но я заверила его, что у меня будут бывать здесь только близкие друзья и что я прекрасно справлюсь сама. И я стала приглашать нескольких друзей и готовить еду по-домашнему. Кто-то предложил помочь мне купить старинные вещи — их так любят в Америке. Почему не дать другим жить так, как им хочется?.. По-видимому, мой вкус казался им странным.

Затем появились стиральная машина и сушилка, и я была довольна, что наконец могу не отсылать белье в прачечную. Книги и бумаги расположились в кабинете, кухня оживилась: на стены я прилепила рисунки восьмилетнего Марко Яннера. Весною ярко-красные азалии расцвели возле входа, золотая форсития смотрелась в окно кабинета, молодое сливовое деревце светилось возле кухонной двери. И огромная яблоня, вся покрылась пеной розовых цветов: она была видна почти изо всех окон дома, и лепестки падали на землю, как снег. В траве появились ландыши и фиалки. И принцесса американской весны — догвуд — оделась в белое, как невеста.

Мне еще непривычно было считать все это моим. Такие же

деревья виднелись в саду у соседей. Но красота всего этого была мне очень нужна и дорога, и я наслаждалась ею. В те первые счастливые годы я думала, что никогда, никогда не покину этот чудесный уголок земли. Я буду уезжать далеко отсюда, но всегда возвращаться в мой дом на улице Вильсона.

* * *

Мои соседи оказались очень приятными людьми: детский врач с женой — детским психологом. Две незамужние сестры, одна из них — медицинская сиделка. Два практикующих врача — христиане-сайентисты. Служащие, ездившие в Нью-Йорк на работу каждый день. Это был весьма привилегированный городок близ Нью-Йорка, хотя и считалось, что Принстон — это по преимуществу университетский город.

От прежних владельцев дома я унаследовала садовника-итальянца. Это был чрезвычайно жизнерадостный молодой человек, этим он выгодно отличался от моего первого садовника. От был женат на американке, посылал деньги матери в Италию и ни на что не жаловался. Его дети учились в школах Принстона.

Все вокруг меня старались помочь, кто только чем мог.

Молодая девушка, дочь соседей пригласила меня разделить с ней каникулы на ее любимом острове Монхиган в штате Мэн. Она обещала мне уединение, океан вокруг, прогулки по берегу, чаек… Мне так хотелось моря, шума волн, которого я уже давно не слышала.

Кэрин вела свой белый «шевет» на большой скорости к Бостону, потом через Нью-Хемпшир, к штату Мэн. Золотистый спаниель Маффин и я сидели сзади. Когда мы прибыли в Бутбей Харбор, откуда катера ежедневно отправлялись на остров, лил дождь. Мы заночевали у знакомой Кэрин — вдовы кораблестроителя, все время сидевшей у окна с биноклем в руках: она наблюдала за катерами, входившими в порт и выходившими из него. Эта женщина знала названия всех катеров и имена их владельцев и, конечно, кто эти катера построил.

На следующий день снова лил проливной дождь. Когда мы и унылый Маффин появились на причале с рюкзаками на спине, вокруг почти ничего не было видно из-за дождя и облаков. Небольшой катер, называвшийся не без иронии «Ясные дни», возил на остров продукты и все необходимое независимо от погоды. Мы были единственными пассажирами в тот день.

Как только мы вышли в море, то есть в океан, началась сильная бортовая и кормовая качка. Маффин и его хозяйка вскоре

не смогли сопротивляться морской болезни. Мы были внизу, в трюме, вместе со всем грузом — ящиками с продуктами и почтой. Капитан велел нам оставаться там, но нам нужен был свежий воздух. С трудом мы вскарабкались по лестнице и появились на мостике. Здесь нас встретили громкие проклятия капитана, но мы твердо упершись ногами в палубу, намертво схватились за поручни. Истощив запас ругательств, капитан махнул на нас рукой.

Капитану приходилось продвигаться сквозь сплошную стену дождя и тумана. Вода была цвета свинца, и один лишь Бог знал, как ему удавалось идти по курсу! Мы простояли на мостике около двух часов, но это показалось нам вечностью. Катер двигался очень медленно, качка была сильной, наши руки онемели, и мы едва чувствовали одеревеневшие ноги.

И вдруг серая стена раздвинулась, как занавес, и туман стал быстро рассеиваться. Дождь лишь слегка моросил, и перед нашими глазами возник проход между двумя высокими скалистыми островами. Мы медленно приближались к небольшому причалу, несколько зданий виднелось на берегу на холме. Впервые за этот день мы улыбнулись друг другу.

Наконец катер пришвартовался. Мы забрали свои рюкзаки и совершенно измученного Маффина и ступили на землю. Гостиница была на вершине холма, но ноги не слушались, а земля продолжала качаться и уходить из-под ног. Мы сели на траву возле тропинки, не в состоянии двигаться.

Туман почти исчез и светились голубые небеса. Два скалистых острова почти без растительности торчали из океана, как две горы. Это был настоящий край земли. И только теперь мы заметили странный, повторяющийся звук, издаваемый каким-то неведомым мне инструментом. Он проникал глубоко во все ваше существо, приятный и утешительный. Это был непрерывно повторяющийся сигнальный гудок с маяка, напоминавший по звуку охотничий рог низкого тона, какой-то бархатной теплоты и мягкости. Этот постоянный сигнал предупреждал о смертельной опасности, которую представляли два острова для любого проходившего здесь судна. И мы долго сидели молча, слушая мягкий низкий звук, дав ему врачевать наши измученные тела и души.

На острове Монхиган мы провели неделю, гуляя в дождь и в солнце по дорогам сквозь чащи и скалы. Наблюдали птиц. Кормили ручную чайку, по имени Гасс. Звук тяжелого дыхания океана не прекращался ни на минуту. Звук «туманного сигнала» тоже. Эта освежающая неделя в компании молодой умной девушки, хорошо знавшей Индию и юго-восточную Азию никогда

не забудется.

* * *

Необходимые поездки к редакторам и к издателю завершились публикацией в ноябре 1969 года «Только одного года». Но я также тогда часто ездила в Нью-Йорк на камерные и симфонические концерты.

Странно, что музеи с их мертвыми коллекциями не привлекали меня тогда. Я всегда любила музеи в Москве и Ленинграде — там это было бегством от повседневной серости. Но здесь, в США, жизнь была настолько новой, яркой и шумной, что я не чувствовала необходимости «бегства». А музыка была необходимостью, как и всегда. Потому что музыка не мертва, она живет, дышит. И в те дни она нужна была мне больше, чем картины на стенах и статуи в музеях. Музыка была средством единения с другими людьми — как я испытывала это всегда в залах Московской консерватории. И чудом было видеть в США знакомые лица московских музыкантов!

Однажды Леонид Коган, блестящий скрипач из Москвы, давал концерт в Нью-Йорке. Потом Мстислав Ростропович играл концерт для виолончели Дворжака. Гремел необычайный успех Рихтера, только лишь недавно «выпущенного» концертировать за границу: впервые за столько потерянных лет! Затем Владимир Ашкенази, москвич, дал несколько бетховенских концертов. Карнеги-Холл стал продолжением моей привычной московской жизни: когда я слушала там московских музыкантов, трудно было сказать, где я находилась…

Музыка объединяет раздробленное человечество. Политика и правительства стоят между нами, как стена. Владимир Ашкенази был перебежчик, как и я; Ростропович последовал нашему примеру через несколько лет. Многие музыканты в Москве, которых я хорошо знала, хотели бы сделать то же, но ответственность перед своими учителями и перед семьей удерживала их. Звуки музыки же не знают границ, и здесь снова я слушала своих любимых — Баха, Вивальди, Моцарта, Гайдна, Генделя. Я всегда любила старых мастеров той, предындустриальной поры, когда жизнь еще воспринималась как единое великое целое, воспринималась с радостью, с естественностью.

Мы часто посещали эти концерты с семьей профессора славистики Д. А. Джапаридзе, с его женой и сыном, которых я встретила в Принстоне. Эмигранты из России, он грузин, она —

армянка, они отличались от других русских эмигрантов так же, как Кавказ и юг отличаются от северных краев. Они были жизнелюбы, предпочитали хорошую еду и вино, веселую компанию и никогда не жаловались (неприятная привычка русских). Прежде чем отправиться на концерт, мы обычно заходили в маленький французский ресторанчик возле Карнеги-Холл. Дома Джапаридзе хорошо готовили кавказские блюда. Оба родились в Грузии, но уехали в детстве с родителями во Францию. В Париже они нашли друг друга, там же родился их сын, школьник теперь, говоривший по-русски, по-английски, по-французски. Его родители преподавали русскую литературу в Сорбонне, в Оксфорде, в Гарварде, потом в Принстоне и, наконец, в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В Принстоне университетские дамы, преподававшие на факультете славистики, восстали против «этого грузина», как они его называли, и его слишком высоких стандартов. Он был тогда деканом. И хотя в их конфликте он был прав, а они неправы, они все-таки его выжили, зная, как интриговать. В результате профессор Джапаридзе читал лишь небольшой курс, а вскоре решил уйти совсем. О своем решении он написал письмо. Его гордость была глубоко уязвлена, хотя он всегда скрывал свою боль. Отправив письмо, он почувствовал себя плохо, и ночью тихо умер от сердечного приступа.

Никто не мог поверить: профессор был молод и, по-видимому, здоров. Но его натура не смогла выдержать хитрого подкопа. И сыну, бросившемуся к телефону, он запретил говорить что-либо матери. Он хотел, чтобы она ехала домой спокойно и не волновалась. Двенадцатилетний сын проявил зрелость взрослого человека, как это бывает иногда с детьми.

Отпевание происходило в Русском соборе в Нью-Йорке, где все сотрудники факультета славистики Принстонского университета также присутствовали, заметно потрясенные. Потом длинная вереница машин потянулась под холодным январским дождем к Покипси, к кладбищу на холме, откуда открывался вид на Гудзон. Грузины-эмигранты, приехавшие на похороны отовсюду, принесли каждый коробочку с землей Грузии и бросали по щепотке в могилу, «чтобы лежал в родной земле». Старые эмигранты, бежавшие от революции в Париж, смотрели на меня с ужасом неверия в глазах, но им объяснили, что я была «другом семьи». Джапаридзе относились ко мне как к человеку, совершенно отделенному от имени моего отца. Они знали, что я любила Грузию, как и они, и что, как и они, я бежала от революции…

Как это глубоко несправедливо — ненавидеть Грузию и всех

грузин лишь потому, что это «родина Сталина»! Грузия — это древняя христианская страна, такая же сегодня, как много веков тому назад. А Сталин бросил свою родину в ранней молодости, примкнул к русским социал-демократам, уехал на север, много раз попадал в Сибирь в ссылку и навсегда полюбил Россию и русских, потому что он любил силу, и хотел быть с сильными. Утонченная артистическая культура Грузии претила ему до конца его дней, а эмоциональные, рыцарственные грузины были совсем не в его духе. Ему нужны были сильные и циничные, чтобы выигрывать, а страна песен, танцев и вина производила совсем иной сорт людей. Все это прекрасно понимали в семье Джапаридзе, и они с великодушием приняли меня, как друга. Это была короткая, но запомнившаяся дружба, более значительная для меня, чем это могло им показаться.[3] Они любили Америку, свой новый дом, где они жили в соответствии со своими национальными традициями, — как и выходцы из других стран. Я узнала многое об Америке через них и с их помощью.

Было так приятно видеть, что грузины остались грузинами в Америке, так же как итальянцы — итальянцами, ирландцы — ирландцами. Большой поклонник Грузии Борис Пастернак говорил о грузинах, что они, «как соль», — вечны и неизменны в своем характере.[4] Это было именно так здесь, в Нью-Йорке, я могла это засвидетельствовать. И мне было радостно оттого, что частица этой «прочной соли» была и во мне самой.

* * *

Я никогда не забывала — и не забываю — что своим освобождением я была обязана в 1967 году прежде всего послу США в Индии Честеру Боулзу. Несколько раз в те первые годы я ездила навестить его в его доме в Эссексе, в штате Коннектикут, где он тяжело и долго болел паркинсоновой болезнью. Он помог мне сразу же и решительно. Без него я вообще никогда бы не появилась в свободном мире.

Большой дом стоял на высоком берегу реки Коннектикут. Посол еще мог тогда прогуливаться потихоньку, с палкой. Но болезнь прогрессировала.

Я всегда любовалась этим человеком. Посол США в Индии не обязан отдавать своих детей в индийскую школу: но он отдал их, с энтузиазмом, так как на самом деле любил Индию. Его дочери знали хинди. Мы всегда возвращались к одному и тому же сюжету — обсуждали положение вещей в Индии. Я рассказала Боулзу, что мы дали деньги на постройку госпиталя в сельском районе

Индии, и он одобрил это. Госпиталь на 30 коек был открыт осенью 1969 года — это неимоверно быстро для Индии! С этого дня мы только финансировали его. Вначале крестьяне боялись идти туда, в особенности женщины. Потом, когда женщина врач возглавила отделение — они все пошли. С годами госпиталь сделался известным на сотни миль вокруг. Посол Честер Боулз был безусловно одним из тех, кто оценил мои чувства к Индии.

Я не была там — в Калаканкаре — с 1967 года. Какое-то предчувствие говорит мне, что увидеть эту деревню снова, возможно, будет очень больно: этот крошечный уголок земли, где однажды так много было сконцентрировано для меня. Несколько домов на излучине Ганга, где я жила в зимние месяцы; там, где пришло решение; там, где у меня оказалось достаточно сил, чтобы начать совершенно новый путь.

* * *

Моя книга «Только один год» — история перебежчика — скоро должна была появиться на прилавках. Заглавие не звучало по-английски так же убедительно, как по-русски. Оно означало: «О, как много всего произошло в этот один только год!» Издатель, переводчик и я пытались подыскать эквивалент по-английски, и в конце концов я настояла на этом ослабленном варианте. Но немецкий издатель наотрез отказался принять это название и предложил свой вариант: «Солнце восходит на Западе». Я считала это необычайно глупой претенциозностью. Пришлось, однако, пойти на компромисс и назвать книгу на немецком «Первый год», хотя в этом тоже не было смысла: это не был первый год ни в каком роде. Может быть, они не прочитали текста. В издательском мире такое тоже случается.

Всего лишь год тому назад моя первая книга была перерекламирована, а затем совершенно искажена в публикации отрывков, подобранных по произволу, в «Лайфе» и в «Нью-Йорк таймс». Поэтому теперь я наотрез отказалась от подобных публикаций и не хотела рекламы. Теперь средства информации отнеслись к новой книге очень странно.

Уже в студии, откуда должна была вестись передача «Встреча с прессой», — я была приглашена туда Ларри Спиваком, — меня удивил его быстрый шепот, когда мы уже начинали прямую передачу: «Не говорите о своей книге! Просто отвечайте на вопросы!» Вопросы последовали самого разнообразного характера, но все больше о Сталине. О книге никто ничего не сказал, я так и не узнала почему.[5]

«Только один год» остался незамеченным публикой, которая обожает рекламу и всегда хочет больше и больше слышать о новых событиях. Книжные магазины считали, что это книга «о путешествии», и не хотели заказывать ее. В одном Указателе изданий так и было сказано: «путешествие из СССР через Индию и Швейцарию в США»…

«Нью-Йорк таймс», сказала о книге что «…эта книга оказалась такой, на какую мы надеялись вначале». Следовательно, семейная хроника «Двадцати писем к другу» была не тем, чего от меня ожидали.

Эдмунд Вильсон, однако, написал: «Эта книга, я верю, найдет отклик во всем современном мире». Он видел мой рассказ как «… уникальный исторический документ, который найдет свое место среди больших русских автобиографических работ — Герцена, Кропоткина, Толстого с его исповедью». Это мне показалось даже слишком уж хорошо! Но, во всяком случае, Эдмунд Вильсон не воспринял книгу как «рассказ о путешествии»…

Я была счастлива, чувствуя, что действительно стала писателем. Две книги были опубликованы. На этот раз не было большого вечера в ресторане «Пьер», а просто небольшой обед у Кенфильдов (мой издатель).

Мне казалось, что первая часть книги была наиболее важной, показывавшей постепенность принятия решения бежать из СССР. Я старалась также передать свою близость к Индии, которую я испытывала в то время. И совсем не только потому, что Индия была первой страной вне СССР, с которой я познакомилась. Даже несмотря на всю бедность и нищету деревни около Ганга, меня глубоко тронуло все, что я увидела там. Я не приехала туда как туристка. Я жила среди этих людей и наблюдала реальность их жизни.

Все забывают, что моей первой мыслью было остаться в Индии. И только, когда выяснилось, что правительство Индии не пойдет на конфликт с СССР (мне намекали на это много раз), только тогда я отправилась в посольство США просить о помощи, потому что больше не было никаких возможностей. Это было простейшим, наиболее практичным шагом в данных обстоятельствах.

Меня удивляло, что американцы видели в Индии только «нищету», и ничего не знали о духовных и культурных богатствах этой великой страны. Дальновидные политики — как Честер Боулз — знали эту страну хорошо и осознавали ее громадное стратегическое и политическое значение для Америки. Но большинство даже образованных американцев склонялись более к мусульманскому миру, или же к так называемому «ориенту» —

Китаю и Японии. Индийские традиции ненасилия почему-то заставляли пуритан и фундаменталистов-христиан отворачиваться от древних основ культуры Индии. Не расизм ли проявлялся здесь, под прикрытием «христианской чистоты»? Индийцы — это истинные интернационалисты сегодняшнего дня. Мое собственное увлечение Махатмой Ганди и даже личная заинтересованность в «старом больном индусе»[6] и моя дальнейшая приверженность и любование пустынными берегами Ганга — все это американский читатель встретил — за редкими исключениями — довольно скептически. Только единицы из моих читателей соглашались со мной в том, что встреча с миром Индии может коренным образом изменить вашу жизнь и образ мыслей. (Это понимают в Англии. Как только мы переехали в Англию в 1982 году, я ощутила эту разницу.) Что касается самих индийцев, то они чувствуют себя дома в любой стране и проявляют завидную терпимость к образу жизни, отличному от их собственного.

В конце книги я поблагодарила всех тех, кто редактировал, комментировал, вносил поправки и предложения во время моей работы над «Только одним годом». Это был длинный список имен, которые я умышленно назвала, чтобы сделать ясным, что я не совсем одна работала над книгой. Мне пришлось — не споря с другими — писать слишком много о политике, больше, чем я того хотела. Меня всегда интересовала — куда больше — человеческая сторона жизни. Луи Фишер (редактор издательства «Харпер энд Роу») старательно выбрасывал из моих страниц всякое упоминание Бога, пока однажды гостивший в Принстоне Милован Джилас не сказал в присутствии Фишера со страстностью: «Вы должны написать о вашем опыте, как вы пришли к религии, к вере. Это так важно! Лично я не верую, но я так завидую тем, кто имеет веру. Вы должны написать об этом подробно!» Меня очень поддержали и ободрили его слова, и я написала тогда новую главу, озаглавленную «Судьба». Я даже хотела специально посвятить ее Милована Джиласу, но мне сказали, что «не стоит».

Издатель и редакторы постоянно требовали, чтобы я вновь и вновь писала о моем отце. Я же полагала, что уже все сказано в «Двадцати письмах к другу». Мне ненавистно было возвращаться опять к памяти о прошлом, к моей жизни в СССР, в Кремле. Я заставила себя писать о политике в Советской России, о политике Сталина — всем это было так нужно! И в самом деле, критика отнеслась к этому положительно. Но то, что я считала более важным, — подробности жизни незнаменитых людей — это не было отмечено критикой.

Многое о моем перелете в США через Швейцарию не было

включено в книгу по просьбе моих друзей. Мне не удалось объяснить правду: как и почему я вообще попала в Швейцарию? Не имела я возможности рассказать полностью о встрече с адвокатами с Мэдисон-авеню… Все это «не вошло» в рассказ. Вместо этого мои издатели хотели, чтобы я говорила опять и опять о Сталине, о его окружении, об образе жизни «советской верхушки».

Не удалось мне ясно высказаться в те дни и во многих интервью. Единственным положительным исключением (запомнившимся навсегда!) было интервью с сэром Робином Дэйем из телестудии Би-би-си, который прочел обе книги со вниманием и пустился в серьезный разговор со мною об их содержании. Я просто наслаждалась этим двухчасовым разговором перед камерой! Но по каким-то причинам этого интервью не показали в Америке, и даже в Европе оно было показано в отрывках. Слишком хорошо и без глупостей! Это было осенью 1969 года.

В то же самое время меня попросили прочесть по-русски главы из моей книги на радиостанции «Голос Америки». Я прочла самые политические, самые антисоветские страницы, и это вызвало немедленный протест СССР американскому посольству в Москве. Посольство отклонило протест, заявив, что чтение книги — это личное дело автора. В ответ на это, очевидно потеряв терпение, советское правительство аннулировало мое гражданство. Официальный Указ Верховного Совета СССР лишил меня «чести быть советской гражданкой» — к моей большой радости.

Я уже ранее обращалась в консульство СССР в США с просьбой о выходе из гражданства. Но это решили представить миру как мое «наказание»! Я узнала об этом факте из «Нью-Йорк таймс», где из этого сделали чуть ли не трагедию для меня, и, конечно, — искали моих «комментариев» на событие. Но мне пришлось объяснить, что я совсем не потрясена случившимся, а, наоборот, даже просила об этом. В честь этого события мы отправились с друзьями на самую вершину Эмпайр-Стейт Билдинга, чтобы отметить освобождение.

Итак, с этого времени я не принадлежала ни одному правительству на земле. Я была человеком «без гражданства». Я чувствовала, что именно это подходит мне более всего! Но вас никогда не оставляют в покое в этом мире.

Законный иммигрант — иностранка в Соединенных Штатах — я должна была теперь ждать десять лет, прежде чем подавать на гражданство США. Обычно иммигрант ждет лишь пять лет; но те, кто были когда-то членами партии коммунистов должны были

ждать, как в карантине, целых десять лет. Часто приходилось удивляться, как плохо знали американцы свои собственные законы. Нередко весьма образованные люди полагали, что достаточно выйти замуж за американца, чтобы стать гражданкой США. Это было верно во времена первой мировой войны… Но после второй мировой войны, когда сотни «солдатских жен» устремились в Америку со всех стран мира, эта входная дверь была закрыта. Эра маккартизма прибавила и более строгие меры, в частности, к тем, кто приезжал сюда из коммунистических стран. Я же совсем не возражала против столь долгого ожидания, так как в это время была вполне счастлива в Америке и даже не думала о поездках в иные страны. Мне хотелось лишь больше узнать об этой громадной прекрасной стране.

В те первые годы отношение ко мне было, вообще говоря, вполне дружеским. Я продолжала получать множество писем от читателей — теперь уже моих двух книг, изданных на английском языке повсюду в мире, а также на немецком, французском, итальянском, иврите, китайском, японском, шведском, норвежском, польском и на моем родном русском языке. Последнее предназначалось для русских кругов вне России, и книги были изданы в Нью-Йорке.

Русские, живущие вне России, всегда сохраняют любовь и интерес к литературе на родном языке, никогда не забывают свой язык, и поэтому по всему миру существует большая сеть русских библиотек, русских книжных магазинов и большой рынок русских книг.

Изредка я получала ненавистническое письмо от русских, украинцев или от эмигрантов из Восточной Европы: но я не помню писем подобного рода от американцев неславянского происхождения. Отношение ко мне тогда было по преимуществу дружелюбное.

Женщины были моими лучшими читателями: они лучше понимали историю семьи, драму человеческой жизни, роль женщины даже в жизни такого человека, как Сталин. Из реакций женщин на мои книги я была счастлива сделать заключение, что действительно мы все есть Человеческая семья, мы можем понять друг друга, потому что мы все одинаковы в своих основных запросах и проявлениях.

В то время я много ездила по стране, одна, часто заказывая билеты на имя Ланы Аллен — которое легче диктовать по телефону, чем мое русское длинное имя. (Чуть ли не сразу по приезде в США адвокат Моррис Эрнст сказал мне, что надо обязательно научиться быстро диктовать свое имя и что «Лана» было бы куда легче, чем долгое Светлана. Отсюда и возникло это

имя.) Никто меня не сопровождал и не охранял. Никто меня не замечал. Меня принимали за ирландку, за шотландку или же за немку — судя по реакции нью-йоркских водителей такси. Мне так хорошо было оставаться незамеченной! Так я побывала в Калифорнии, и сразу же влюбилась в этот прекрасный экзотический штат. И в штатах Восточного берега. И в Вашингтоне. И много много раз в Нью-Йорке. Значит, возможно жить без попадания в газеты, — думала я и все больше и больше раздражалась тем, чему меня подвергли по приезде в США. Как это должно было вульгарно выглядеть тогда! Меня передергивало при одном лишь воспоминании о всех моих интервью и появлениях перед публикой. Уж мне-то совсем были они не нужны.

Я повторяла на практике теперь — через много лет, и бессознательно — принципы моей мамы, не желавшей признавать свою роль «первой дамы» страны, прилагавшей все усилия, чтобы оставаться незамеченной, неузнанной, чтобы иметь возможность жить своей собственной жизнью, отдельной от ее знаменитого мужа. Ведь она планировала — по словам своей сестры Анны — окончить Промышленную Академию, оставить мужа, разойтись с ним, забрать детей и начать свою собственную жизнь и работу… Ее высокое положение претило ей. Так оно всегда претило и мне. Ей так хотелось быть «обычным человеком» и жить обычной жизнью. И это уважали в ней тогда, в дни все еще революционного пуританизма. «Новый класс» советских буржуа, так метко описанный Джиласом, возник позже, в особенности — после второй мировой войны. Надю Аллилуеву невозможно представить себе покупающей драгоценности за границей на кредитную карточку «Американ экспресс». Век Раисы Горбачевой настал много позже.

В те дни я встречалась со многими на бесчисленных коктейлях в Принстоне и Нью-Йорке. Видела множество специалистов по советским делам, по коммунизму и истории России. Невозможно не отметить яркость и талант Бертрама Д. Вульфа. Его книги о России и коммунизме объясняют многое. Сам он и его милая жена Элла стали надолго моими близкими друзьями.

Наконец я встретилась и с Исааком Дон-Левиным, известным «антикоммунистом № 1», который пытался разыскать меня еще в Швейцарии в 1967 году и «спасти от либералов» — как он теперь говорил. Я вспомнила его имя — он писал мне тогда и умолял встретиться с ним в Берне или Цюрихе. Но я — дисциплинированная в ту пору — считала, что мне следовало слушать тех, кто уже занимался мной… А потом — что знала я о

каком-то Дон-Левине тогда? Чем был он лучше других? И как могла я понять и охватить всю «американскую сцену» и разобраться, кто был либералом, кто консерватором и с кем надлежало быть мне? Я просто была благодарна, что мне кто-то помогал, и не могла вдруг бросить одних и бежать к другим. Дон-Левин говорил теперь, что он это понимал. Но он хотел тогда — старый волк — журналист и историк, писатель — представить миру факт моего бегства от коммунизма в его реальной и большой значимости. Не как «путешествие из России в Нью-Йорк, через Индию и Швейцарию, чтобы издать книгу». Ах, если бы все это я могла понять тогда… Но ведь никто, и даже милые швейцарцы не взялись бы тогда объяснять мне положение вещей. А оно было необычным, и пресса торопила и сводила с ума всех без исключения…

Не только Дон-Левин из США хотел прилететь тогда в Швейцарию, чтобы говорить со мной, но и Эммануэль Д'Астье приехал из Парижа с той же целью, и Дэвид Флойд из Англии. И все настаивали на немедленной встрече, в которой мне, по-видимому, никто бы не отказал. Но чем были другие лучше Джорджа Кеннана в моих глазах? У меня не было никаких оснований выбирать из целого списка незнакомых имен. Я совершенно не знала западного мира и всех его возможностей и разнообразностей.

Выходец из СССР — при всех его самых благородных устремлениях — это самое беспомощное существо в бурном, кипящем, шумном свободном мире. Нужны годы, чтобы понять этот многообразный мир. Мы все хотим сюда, но мы абсолютно к этому не подготовлены всем нашим советским воспитанием. Не я одна испытала это. Мы беспомощны. Нам нужны крайне незаинтересованные, объективные и разумные советники и спокойные друзья в этот переходный момент.

Даже Дон-Левин тоже не был таковым, потому что он только лишь использовал бы мое имя и всю историю в интересах консерваторов (так же, как это было сделано либеральными кругами Нью-Йорка, «Нью-Йорк таймса» и Восточного побережья.

И вот теперь, сидя передо мной в моем принстонском Доме, краснолицый, астматический, сердитый Дон-Левин доказывал мне, как «либералы старались не испортить 50-ю годовщину Октябрьской революции» и как СССР требовал прекратить издание моей книги. (О да, я помнила, как даже посол Кеннан в те дни 1967-го желал остановить ее публикацию, но все издатели запротестовали.) «Перебирайтесь в южную Калифорнию, оплот консерватизма! Вы увидите колоссальную разницу между Западным и Восточным побережьями этой страны. В районе Сан-

Диего, где мы живем, вас будут подозревать как „красную“, но вас также лучше поймут как перебежчицу. И вам отдадут там должное как таковой».

Когда я сказала ему, что утратила все права на мою первую книгу, подписав соглашение с таинственным Копексом в Лихтенштейне, он только обхватил голову толстыми своими пятернями и раскачивался на стуле в молчании. «Ну, моя дорогая, я хотел встретить вас в Швейцарии! — наконец рассмеялся он. — Я хотел, чтобы вы встретили другую Америку, консервативную, республиканскую и антисоветскую. Адвокаты, назначенные администрацией, сделали все возможное, чтобы не допустить именно этого, потому что Советы не желали этого! Что еще могу я сказать? Мне жаль, что вы пропустили нас и что мы пропустили вас. Все могло быть куда лучше и для вас и для американской публики».

Я не знаю, так ли это. Дон-Левин был только другой крайностью политического спектра, а углубляться в политику — играть на политических инструментах — мне никогда не хотелось, каковы бы ни были цвета флагов.

Много позже (через восемь лет после этого разговора) я отправилась с моей маленькой дочерью в южную Калифорнию, по существу следуя советам Дон-Левина. Мы поселились возле Карлсбада, где он жил. Он сам и его жена были чрезвычайно милы к нам. Однако его многолюдные сборища, где меня показывали гостям, были мне не по вкусу, и я стала избегать их. Я совсем не «политический активист» по натуре, и, должно быть, Дон-Левин был разочарован. Он хотел, чтобы я давала интервью, подписывала письма протеста, но я не стремилась к этому. Он был добрым человеком и был искренне нежен с Ольгой — чего я не могла не оценить. Дон-Левина уже нет на свете, он умер от сердечного приступа, но мной он никогда не будет забыт, я вспоминаю о нем с теплотой. Дон-Левин познакомил меня с другой стороной американской жизни — настоящим, даже махровым, консерватизмом — и я благодарна ему за это. Он никак не мог понять, почему я не хотела читать лекции, появляться перед публикой — все то, что он считал я должна была проделывать. Люди обладают различными внутренними потребностями — политики никак не могут понять этой простой истины.

Но когда, наконец, став гражданкой США, я должна была решать, как голосовать на выборах 1980 года, я голосовала за республиканцев. Возможно, в этом сказались влияние и голос Исаака Дон-Левина.

Тем временем — возвращаясь к принстонским годам, — я

сидела в моем уютном доме на улице Вильсона, отвечала на бесчисленные письма читателей, собирала вырезки из газет с критикой моих книг, делала то, что писатели обычно делают после публикации книги: думала о планах новой книги… Мне хотелось сделать книгу об этой новой для меня возможности общения со всем миром, которую я обрела, став писателем; нечто вроде писем со всего мира. Мне хотелось теперь писать о неизвестных людях, ответивших мне, как другу; писавших мне — «мы ваши друзья», после того, как прочли мои «Двадцать писем к другу». Я чувствовала, что мои книги коснулись сердец, тронули молодых и старых, мужчин и женщин. Эти драгоценные письма обращены были ко мне, женщине, а не к дочери Сталина: они часто совершенно не касались политики. Я вдруг услышала множество человеческих голосов вокруг меня, звучавших тепло и дружелюбно. Вот об этом я и хотела написать.

Но, по-видимому, моя судьба не позволяет мне наслаждаться жизнью и ревниво следит, чтобы приятные времена не продолжались слишком долго. Среди прочих начали приходить письма от вдовы Фрэнка Ллойд-Райта, знаменитого американского архитектора (чье имя было мне тогда неизвестно), и от их дочери. Расспросив и разузнав, я поняла, что нечто вроде артистической коммуны, основанной Райтом, — все еще существует и что она известна своими «странностями». Однако меня усиленно зазывали именно туда, и вскоре другие члены этой коммуны также начали мне писать, расхваливая мои книги и обещая, что мне будет приятно и интересно в их обществе.

Предупреждениями о «странности» я пренебрегла, так как вещи необычные мне были знакомы всю жизнь. И после нескольких месяцев настойчивых приглашений я не могла отказать пожилой почтенной даме и запланировала поездку в Аризону на середину марта 1970 года — только на одну неделю, чтобы уважить просьбу. А потом — в Сан-Франциско. А в июне меня ожидало приятное путешествие на Гавайи, где у моих знакомых был дом на уединенном пляже. Мне так хотелось ездить, встречать новых людей, видеть новые места!

Итак, с этими приятными планами в голове и, ничего не подозревая о возможности угрозы моему установившемуся образу жизни в Принстоне, я отправилась в аэропорт, чтобы лететь в Финикс, в штат Аризону. Тогда я абсолютно ничего не знала о том другом мире, куда меня так звали. И если бы меня кто-либо попытался предупредить об опасности, то я, конечно, не поверила бы ему.

Об опасности полной потери только что складывавшейся новой жизни, потери моей независимости, признанного

положения писателя, нового наслаждения свободой — которой я никогда раньше не имела. О, нет! Это было просто невозможно, и я бы только рассмеялась.

ЗАПАДНЯ
1970–1972

Когда я прилетела в аэропорт Финикс в марте 1970 года, я все еще знала очень мало о Товариществе Талиесин,[7] расположенном в пустыне Аризоны. Я знала так же мало о Ф. Л. Райте, основателе этой артистической коммуны. Он умер одиннадцать лет тому назад, и его архитектурное дело, так же как его Школа архитектуры и то, что они называли «братство», — все это находилось с тех пор под надзором его вдовы, Ольги Ивановны, урожденной Милиановой, внучки национального героя Черногории (ныне часть Югославии). Ольга Ивановна была воспитана еще в царской России, говорила по-русски, и в Америке стала четвертой женой знаменитого архитектора.

Она и ее дочь Иованна Л. Райт прислали мне несколько книг об их «прекрасной жизни в коммуне» в пустыне, на кампусе, спроектированном и построенном Райтом в начале 30-х годов. (Другой — первоначальный кампус этого товарищества находился в Висконсине, как я узнала позже.) Просматривая их стильные фотографии, не слишком восхищенная ландшафтами пустыни и архитектурой, напоминавшей театральные декорации, я больше думала о том, куда я поеду после визита в эти странные места. Приглашение от русской художницы Елизаветы Шуматовой поехать позже летом с нею на Гавайи было куда как привлекательнее для меня. Не пустыни Аризоны, а уединенные пляжи, ненаселенный остров в океане — вот куда меня действительно тянуло. В те дни меня часто приглашали малознакомые мне люди, и отвечать на их приглашения было частью моего образа жизни, а также способом больше узнать об этой стране.

Тем не менее посещение Аризоны предполагало один очень личный момент. Ольга Ивановна Райт провела свою юность в России, а именно в Грузии — Батуми и Тифлисе, вышла там замуж первый раз и там же, в городе столь знакомом моей семье, родила дочь Светлану. Имя Светлана, редкое тогда, взято из поэзии Жуковского, — образ задумчивой девушки, бродящей в лесу — как Офелия.

Ольга Ивановна и ее муж, музыкант из «русских немцев», эмигрировали после революции и после многих скитаний обосновались в Чикаго. Здесь молодая тридцатилетняя женщина встретилась с уже всемирно известным шестидесятилетним Райтом (только что оставленным его третьей женою) и начался

страстный роман. Девочка Светлана, десяти лет, была впоследствии удочерена Райтом. Вскоре появилась на свет ее сестра — Иованна Райт, и все они составляли ядро и центр «Товарищества Талиесин», артистической коммуны, идею которой молодая Ольга Ивановна заимствовала от Гурджиевской Школы гармоничного человека во Франции, где она была ученицей несколько лет.

Светлана Райт позже вышла замуж за одного из архитекторов Товарищества,[8] родила двух мальчиков и ожидая третьего ребенка, трагически погибла в странной автомобильной катастрофе в Висконсине, недалеко от городка Спринг-Грин. Только пятилетний мальчик уцелел. Мать Светланы не могла успокоиться с тех пор — и по ее словам — совпадение имен заставило ее написать мне в первый раз. Мне тоже казались фатальными совпадения имен и мест, а также факт, что миссис Райт была одного возраста с моей матерью и росла в тех же краях, которые так всегда любила Надя Аллилуева. Короче говоря, мы обе решили что мы должны встретиться, и обе втайне надеялись на еще большее сходство с любимыми образами, которые мы носили в своих сердцах. Родом из Черногории, крошечной восточно-европейской страны, так же мало известной в Америке, как и моя Грузия, Ольга Ивановна прошла через нелегкую жизнь, полную борьбы за существование, и теперь грелась в поздних лучах славы и авторитетного имени Райта. Она была теперь президентом Фонда Райта, архитектурной школы и фирмы — руководителем огромного дела и известной американской аристократкой. Помимо этого, я мало что знала о ней лично. Но тем любопытнее было мне встретить ее.

В аэропорту Финикса меня должна была встретить Иованна Райт, которая, если судить по ее письмам, была артистической натурой и сердечным человеком. Она тоже писала мне, что взволнована предстоящей встречей с женщиной, носящей имя ее погибшей сестры. Очевидно, что совпадение имен имело глубокое мистическое значение здесь для всех. Но я даже не знала, как Иованна выглядит, и пыталась представить ее себе, оглядываясь вокруг.

Мой взгляд привлекла ярко одетая красивая женщина примерно моих лет, в коротком платье (мода тех лет), с копной длинных, кудрявых волос и сильно подведенными глазами. Неожиданно она заметила меня и с криком «Светлана!» устремилась ко мне, заключив меня в горячие объятия. Не привыкнув еще к эмоциональному поведению перед публикой, я смутилась, но не могла не ответить на ее порыв.

Сильно нажимая на газ в своей спортивной машине красного

цвета, поглядывая на лиловые горы, окаймлявшие долину, она еще раз кратко повторила мне историю гибели ее сестры. «Я так надеюсь, что вы будете моей сестрой!», — сказала она без остановки, и я опять смутилась и не знала, что ей ответить.

Иованна была яркой, красивой, очень уверенной в себе женщиной и говорила громким голосом. «Вполне в гармонии с ландшафтом», — подумала я, любуясь яркостью красок весенней пустыни, «О, мы всегда ездим быстро через эти пространства!», — засмеялась она, заметив, как моя правая нога инстинктивно «нажимала» на воображаемую педаль тормоза… Это — рефлекс всех шоферов, которым приходится быть пассажирами. Мы неслись по степной дороге, и наконец я рассмеялась и почувствовала себя легко с моей новой «сестрой».

В середине марта воздух наполнял аромат цветущих апельсиновых рощ, раскинувшихся на орошаемых землях вокруг Скоттсдэйла. После холодного, еще зимнего Нью-Джерси, переход к солнцу и теплу, напомнил мне недавний перелет из зимней Москвы в Индию — контрасты были такими же. Я начинала чувствовать колдовские чары всей красоты вокруг, упиваясь ароматом, цветами и теплым воздухом пустыни. Я даже заметила яркие малиновые цветы буганвиллии, вьющегося растения, столь популярного в Индии, карабкавшегося здесь на изгороди и дома.

И, наконец, через аркады, обвитые цветами, я была проведена к самой миссис Райт. С самого первого момента я поняла, что мои надежды увидеть женщину, возможно, напоминающую внешне мою любимую маму, были дикой фантазией. Она была маленькой, худощавой, с желтым, как пергамент, лицом в морщинах, с быстрыми умными глазами, в простом элегантном платье и громадной шляпе бирюзового цвета на очень черных (крашеных?) волосах. Датский дог черного цвета сидел у ее ног. Ничего не было здесь от мечтательной, мягкой красоты моей мамы, ее застенчивости, ее бархатного взгляда. Передо мной была царственная вдова знаменитого архитектора, президент и продолжатель его дела, с быстрым, кошачьим взглядом светло-карих глаз, напоминавшим куда более быстрый взгляд моего отца…

Она улыбалась мне, мое имя было пропето опять и опять, она протянула ко мне руки и прижала меня к своей груди.

Меня повели в коттедж для гостей, где все было исполнено вкуса и роскоши — по сравнению с пуританским Восточным побережьем. Еще одна хорошо одетая женщина показала мне маленькую очаровательную кухню, и сказала: «Вы всегда можете пить здесь кофе. Отдыхайте, устраивайтесь, возможно, вам захочется немного погулять. Мы — оазис посреди пустыни, сейчас

все цветет! Миссис Райт будет вас ожидать к обеду в ее доме, коктейли в большой гостиной». И меня оставили одну с моими первыми впечатлениями. Я не видела ничего подобного возле Принстона, Нью-Йорка или Филадельфии. Это был другой мир.

Позже пришла Иованна осведомиться, привезла ли я с собой вечерние платья, как она мне писала. Нет — я просто не смогла найти ничего подходящего в известных мне лавках Принстона. «Но у нас всегда официальный прием по субботам! — настаивала Иованна. — Я принесу вам свои платья, мы как будто одного размера», — решила она вдруг и быстро ушла, не дав мне возможности ответить. В Америке я привыкла, что никто не обращал внимания на костюм, и «маленькое черное платье» подходило и к Карнеги-Холлу и к обедам, куда меня приглашали. Никто никогда не давал мне советов, и хозяйки всегда настаивали: «Приходите в том, в чём вы есть». Здесь же особое внимание обращали на одежду. Ну что ж, это занимательно!

Несколько ярких созданий из шифона и шелка появилось в моей спальне. Это были очень дорогие платья, сшитые для «специальных случаев». Я пошла на сегодняшний обед в своем коротком светло-зеленом платье и черных туфлях. За мной был прислан «эскорт», чтобы сопровождать в большую гостиную.

Дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах, все увешанные драгоценностями и блестевшие, как рождественские елки, уже ждали возле горевшего камина. Вошел высокий, темноволосый человек и был представлен мне хозяйкой: «Светлана, — это Вэс. Вэс, — это Светлана».

Мне следовало помнить, что вдовец той Светланы был все еще здесь, что он был одним из архитекторов и старейших учеников Райта. Но его не было среди всех писавших и приглашавших меня, и я забыла о его существовании. Я взглянула на его песочного цвета смокинг, на фиалковую рубашку с оборками, на массивную золотую цепочку с кулоном — золотая сова с сапфировыми глазами — и подумала: «О, Боже». Но его лицо было строгим и исполненным достоинства, глубокие линии прорезывали щеки — как у Авраама Линкольна. Он был спокоен и даже печален, выглядел лучше всех остальных, напоминавших каких-то ярких райских птиц, сидел спокойно, естественно, держа стакан в руке, и мне понравилась его сдержанность. Только однажды вдруг я заметила внимательный взгляд очень темных глаз, пристально разглядывавший меня, но он тотчас же отвел глаза, продолжая молча сидеть. Он казался одиноким и печальным.

Затем мы проследовали к столу в другой комнате, где тяжелые грубые камни стен и низкого потолка странно

контрастировали с полированным большим столом ярко-красного цвета. Приборы были золотыми (или так они выглядели), высокие вычурные стаканы блестели хрустальными гранями. Композиция цветов посередине стола представляла собой образец тонкого вкуса. Старинные китайские вышивки украшали каменные стены.

Мы уселись, и я подумала, что все это напоминает фантастическую пещеру где-то в центре земли. Хозяйка рассадила всех сама, и Вэс был справа, рядом со мной. Нас было около восьми человек, узкий круг верхушки Товарищества Талиесин (как я узнала позже), и этот прием был дан в мою честь, как почетного гостя. Все это было занимательно, но я чувствовала себя не на месте.

Обед был мексиканский, первый в моей жизни. Вино было налито в хрустальные бокалы, прислуживали за столом молодые люди в ярких мексиканских рубашках с оборками: некоторые стояли позади стульев. Мне никак не пришло в голову тогда, что это были студенты-архитекторы, для которых работа в общей кухне и прислуживание за столом у миссис Райт были обязанностью и даже честью. Тогда же я ломала себе голову, пытаясь догадаться, кто были эти молодые люди с интеллигентными лицами, никак не походившие на нанятую прислугу. Когда я наливала себе в тарелку острый мексиканский соус «Сальза Брава», я вдруг услышала моего соседа, не произнесшего до сих пор ни слова: «Этот соус очень острый!». Я ответила, что это не страшно, так как мне знакома кавказская кухня, столь же острая и перченая. Голос моего соседа был низкий и тихий, и он ничего больше не сказал.

Разговор за столом вела хозяйка, наблюдавшая каждого уголком своих быстрых глаз. Она задавала тему и тон всему, иногда шутила, и каждое ее слово присутствующие слушали с молчаливым вниманием. («Совсем, как за столом у моего отца, — подумалось мне. — Как глупо было вообразить, что хоть что-либо здесь могло напомнить мне маму! Ничего, билет на Сан-Франциско у меня уже есть».)

«Я так рада, что Вэс и Светлана наконец встретились». — произнесла хозяйка, со значительностью подчеркивая наши имена. Все смотрели на нас двоих. Значит, меня пригласили сюда для этого? Значит, все готовилось для этой встречи? Следовало бы мне быть более прозорливой насчет планов этой умной хозяйки. Но я была беспечна. Мне было все равно. Я медленно погружалась в незнакомую мне атмосферу роскоши и тонкого вкуса, и просто решила понаслаждаться немного всем этим, еще несколько остававшихся дней. Я не чувствовала, что мне грозило что-либо, и крепко спала в своем коттедже, до дверей которого

меня снова сопроводил «эскорт».

Наутро Вэс пришел рано и сказал, что миссис Райт прислала его, чтобы показать мне всю территорию Талиесина, а потом также и город Скоттсдэйл. Мы обошли весь кампус, спланированный Райтом посреди пустыни как причудливый оазис, построенный из здешнего камня. Массивные низкие постройки с плоскими крышами, везде — горизонтальные линии, тяжелая каменная кладка, толстые стены и очень маленькие окна и масса зелени. Райт боготворил Землю, ее цвета, традиции Пуэбло и Навахо — эстетику искусства американских индейцев. Он хотел славить индейскую адобу, противопоставляя ее белым домикам пуритан Восточного побережья.

«Белые дома выглядят неестественно среди зелени, как обрывки белой бумаги на траве», — говорил Райт своим ученикам. И его слова бесконечно здесь повторялись. Тут же поистине все органично сливалось с окружающей пустыней, и для тех, кто обожает пустыню и натуральные краски земли, почвы, это, должно быть, было совершенством. Я же соглашалась больше из вежливости. Белые домики стиля «Кейп Код» были очень дороги мне, так же как и традиции латинского Средиземноморья, отразившиеся в белых домах с черепичными крышами в Калифорнии. Мне не нравились эти низко сидящие здания с толстыми стенами, без яркого света внутри. «Как античные могилы», — подумалось мне. Было что-то угнетающее во всем, что я видела, включая огромного китайского железного дракона, который по вечерам выплевывал изо рта пламя горящего газа.

Мой гид был очень вежливым и знающим, там где дело касалось архитектуры. В особенности хороши были посадки вокруг зданий, выглядевшие здесь совершенно натурально. Невозможно было не восхищаться! Трудно было также не поддаться очарованию старомодной вежливости этого человека — мне всегда нравилось это качество в людях. По дороге в Скоттсдэйл, сидя рядом с ним в роскошном «кадиллаке» (принадлежавшем, как и все вокруг, Фонду Райта, чего я еще не знала), мягко катившемся по асфальтовому прямому, как стрела, шоссе через каменистую плоскую долину, я вдруг почувствовала надежность и покой рядом с этим человеком. Он был молчалив и спокоен, едва прикасаясь к рулю рукою. Я наблюдала его исподтишка и не находила ничего, что не понравилось бы мне. Хорошие манеры, хороший вкус. Это была долгая поездка без слов, около двадцати минут или получаса, но она значила многое.

В Скоттсдэйле он показывал мне лавки с ювелирными изделиями из серебра, работы индейцев Западного берега,

многообразие бус, браслетов, колец с бирюзой и кораллами. Я хотела только маленькое колечко как память об этой поездке, и он выбрал мне хорошее кольцо с бирюзой. Когда я надевала его на палец, что-то пронзило меня, странный вопрос: «А не выйду ли я замуж за этого человека?», и я испугалась этой мысли. Ничто не было мне столь дорого и важно в то время, как моя только что обретенная независимость и свобода. Больше всего пугало отсутствие внутреннего сопротивления, твердого и решительного «нет!» Это была опасность. Я начала с нетерпением ждать отъезда.

Но настал вечер субботы, снова был официальный прием, богатые гости приехали из Скоттсдэйла. Была камерная музыка и танцы, исполненные архитекторами и их женами. Снова блеск «райских птиц», драгоценностей, яркость цветов и одежд. Театральность? — да, конечно. Но ведь здесь жили художники, свободные в выборе форм, красок и стилей. Иованна настояла, чтобы я надела ее голубое шифоновое платье-тунику, свободного классического покроя, с драгоценной брошью на плече.

Я никогда еще в своей жизни не носила ничего подобного, мне нравилась эта необычность, я развлекалась. Это был какой-то праздничный маскарад, но веселый. Вэс появился с громадных размеров кольцом на пальце, дизайн кольца он сам сделал для местного ювелира. На его высокой спокойной фигуре все эти смокинги и украшения выглядели как-то лучше и элегантнее, чем на остальных.

Блеск и парадность обедов и «парти» не соотносились с крошечными комнатами, почти монашескими кельями, в которых жили эти архитекторы. Крайне низкие потолки повсюду удручали, комнаты были темными. Вэс — главный архитектор фирмы в те дни — жил в небольшой квартирке-студии, состоявшей из одной комнаты и большой, длинной открытой террасы, куда светило прекрасное закатное солнце. Не было ни кухоньки, ни ванны, только душевая кабина и встроенные шкафы для одежды. Книжные полки, тоже встроенные, были заполнены отличными книгами по искусству.

Декоративные балки слишком низкого потолка не позволяли Вэсу выпрямить спину, и после долгих лет жизни в таких помещениях он сделался сутулым. Райт был очень маленького роста и не думал об удобствах для других: ему нравились низкие потолки, и он строил их повсюду, включая дома своих клиентов.

Вэс всегда работал как инженер-строитель у Райта, и только после смерти Мастера сделался сам архитектором-проектировщиком. Как старейшего и любимого ученика, его выбрали на должность главного архитектора фирмы Архитекторы

Талиесин Инкорпорейтед. Но вскоре я поняла, что он не имеет здесь никакого авторитета. Никто ничего не значил здесь, кроме порфироносной вдовы, которая одна и принимала все решения, даже когда это касалось чисто архитектурных деталей.

Во всяком случае, я считала, что уже видела достаточно и что мне пора уезжать. Я боялась увлечься этим высоким молчаливым человеком. Твердо заявив моей хозяйке, что, хотя быть ее гостьей — для меня сплошное удовольствие, — теперь я должна продолжить ранее запланированную поездку.

«Почему вы так торопитесь? — спросила она, пронзая меня взглядом своих быстрых, молодых глаз. — Останьтесь хотя бы на Пасху! Мы празднуем с традиционным куличом и пасхой. Вы сможете вместе со всеми раскрашивать пасхальные яйца, мы всегда раздаем их гостям. Будут пикники в пустыне. Это самое прекрасное время года!»

Я все еще сопротивлялась, но она была очень сильной, и ее напор был продуманным: она хотела, чтобы я осталась.

«А как вам понравился Вэс?» — спросила она неожиданно, и, захваченная врасплох, я сказала, что да, конечно, он мне очень понравился, — не глядя ей в глаза. Но ее взгляд теперь стремился проникнуть в самую мою душу, ища там правду. У моего отца была привычка так задавать неожиданные вопросы, и это пугало. Люди пятились задом из комнаты, под этим его взглядом в упор, парализованные. Так же они вели себя здесь. Все — но только не Вэс, ее бывший зять, которому она покровительствовала. Между ними была связь, созданная общей Утратой, печаль о молодой женщине, погибшей столь трагично, и он относился к ней почти как к матери, а она к нему — как к сыну.

Я чувствовала, что не в состоянии сопротивляться ей, а, кроме того, сказать по-правде, что-то внутри меня хотело, чтобы я осталась. «Ну, разве что на Пасху!» — наконец сказала я, зная, что потерпела полное поражение и что, по-видимому, потеряла контроль над положением вещей.

Мы раскрашивали огромные гусиные пасхальные яйца, сидя все вместе с архитекторами и их женами. Здесь это было возведено на уровень искусства: изобретательность и воображение создавали шедевры, которые потом дарили патронам и знатным гостям. Среди гостей никогда не было видно «бедных художников», только богачи. Но когда же все эти архитекторы работают за своими чертежными досками? — изумлялась я. Бесконечные празднования, обеды и ленчи, пикники в пустыне, казалось, занимали все время. Вэс возил или водил меня везде в свои рабочие часы. Что все это значило?

Как-то мы пошли вдвоем в ресторан, и в тот вечер я задала

ему немало вопросов. На этот раз он заговорил. Он хотел рассказать мне все сразу — о женитьбе на шестнадцатилетней девушке, об их детях, об их счастливой жизни вместе. Он говорил о той ужасной автомобильной катастрофе, в которой погибла его жена, беременная третьим ребенком, и о том, как их двухлетний сын погиб тоже. Боль и ужас были все еще живы, как будто с того дня не прошло двадцати пяти лет. Мы оба рассказывали друг другу о своих жизнях, как старые друзья. Ресторан закрывали, мы были последними его посетителями. Это был чудесный вечер.

Я вдруг как-то сдалась, полностью попав во власть неизбежного, что и было тайным желанием моей хозяйки и всех этих людей вокруг. Брак, самый обыкновенный брак, семья, дети, все то, чего я всегда так желала с юности, и что никогда не получалось. Теперь, в возрасте сорока четырех лет, я даже боялась мечтать об этом, не то что сделать еще одну попытку. Но что-то было в этом человеке такое печальное, такое порядочное, что сострадание к нему перевешивало все остальные разумные соображения. И с этим состраданием пришло чувство готовности сделать все что угодно для него — а это и есть любовь. Он не хотел легкой связи, он хотел брака, и эта серьезность привлекала меня еще больше.

Через неделю мы поженились, — всего лишь три недели спустя после моего приезда сюда, — и не скрывали своего счастья. Множество гостей съехалось на свадьбу, друзья миссис Райт и Вэса. С моей стороны я позвала только Алана Шварца, младшего партнера фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» (который был лучше, чем все остальные, и долгое время поддерживал со мной дружбу, я была долгое время откровенна с ним и с его женой). Сначала он был поражен, но потом присоединился ко всеобщему ликованию.

«Моя дочь — Светлана!» — так представляла меня каждому из своих гостей миссис Райт. Я чувствовала, что было что-то искусственное в этом отождествлении двух совершенно разных характеров, к тому же погибшую мою тезку все помнили такой молодой. Я боялась, что не смогу повторить ее образ — то, чего все от меня здесь так хотели. Но теперь уже было поздно думать и сомневаться. Я просто старалась быть естественной, радоваться со всеми и следовать желаниям этого человека.

Нас засыпали цветами, письмами, пожеланиями счастья, подарками всех видов и возможностей. Что-то было от волшебной сказки в нашей встрече. Те дни никогда не забудутся, даже если позже пришли иные чувства и другие события. Но что бы ни было позже, я не могу стереть из памяти весну 1970 года. Мне лишь хотелось знать, чувствовал ли Вэс то же, что я: но этого я не

могла знать. Он оставался молчаливым, как обычно, и никогда не говорил о своих чувствах ко мне. Мне это даже нравилось.

Он казался счастливым, по крайней мере, в продолжение первых месяцев после свадьбы. И только однажды, когда нашей Ольге было уже несколько месяцев от роду и мы теплой дружеской компанией сидели в доме его друзей в Висконсине, он сказал: «Ты вернула меня к жизни. Я был мертв все эти годы».

Я поразилась. Это было много больше того, что я когда-либо слышала. Больше, чем я могла желать.

* * *

Были, однако, и темные предчувствия — почти что с самого начала. Но я была так сильно влюблена, так хотелось мне иметь — наконец — покой, семью, дом, — что я закрывала глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать ничего подозрительного. Мне казалось, что все было истинным в этом быстром браке, что ничто не могло быть опасным… Представить себе в те дни, что и эта моя семья обречена, было просто невозможно. Я хотела быть счастливой, иметь свой дом и семью — и вот, все это было мне дано!

Через два или три дня после свадьбы миссис Райт позвала меня в свою комнату. Она выглядела серьезной и озабоченной. Я не знала, к чему приготовиться.

«Вэс всегда страдал от одной слабости, — начала она. — Он тратит деньги совершенно бездумно, следуя какому-то внутреннему побуждению, и мы все ничего не можем с этим поделать. Он всегда держит много кредитных карточек и покупает всем подарки. Его все любят, и он любим всеми. Он постоянно дарит всем драгоценности, предметы искусства, дорогую одежду, и, кажется, — он не может остановиться и не делать этого. Сейчас у него колоссальный долг, и, если он не выплатит его, ему придется объявить банкротство. Он продает свою ферму в Висконсине, которая ему очень дорога как память: его мать жила там, его дети и моя Светлана жили там многие годы. Мы не можем спасти его от долгов, так как это повторяется с ним опять и опять. Вам придется следить за ним, чтобы этого не повторилось! Моя Светлана всегда страдала от этого».

Меня удивило, что человек с его объемом работы и его положением находился в таком несчастье. Он выглядел всегда, как богатый человек, а Фонд Райта был известен как организация с большими средствами. Однако миссис Райт была тверда, когда продолжала: «Фонд Райта имеет свои собственные долги. Мы

выплачиваем небольшую зарплату нашим людям, но мы ведь предоставляем им все бесплатно: еду, жилье, автомобили, бензин, медицинскую помощь. Фонд платит за все это. Ни у кого здесь нет личного богатства — оно не нужно! Но Вэс тратит по кредитным карточкам. Он очень щедрый человек! — добавила она с нежностью. — Когда умер его отец, он оставил ему значительную сумму, и Вэс купил тогда для нас много земли вокруг Талиесина, в Висконсине. Вы увидите эти края летом — это необычайно красивый район. Вэс сделал это для нас, и мы всегда помогали ему, когда это было возможно. Но мы не можем продолжать это до бесконечности! Уроки прошлого его ничему не учат».

Итак, я выплатила его долги, потому что мы были теперь едины. Это было моим свадебным подарком ему. Я сделала это с радостью и с надеждой, что он никогда не пустится вновь в ненужные траты. Я также выкупила его ферму из долгов, потому что это был теперь маленький кусочек нашей общей, семейной собственности. Не какие-то там архитектурные причуды, а простой старомодный сельский дом среди лесов и полей. Не было такой силы на земле в те дни, которая остановила бы меня от помощи моему мужу и моему пасынку, молодому человеку 30-ти лет. Я стала на путь семейственности и хотела залечить все раны, полученные этой семьей раньше.

Вскоре после того как мы поженились, я попросила моих адвокатов в Нью-Йорке, в чьих руках были все деньги, перевести мой личный Фонд в Аризону. Благотворительный Фонд Аллилуевой оставался в Нью-Йорке. Адвокаты были возмущены и испуганы моим требованием. Но — любовь не знает полумер: я была целеустремлена на спасение своего мужа. Адвокаты согласились, и вклады были переведены из банка Бейч и К° Нью-Йорке в Вэлли-банк в Фениксе, Аризона. Мы немедленно же открыли объединенный счет.

Тем же летом, когда мы переехали в летнюю резиденцию Фонда Райта в Висконсине, я встретилась с моим пасынком. Профессионал-виолончелист, окончивший Джульярд-скул, он тем не менее желал стать фермером и уже начал заниматься фермерством, когда мы встретились. Я согласилась финансировать сельскохозяйственное дело — разведение мясного скота, — в котором мы все были бы партнерами, но деньги были только мои. Мы все были взволнованы новыми планами, и начали их осуществлять на нашей маленькой ферме этим же летом. Поскольку все мы ничего не понимали в сельском хозяйстве, я считала, что необходим был управляющий, и Роберт Грэйвс, местный старый друг Вэса, предлагал свои услуги. Но мои

мужчины — архитектор и музыкант — наотрез отказались от его услуг и заверили меня, что они сами во всем разберутся.

Я сделала все это из любви, не думая о возможных финансовых сложностях, надеясь утвердить нашу семейную базу на ферме. Жить круглый год в условиях коммуны Талиесина было бы трудно и странно для меня.

В Аризоне у нас была небольшая комната и огромная терраса, но не было кухни. Наше первое утро после свадьбы началось с завтрака в столовой Товарищества. Пить кофе в нашей комнате было бы нарушением правил, а Вэс решительно не желал менять свой стиль жизни после женитьбы. Какая разница по сравнению с уединением в коттедже для гостей! Там — как почетная гостья — я могла быть одна или делать все что мне вздумается, и даже готовить себе еду. Но теперь как жена главного архитектора я была обязана следовать за ним как тень. Однако Иованна и сама миссис Райт жили в своих отделенных от остальных квартирах, со всеми удобствами. У миссис Райт были свои комнаты, кухня, прачечная, изолированный внутренний дворик и бассейн. Обе они, мать и дочь, всегда могли уединиться там от взглядов бесчисленных посетителей, вечно бродивших по кампусу с фотоаппаратами и заглядывавших во все уголки.

Наша длинная, как вагон, терраса была покрыта красными и желтыми бугинвиллиями, а растение с ярко-красными ягодами (пироканта) скрашивало серость стен из камня крупной кладки. Архитекторы-садоводы Френсис и Стивен работали день и ночь, поддерживая необыкновенную красоту зеленых покровов этого оазиса в пустыне. И каждый член Товарищества должен был помогать в этом, поливая, пропалывая и подметая длинные аллеи и террасы. Я тоже в этом участвовала. Наша терраса была в стороне, но все равно туристы с фотоаппаратами неожиданно возникали у наших дверей. Уединение было невозможно до пяти часов вечера, когда все уходили. Тогда мы могли любоваться изумительными закатами, такими необыкновенными в пустынях.

В комнате у нас был небольшой письменный столик, книжные полки и громадная тахта. Стены были из грубого камня (такие же, как и снаружи), и однажды бледный скорпион упал с потолка прямо на мою подушку. Их было полно кругом, так же как и гремучих змей, любивших греться на ступеньках нашей террасы.

На другой большой террасе, смежной с нашей, каждый день подавали чай в 10 часов утра и в 4 часа вечера, для всех желающих. Это был небольшой «перерыв», чтобы архитекторы могли оторваться от своих досок. Я вскоре нашла, что обязательное присутствие на этих чаепитиях было для меня мучительно: разве не достаточно было того, что мы завтракали,

обедали, ужинали все вместе каждый день? Зачем еще этот чай? Но Вэс так привык к этому режиму за свои почти сорок лет в Талиесине, что не мог изменить его. Он безусловно предпочитал компанию своих коллег, чем общество новой жены. Изредка мы отправлялись вдвоем в ресторан в Скоттсдэйле, обычно в полинезийский «Трейдер Викс». Это было единственным шансом остаться вдвоем.

Контора Вэса находилась через стену от нашей комнаты, телефоны и стрекотание пишущей машинки всегда были слышны. Вне всякого сомнения, «работа и частная жизнь здесь переходят одно в другое», — как объяснил мне кто-то из адептов Товарищества. Быть среди других, видеть людей, неожиданно входящих в нашу комнату, было здесь в порядке вещей. Мне необходимо было собраться с мыслями, чтобы отвечать на письма, и постоянные посещения меня обескураживали. Но Вэс настаивал, чтобы я «была больше с людьми», и я взялась помогать в кухне, подавать еду в большой общей столовой, поливать деревья и цветы на кампусе. Меня хотели поставить подавать тот чай в «перерывах», но я отклонила это предложение. Достаточно было работать в кухне и столовой. Я считала, что я теперь все время «среди людей».

Вэс заметно переменился теперь. Он больше не выглядел таким печальным и одиноким, как в первый раз, когда я увидела его. Он обожал все эти пикники, коктейли и обеды, куда нас приглашали. Вечером он оставался в большой чертежной допоздна — как и все остальные: теперь им приходилось наверстывать упущенное время. «Воскресенье — лучший день для работы! — как говорили здесь. — Никто не мешает». Никто здесь не отдыхал по воскресеньям, никто не уезжал с семьей на уикэнд, как это обычно для американцев. Деловые звонки отовсюду звучали в нашей комнате посреди ночи и в любое время, особенно междугородные и международные. Даже в городском ресторане Вэса звали к телефону, и я оставалась сидеть одна с остывающей едой. Работа и единение с коллегами были для него существом жизни, почти что одержимостью. (Я знавала таких одержимых работой фанатиков в СССР, но не ожидала встретить их в Америке.)

Вэс настоял, чтобы я продала мой милый дом в Принстоне за наличные, «потому что деньги будут нужны». Дом с полным хозяйством мог бы служить прекрасной сдаваемой резиденцией для приезжавших в Принстон профессоров — это было бы правильным решением. Но для Вэса наличные деньги были более привлекательны, и я поехала в Принстон продавать дом.

Милый дом на улице Вильсона был моим убежищем.

После широкого освещения нашей свадьбы в печати — чем руководила сама миссис Райт, великий мастер «коммуникаций с публикой», — была уже очередь на покупку моего дома. Так что он ушел от меня без задержки…

Друзья в Принстоне поздравляли меня с моим браком, но некоторые высказывали беспокойство по поводу образа жизни в Товариществе. Было бы лучше, если б они высказали свои сомнения перед моей поездкой туда! Но я была в то время все еще в облаках счастья и не допускала те сомнения близко к своему уму и сердцу, просто отбрасывая подобные разговоры. Я продала дом и вернулась в Аризону, надеясь, что после всего, что я делала для Вэса, он возьмет, быть может, на себя помощь мне: мне нужна была его помощь в моих делах с издателями, адвокатами, налогами, Благотворительным фондом. Вэс был, в конце концов, бизнесмен, деловой человек и понимал все это куда лучше, чем я.

Он встретил меня в аэропорту с совершенно изменившимся лицом, и я не могла понять, что случилось. Миссис Райт тоже была холодна, — не такая, как вначале — и у нее теперь «не было времени», чтоб принять меня. Что-то произошло в мое отсутствие. Было похоже, что после самого радушного приема, оказанного мне вначале, у них всех теперь были какие-то иные соображения.

Через два-три месяца после нашей свадьбы, когда мы занимались выплачиванием всех старых долгов Вэса кредиторам, [9] мои адвокаты в Нью-Йорке получили официальное письмо от адвокатов, представлявших Фонд Райта, направленное в Благотворительный фонд Аллилуевой. Подобные письма с просьбой о дотациях мы получали в больших количествах, это было обычным. Однако Фонд Райта просил о дотации в 30 тысяч долларов ежегодно, — просьба, говорившая о неслыханной переоценке наших возможностей. Попечители ответили, что фонд Аллилуевой невелик и уже связан обязательствами с госпиталем в Индии, однако может дать около одной-двух тысяч Фонду Райта.

Когда я увидела копии этой переписки, меня поразило, что просят так много, и так скоро… Потом я вспомнила, как миссис Райт заметила мне однажды, в своей деловой манере: «…вы могли бы давать ежегодные дотации Фонду Райта и всегда наслаждаться приятной жизнью здесь, как один из наших благотворителей». Очевидно, что вместо того чтобы действовать, так, как мне было подсказано, и прежде всего заботиться о всем Товариществе, я бросилась вызволять моего мужа из его финансового краха.

Пораженная этим как громом — поистине сброшенная на

землю с моих облаков счастья — я, конечно, выложила все свои мысли Вэсу. Он выслушал, глубоко вздохнул и произнес слова, все значение которых я вполне поняла лишь позже: «Дорогая моя, миссис Райт тебя любит. Постарайся поддерживать дружеские отношения с ней. Потому что если ты этого не сумеешь, то нас ожидает трагедия».

Я только уставилась на него, так как совершенно не знала нравов этого Товарищества. Но он, после многих лет опыта, знал. И все, что происходило после этого и, в конце концов, привело наш брак к развалу, подтвердило его слова. И когда я сама поняла все особенности жизни в Товариществе Талиесин, я вполне осознала, что мне здесь было не место. Но в то время, летом 1970 года, я все еще наслаждалась моей новой семьей, любила мужа, дорожила каждой минутой нашей совместной жизни и не могла принять всерьез эти предупреждения.

* * *

Наша свадьба получила такое широкое освещение в печати, как будто мы были из королевской семьи. Фонд Райта надеялся, что таким образом о них вспомнят и увеличится приток клиентов фирмы «Объединенные архитекторы Талиесина». Число заказов, однако, падало. Фирма работала в то время, главным образом, в Иране, где заказчики — сестра шаха — хорошо платили. После того как улегся шум в прессе, я решила что вдовец с 25-летним стажем имеет право на небольшой «медовый месяц». Тогда вежливый, мягкий китаец-архитектор был послан ко мне с дипломатической миссией. Он объяснил мне — «непосвященной», новобрачной и глупой, что «Фирма находится в цейтноте со своими проектами». Мне оставалось только принять вещи такими, как они были, и сказать «прощай» недолгому отдыху вместе. Я же полагала, что работавший годами без отпусков и выходных дней Вэс заслужил такой отдых.

Мы смогли лишь уехать на несколько дней в Сан-Франциско, под предлогом визита к сестре Вэса, и она устроила нас в мотель в Соселито, на берегу прекрасного Сан-францисского залива… Это было чудесно. Мы бродили по берегу залива, заходили в местные лавочки и просто оставались в своей маленькой комнатке, читая газеты и слушая гудок «туманного сигнала» с ближайшего маяка. Но он звучал здесь не так, как тогда, на острове Монгихан… Или, может быть, это мне только казалось.

Поздно ночью междугородные деловые звонки находили Вэса и здесь. Как-то раз я взяла трубку и сказала: «Он спит, позвоните

в 9 часов утра». На другом конце провода кто-то задохнулся от удивления. Наутро Вэс был рассержен происшедшим и потребовал, чтобы я «не вмешивалась в работу». Он признался, что это был его образ жизни долгие годы, и просил: «Пожалуйста, не пытайся это изменить». Он старался изо всех сил продемонстрировать всем свою преданность делу и Товариществу, и что с женитьбой для него — ничего не изменилось.

Все свободное время — когда таковое случалось — он проводил в магазинах. Мы не посетили ни одного интересного памятника, музея, галереи, ни старых миссий в Сан-Франциско… Мы только носились из одного магазина в другой, всегда выходя с множеством покупок. Я никогда не видела, чтобы мужчина так же любил лавки, как это обожают женщины! Вэс часто выбирал платья для меня: он считал, что мой пуританский вкус в одежде должен быть забыт. Я же пыталась оставаться в своей «традиции незаметности». У нас был теперь общий счет в банке, и мы тратили с каким-то безумством, покупая одежду, драгоценности, обувь — не только для себя, но также и для других… Мне казалось, что мы скоро будем снова в тех же долгах, которые мы только что выплатили. Но привычки Вэса было невозможно преодолеть. Он любил жить, следуя годами установившемуся шаблону.

Его жажда к красивым вещам — вышивкам, резному камню, особенным ювелирным изделиям, необычайным вечерним платьям (которые его жена должна была носить) была какой-то детской, как будто ребенок вдруг очутился в игрушечном магазине своей мечты. Но зная, каким безденежьем страдали все в Товариществе, он также покупал платья для «девочек», часы для «мальчиков», не обходя никого. Может быть, он чувствовал тайную вину пред ними, оттого что он имел теперь все что хотел. Я не препятствовала этой его щедрости, хотя мне, выросшей среди весьма «мужественных мужчин», казалось странным такое увлечение тряпками и безделушками. Но это был новый для меня мир художников, кому нужна красота и гармония во всем окружающем. Это был совершенно незнакомый для меня образ жизни, а мне всегда нравилось узнавать новое.

Сестра Вэса — в противоположность ему холодная и весьма рассудочная женщина — приняла меня очень мило. Вместе со своим мужем, профессором С. И. Хайакава (тогда все еще ректором Сан-францисского университета) она приехала на нашу свадьбу, а теперь старалась сделать так, чтобы мы оба — а в особенности ее брат — могли бы отдохнуть немного. Она обожала брата, но видела реальность его странного отношения к деньгам,

которое она называла «внутренним принуждением»: «Это — проклятие на нем с юных лет. Мы все страдаем от него, вечно выплачивая его долги».

Она хотела, чтобы я поняла и не очень сердилась, она не порицала его так, как миссис Райт. Я понимала, что эта ответственность лежала на них всех, но все еще не была в состоянии охватить всей опасности для нашей семьи и верила, что дурную привычку можно изменить. Я не могла контролировать эту трудную область.

По сути дела, я даже наслаждалась тем, как Вэс выбирал и покупал мне одежду. Никто и никогда не делал этого для меня! В результате я подчинилась его вкусам и начала носить вечерние платья из парчи, шелка, блестевшие вышивкой, украшениями. Все это было сказкой для меня. Я бы считала все это — сумасшествием, если бы не видела вокруг себя в Талиесине так же ярко одетых женщин. «Ты должна выглядеть ослепительно!» — наставлял меня мой муж, и я только внутренне посмеивалась, воображая, как отнеслись бы к этому в Принстоне…

Обеды и коктейли в Талиесине всегда были хорошо поставленными спектаклями. Их режиссером была сама миссис Райт. Эти «спектакли» должны были произвести впечатление на богатых гостей, всех тех, кто или поддерживал Талиесин деньгами, или мог платить миллионы за уникальные резиденции, спроектированные здесь. Я выросла в мире, где дела ведет государство, а не частные лица; здесь же я училась на практике тому, как продать проект, идею, как сделать бизнес привлекательным в глазах потенциального клиента-покупателя. Как жена главного архитектора, я обязана была появляться рядом с ним в ослепительном виде, занимать гостей, болтать, улыбаться — не для забавы, а с целью привлечения клиентов к фирме моего мужа. Что-то во мне внутренне восставало против всей этой театральности, где мы все исходили сладостью перед богатыми гостями. Я бы предпочла, чтобы дела решались где-то в кабинетах и всерьез. Но протест был очень слаб. Мне хотелось быть частью жизни моего мужа, частью его дела, — принадлежать его жизни.

Однако миссис Райт с ее глазом коршуна не могла не заметить моей неловкости на этих сборищах и была недовольна. Еще одно разочарование для них всех: я не годилась «для сцены». И хотя гости стекались посмотреть на меня из любопытства, я не справлялась с той ролью, которую требует живая, веселая, бессмысленная болтовня американских коктейлей. Кроме того, я старалась ускользнуть от «важных» гостей и присоединиться к знакомым мне архитекторам, их женам и студентам. Мое же место было возле Вэса, а он всегда был только с теми, «кто

нужен».

Когда мы возвратились из нашей приятной, но короткой поездки в Сан-Франциско и Соселито, Талиесин готовился к ежегодному великому событию: празднованию 12-го июня дня рождения Фрэнка Л. Райта. Это был роскошный обед возле бассейна с двумястами гостей, где председательствовала вдова Райта. Через микрофон она объявила, что «мистер Райт здесь с нами, он слышит нас!» — и это было, как вызывание духов. Воцарилось молчание, и она произнесла, глядя на меня: «Кто хотел бы сказать что-либо о нашем Товариществе и его работе?» Я сидела не шевелясь и застыв. «Ну? — продолжала она, оглядывая всех присутствующих. — Кого дух подвигнет говорить?» Я молчала. И хотя я понимала, что от меня ждали слов похвалы и благодарности, я не могла делать это по указке и в обстановке театрализованного представления. Другая женщина поднялась и спасла положение своими восторженными словами в адрес Райта, его вдовы и всего Товарищества.

Эта дама, вдова всемирно известного стального магната из Окленда (Калифорния), посылала каждую субботу орхидеи миссис Райт. Теперь она взволнованно говорила о своем восхищении. Обед был спасен, а также была спасена супруга главного архитектора.

…Нас все еще продолжали приглашать на различные публичные выступления. На местном телевидении в Финиксе интервьюировавший нас репортер — который настаивал, что читал «все» мои книги, — спросил меня после окончания программы: «Скажите, вы все еще коммунистка?» — «Но вы ведь читали мои книги! — поразилась я. — Если это правда, то вы должны знать мою позицию». Я уже знала, что то, что пишут на Восточном берегу часто не доходит до Западного берега, а на Востоке о моем антикоммунизме писали прямо. Но ему бы следовало знать, что люди бегут именно от коммунизма, и этот, по-видимому, интеллигентный человек подозревает, что я «все еще» коммунистка? Меня это потрясло. На Восточном побережье хоть этого никто не подозревал.

Несколько лет спустя одна дама, часто приглашавшая меня, написала мне из Аризоны, что одна из ее приятельниц считала меня «коммунисткой» и говорила ей: «Она родилась коммунисткой, значит, всегда останется коммунисткой». Это был предрассудок, с которым я еще не встречалась в Америке.

Я бросилась к мужу за утешением, но оказалось, что он лишь «просмотрел бегло» мои книги, так как у него «не было времени». Значит, он женился на женщине, жизнь которой ему, по существу, совсем неизвестна — так же неизвестна, как всем остальным

вокруг… Однажды я возразила против платья, купленного им, украшенного блестками и мехом. «Это для какой-то принцессы!» На что он совершенно убежденно ответил: «Конечно! Ты и есть русская принцесса!» И сколько я ни пыталась отрицать эту глупость, он был убежден в своей правоте, упорствуя в своем американском предрассудке. А впрочем, ему было не до меня и моих огорчений. Он был поглощен окончанием двух больших проектов — резиденций для сестры шаха в Иране.

Каждый день приносил новое открытие о Товариществе Талиесина и его образе жизни. Архитекторам здесь платили микроскопическую зарплату, или не платили совсем… «Фонд Райта находится в финансовых трудностях», — объясняли мне. И это, казалось, было постоянным положением вещей тут. Объединенный доход Фонда предоставлял архитекторам «все что нужно» — это был доход от их работы, получаемый только Фондом, а не каждым членом Товарищества.

Индивидуального заработка здесь не существовало. Архитекторы работали без отдыха по воскресеньям, без ежегодного отпуска и — поистине — без праздников: так как в дни больших общенациональных праздников они должны были развлекать гостей, готовить еду на 200 человек, подавать ее, мыть посуду, играть в небольшом оркестре, танцевать перед публикой… И — не забывать свои чертежные доски в то же время! Я часто видела их сидевшими в чертежной до самого утра.

У Вэса не было отдыха в течение сорока лет, проведенных здесь.[10] Объяснение такого положения звучало так: поскольку сам Райт никогда не искал отдыха от работы, все члены Товарищества следовали его примеру. Но здесь были семьи и дети, молодые женатые пары, школьники, постоянно вертевшиеся у всех под ногами, так как не было места, куда они могли бы пойти — какой-нибудь библиотеки, детской площадки… Поэтому здесь не поощрялось иметь детей. Миссис Райт заявила как-то, что она «поощряет секс и выпивку, так как это стимулирует артистическую деятельность». Но она не поощряла семью и детей.

Миссис Райт находилась на верхней ступени здешней иерархии, — как создательница Товарищества совместно со своим мужем. Затем шел Совет попечителей, включавший ее дочь Иованну и других. Вэс был заместителем миссис Райт, вице-президентом Фонда Райта и Товарищества. Все эти люди собирались обсуждать дела, но по существу вдова принимала решения одна, или могла наложить «вето» на их решения. Ее окружал небольшой «внутренний круг» обожательниц и прислуги, включавший также ее личного доктора, и решения по существу принимались в этом кругу. Затем шли «рабочие лошади» — около

пятидесяти архитекторов с женами (часто художницами-оформителями) те, кто работал на доход. Группа обучавшихся здесь студентов подтверждала идею, что Талиесин — это Школа архитектуры, и студенты платили очень большие деньги за честь обучения здесь. Однако я нигде не замечала классов или аудиторий; «обучение» шло главным образом за чертежной доской, а студенты работали на кухне, в саду, приносили почту, выносили мусор… Они жили в пустыне в палатках, среди змей и скорпионов, и им не давали необходимой архитектурной подготовки. А некоторые из них были действительно талантливыми художниками. Многие были разочарованы и покинули Талиесин, как сделала молодая пара Фредерик и Александра, которую все звали Саша.

Им пришлось покинуть Талиесин, потому что миссис Райт «не одобрила» их брак и не разрешила его. Они ушли и работали вместе потом где-то в Аризоне. «Люди начинают думать больше о себе, когда поженятся», — говорила миссис Райт с укоризной. Безусловно, она подозревала теперь и Вэса в этом. Она ревновала «своих мужчин» к их женам, так как они должны были как работники принадлежать только ей — хозяйке всего дела. Ей нравилось обожание и лесть, особенно когда ей приносили цветы поутру. По воскресеньям она собирала всех в Большой гостиной и читала проповедь «О Боге и Человеке», об их труде, о Райте и его, несомненно, «божественно вдохновленном» искусстве. «Правда против мира» — так называлось Товарищество. Жизнь здесь была правдой на земле, — как утверждала миссис Райт. Самопровозглашенный духовный руководитель, жрица собственной религии, она не терпела, чтобы люди ходили в другие церкви по воскресеньям. Мы также должны были считать ее нашей матерью.

Последнее было невозможно для меня, так как мне был слишком дорог образ моей мамы: многие женщины пытались «заменить» мне ее, но, несмотря на их самые добрые намерения, я всегда отворачивалась от этого замещения. Здесь же было горячее желание самой миссис Райт, чтобы я приняла ее «как мать». Она настаивала на исповедях и говорила, что все в Талиесине приносят к ней на суд самые интимные подробности их личной жизни. Я отказалась это делать. Опять было разочарование, и она заметила: «Я никогда бы не подумала, что вы, по существу, такая обычная». С ее точки зрения, это был крупнейший недостаток. Для меня это было моим неоспоримым достоинством.

Конечно, во все эти первые месяцы я еще не знала, что Ольга Ивановна Милианова была ученицей Георгия Гурджиева, мистика и духовного гуру, что она провела годы своей молодости в его

Школе гармоничного человека во Франции. Учение Гурджиева было высмеяно в книге Романа Ландау «Бог — это мое приключение» (1937), где наряду с другими «современными мистиками» Гурджиев был описан как псевдопророк. Будучи однажды сам жертвой гипнотических способностей Гурджиева, Ландау осмеял претензии Гурджиева — армянина из России — на его контакты с Тибетскими учителями, от которых он якобы узнал ритуальные танцы Тибета. Ольгиванна (как ее переименовал мистер Райт) ввела в обязательный курс наук эти ритуальные танцы в Талиесине, преподавала их сама, а позже доверила своей дочери Иованне учить других. Только здесь «гармоничное» стало называться «органичным», используя терминологию Райта в его архитектуре: органичная архитектура, как он называл свой новый подход к «живому дому среди природы».

Товарищество Талиесина было организовано Ольгиванной в 1932 году по примеру Школы гармоничного человека Гурджиева, где она сама была одной из лучших учениц. Но только узкий круг ее обожателей знал о всех оккультных делах, в которые она была погружена.

Дело в том, что Райт сам никогда не был очарован Гурджиевым, приезжавшим в Талиесин несколько раз по приглашению Ольгиванны. Его «авторитет» мало что значил для Райта, как и вдохновение тибетскими танцами. Он просто разрешал своей молодой жене — так увлеченной созданием Товарищества — делать все по ее вкусу. Ему самому нужны были холмы, поля и долины этой полосы Висконсина — где он провел детство на ферме своего дядюшки, где жили его предки из Уэльса. В этом он находил свое вдохновение, в природе этих краев, в искусстве американских индейцев, в красоте и гармонии этого еще не разрушенного цивилизацией ландшафта. С такой же страстью он любил американский Запад, пустыню Аризоны, это были американские истоки его работы, его архитектурного новаторства. После его смерти, когда его имя почти что обожествлялось его учениками, Ольгиванне удавалось иногда убедить студентов, что «Райт и Гурджиев были вместе, как две руки». Но Вэс это всегда отрицал.

Бесконечные истории о том, что «сказал» или «сделал» мистер Райт, что ему «нравилось» или «не нравилось», были источником всех разговоров в Талиесине. Казалось, больше ни о чем здесь вообще не знали. Я часто думала: «Каков был он на самом деле?» Воспевание и обожествление человека было хорошо знакомо мне по «культу» Сталина, создаваемого в СССР его партийными приверженцами. Какая ирония, что в Америке мне пришлось увидеть все это вновь! В демократической Америке,

столь гордой своим рациональным отношением к человеку, его равенством.

Часто Вэс говорил, что «при жизни мистера Райта все было здесь иначе». Но на этом он останавливался и никогда не позволял себе критиковать вдову, которой он был предан, как рыцарь, как слуга. Но мне уже было известно (от других), что во времена Райта здесь было шумно, весело, маленькие дети бегали вокруг, а миссис Райт не могла в те времена идти наперекор своему мужу.

Ее главной обязанностью тогда было огромное натуральное хозяйство Товарищества, поставлявшее все овощи, фрукты и даже свое фруктовое вино. Теперь все это было забыто, продукты закупались оптом, и Талиесин был более музеем, местом поклонения, с портретами Райта в разных позах на каждом шагу, — как если бы он все еще был здесь.

Однако — его больше не было, и никто больше не делал великих архитектурных открытий. Старые чертежи Райта «перерабатывались» для создания проектов «в стиле Райта» — что он сам, неутомимый новатор и первооткрыватель, отверг бы с негодованием. Уникальный гений, он не мог «научить» своих учеников быть столь же дерзновенными, каким был он сам.

Правда, трое сыновей Райта от первого брака (у него было много детей) стали архитекторами. Но об этом в Талиесине не упоминалось, как будто существовала лишь одна его дочь — Иованна. Я узнала впоследствии, что война между первыми детьми Райта и Ольгиванной началась из-за завещания, в котором Райт оставил все ей и Товариществу, — как будто никого более не существовало. Эти факты просочились в книги и биографии Райта (например, в написанную в 1973 году Робертом Тумбли). Но миссис Райт также написала ряд книг о Райте и о Товариществе, где она отстаивала свое право и место рядом с ним, и даже говорила о себе, как о его «вдохновительнице». После смерти Райта Товариществу пришлось выплатить налоги за многие годы, которые Райт отказывался платить. Он «не признавал» подоходный налог… Только с помощью продажи огромных коллекций восточного искусства, которые Райт оставил вдове, удалось выплатить долги и тем сохранить самое существование Товарищества.

Теперь же вдова возглавляла буквально все здесь, и не без основания. У миссис Райт безусловно были большие способности вести бизнес, находить клиентов, организовывать рекламу и вести счет деньгам. У нее была трезвая голова и циничный взгляд на жизнь. Она вносила поправки даже в архитектурные проекты, модифицируя их, и ее бывший зять, Вэс Питере, безоговорочно

принимал ее суждения. Райт, должно быть, переворачивался в гробу. Вэс всегда сидел молча, как камень (Питер, Петр и есть «камень»), за красным полированным столом, слушая миссис Райт, как она с высокомерием вещала прописные истины своему «детскому саду». Казалось, что его это совсем не касалось. Это была защитная реакция, выработанная годами. «Я не позволяю курить на нашей территории!» — произносила она низким голосом в своей медленной, многозначительной манере, если гость за столом в рассеянности вынимал сигарету. Никто здесь, на самом деле, не курил (исключая одну приближенную даму, которой было можно все).

Миссис Райт испытывала глубокий страх к огню, к горящим каминам, к незатушенным сигаретам: Талиесин пережил несколько больших пожаров в прошлом. Студенты в рубашках с оборками стояли за стульями, прислуживая, а после обеда ее любимцам разрешалось проводить ее в спальню. Все внимали каждому ее слову в молчании. Старые шутки Райта повторялись изо дня в день, и все с готовностью вновь и вновь смеялись. Все это было, как в театре, и многие гости высмеивали Ольгу Ивановну, находясь, правда, уже на далеком расстоянии от нее. Но в ее присутствии и они только кивали. После трех лет в Америке, уже привыкшая к беззаботности, веселости, ненапряженности поведения вокруг меня, я удивлялась: где я нахожусь? Все, что напоминало мне хотя бы отдаленно или намеком мою советую Россию — с ее контролем, запретами и всеобщей угнетенностью, — даже тень подобных взаимоотношений, вызывало у меня в лучшем случае — смех; а в худшем случае — депрессию. Я говорила об этом мужу, но он, казалось, даже не слышал меня. Он был слишком занят проектом второй виллы для принцессы Шамс Пехлеви. Тогда я просто уходила в нашу комнату и сидела там, пока не наступала пора переодеться и выйти к гостям.

Любимым отдыхом для Вэса были многолюдные коктейли у местных богачей. Он знался только с богачами, и только их приглашали в Талиесин. Никаких бедных артистов. Никаких застенчивых интеллектуалов. Только те, кто имел деньги, а потому и власть, были представлены здесь. «Зачем меня так зазывали сюда? — часто думала я. — Для чего я была нужна им? Для чего я была нужна ему?»

Иногда мы выходили вместе в ресторан. И — странно — нам не о чем было говорить! Он знал так мало, хотя бывал не раз в Европе и Азии. Ему было неинтересно сравнивать разные страны и культуры. К Индии он был совсем равнодушен: «бедная страна, неинтересное искусство». Все, что так занимало меня, было ему

чуждо. Иногда меня поражало его безразличие к моим знаниям и опыту, к моему мнению, просто к событиям моей жизни, столь отличной от его… «Каким он был со своей первой Светланой? — иногда думала я. — О, нет, она ведь была частью Товарищества, ее родители — создали его, ее отчимом был сам Фрэнк Л. Райт. Тогда было все иначе, наверное… Так, зачем все эти люди зазывали меня сюда?» Я была все еще влюблена и не могла дать прямой ответ: из-за денег.

* * *

Летом 1970 года мы совершили чудную поездку на «кадиллаке» (собственность Фонда Райта) через горную часть Аризоны, к Скалистым Горам, потом через Колорадо, Юту, Канзас и прибыли в изумрудные равнины Висконсина.

Все Товарищество переезжало таким же образом каждое лето, возвращаясь в Аризону поздно осенью, следуя образцу, установленному Райтом десятилетия тому назад. Это был отдых архитекторов и их семей, но все было организовано сверху. Миссис Райт сама решала, кто, когда и с кем едет; затем, намеченным ею людям просто говорили — когда выезжать. Недели или десяти дней было достаточно для «отдыха» такого рода. Другую неделю они проведут в дороге осенью, возвращаясь в Аризону. Так проходило в Талиесине каждое лето, без изменений.

Для меня это была возможность посмотреть страну, — именно так, как я всегда этого хотела. Безусловно, деловые телефонные звонки преследовали нас и по дороге, в мотелях, в гостиницах, где мы останавливались. Заботы и беспокойства о подрядчиках, строителях, проектах.[11] Много времени также было проведено в телефонных будках по дороге. Но когда я вела машину, Вэс отдыхал, пел смешные куплеты, декламировал шуточные стихи или просто дремал. Он, казалось, снова стал, как прежде, приятным и теплым. Вдали от своей хозяйки и ее неотступного ока он преображался. Как отличный гид, он рассказывал мне о местах, где мы проезжали, и история Америки оживала. Он проделал эту дорогу столько раз, каждый год — вот почти уже сорок лет… Вэс в самом деле хотел, чтобы я узнала больше и полюбила бы эти прекрасные края. Даты, имена, события сыпались, как водопад. Ландшафты Скалистых Гор, Большого Каньона, Долины Памятников и необъятных равнин были прекрасны и величественны. Эта поездка на Восток, и позже — возвращение (через Нью-Мексико) были полны незабываемых

впечатлений.

Когда мы наконец въехали в зеленый полнокровный сельский Висконсин, Вэс стал даже лиричен. Он любил эти места более всего — потому что сам Райт любил их: это была его родина. Здесь он построил в 1911 году обширное поместье и назвал его «Талиесин», взяв имя средневекового валлийского барда. Дом был резиденцией Райта и жены его клиента — миссис Чинней, которая сбежала к нему… Они были счастливы здесь несколько лет, до того страшного дня, когда сошедший с ума повар-негр поджег дом. Стоя у двери с топором в руках, он уложил всех, кто пытался спастись… Райт был в Чикаго в тот день и, возвратясь, нашел смерть и разрушение…

Эта история, случившаяся в 1914 году, была часто повторяема в Талиесине в наше время. Райт очень любил миссис Чинней, которой так и не удалось получить развода. Она похоронена на маленьком семейном кладбище семьи Ллойд-Джонсов, где позже был похоронен и сам Райт. Но мы никогда не слышали ничего о его первой жене Кэтрин, матери его шести детей; номер три — Мириам Ноель — также не упоминалась.

Мы должны были верить, что Райт поистине был счастлив только с Ольгиванной и что только с ней расцвел его артистический гений. Эта тема повторялась во всех книгах, написанных ею, хотя это было настоящим переделыванием истории искусства. На самом деле, они встретились, когда Райту было почти шестьдесят и он уже создал все свои новаторские приемы и идеи и был признанным лидером в области архитектуры, в то время как Ольгиванне было лишь около тридцати лет. Но она хотела утвердить именно такую мысль, и это переделывание уже известной истории, эта подтасовка фактов напоминали мне опять такие же попытки в исторической науке в СССР. Выбрасывание имен и фактов, изменение хронологии, прибавление всего чего угодно… Сходство с диктаторскими путями советской России преследовало меня здесь беспрестанно, и я спрашивала себя опять: «Почему я попала в это странное место?.. В этот примитивный коммунизм под диктатором!» Какое блаженство было жить в Принстоне, вольно и свободно.

Но мне не хотелось позволить этим вопросам изменить мое решение концентрироваться на приятных вещах, обходить стороной неприятные и наслаждаться личными отношениями и семьей.

В это лето я наблюдала в Висконсине важное местное событие: семейный сбор всех Ллойд-Джонсов, — родни Райта по материнской линии, — этого большого клана переселенцев из Уэльса. Раз в несколько лет около двухсот родичей съезжалось

сюда, заполняя все, как волны прилива. Маленькая часовня Унитарианской церкви открывала свои, обычно запертые, двери, ее украшали свежей зеленью и служили службу. Никому из них не было никакого дела до Гурджиева и его тибетских танцев.

Я быстро просмотрела книгу любимой кузины Райта Магинэль Ллойд-Джонс, озаглавленную «Долина Могучих Джонсов». Это был красочный рассказ о том, как ее предки колонизовали эту прекрасную долину. Мы были здесь. Вот она, раскинулась вокруг, зеленая и благодатная, с фермами, лугами и стадами. Это была Америка в ее наилучшем воплощении, и не было никаких сомнений, что именно здесь сложился Великий архитектор. В своей автобиографии он описал с нежнейшей любовью эти холмы, поля, маленькую ферму своего дядюшки, где он работал мальчиком. (Эту ферму позже купил Вэс, и теперь она была наша.) Автобиография художника, в которой сухие стебли сорняков на заснеженных зимних полях описаны с напряженной любовью. Но где, страницей позже, собственные дети названы «визжащими поросятами с мокрыми носами», надоедливой помехой. (Я бросила читать на этом месте, потому что мужчины, безразличные к своим детям, мне отвратительны.)

Итак, Ллойд-Джонсы были здесь, включая многих прямых потомков Райта. Миссис Райт поблекла и притихла среди них, но должна была тем не менее принимать их в Талиесине. Она выглядела раздраженной и не скрывала своей радости, когда семейный сбор закончился и весь многолюдный клан разъехался по домам.

* * *

Лето в Висконсине было жарким и влажным, но сентябрь — прохладным и чудесным. Это самое лучшее время для здешних долин. Все вдруг становится ясным, чистым, каждая травинка, каждый дикий цветок. Я гуляла среди рощ, вдыхала ароматный воздух и чувствовала себя молодой, каждым нервом в гармонии с этими небесами этими взбитыми облаками, этими старыми шелестящими деревьями. …Когда-то, многие годы тому назад, я чувствовала себя вот так же, и тогда я знала почему. Но теперь — разве могло это случиться теперь?..

После нескольких недель внутреннего покоя и счастья местный врач подтвердил невозможное: я ожидала ребенка. Это был сюрприз, на который я совсем не рассчитывала. Как будто Господь компенсировал мне разлуку с сыном и дочерью в России… Я ходила, как по воздуху, так легко, с таким чудесным

чувством мира в душе. Вэс тоже был удивлен и радостен, когда узнал новость, и немедленно пошел рассказать об этом своей бывшей теще, от которой он ничего не утаивал. Он возвратился от нее, переменившись в лице. Мне он ничего не сказал, но я почувствовала, что вся его радость исчезла.

Что-то странное происходило вокруг. Из намеков и разговоров я знала, что после того как Райт умер в 1959 году, в Талиесине решили больше не рожать детей. Одной только Иованне разрешено было иметь дочь, которой теперь было 12 лет. Но не было никого моложе этой девочки. Это было как-то связано с оккультными теориями, которые практиковала миссис Райт и ее окружение; она была в постоянных контактах с умершими. Без сомнения, мы грубо нарушили ее правила.

«Разве ты не собираешься что-либо делать с этим?» — робко спросил меня как-то Вэс. «Конечно, нет!» — ответила я. Самая мысль показалась мне ужасной: жизнь, судьба дарят мне этого ребенка взамен тех, старших, быть может, потерянных навсегда… Как же можно отказаться от такого дара? Как можно было не оценить его в нашем возрасте — мне было 44, моему мужу 58 лет? Диктаторы вечно вмешиваются в личную жизнь других!

Такова натура диктаторов на всем земном шаре. Кажется, мне никак не избежать этого. …Что за рок!

Мой отрицательный ответ был доложен начальству, и последовала буря. Миссис Райт не стала говорить прямо со мною, но предприняла более сильный ход. Ошибочно считая (как это делали и многие другие) посла Джорджа Кеннана и его супругу моими «американскими крестными родителями», она обратилась к ним. Однако, давая мне советы в различных практических решениях, Кеннаны совершенно не вмешивались в мою личную жизнь. Но на этот раз им было предложено срочно вмешаться и отговорить меня «от этой глупости». Миссис Райт держала посла у телефона весьма долго, и он — воспитанный, вежливый дипломат, — корчась под ударами ее английской речи с сильным акцентом, пытался объясниться с нею и заставить ее увидеть «и другую сторону вопроса». Но она была беспрекословна и грозила сама приехать к нему в Принстон, чтобы наконец «объяснить все». В отчаянии, он махал рукой своей жене, и она, взяв трубку параллельного телефона, прокричала, что «кто-то пришел срочно повидать Кеннана». Таким образом, он был спасен. Кеннаны рассказали мне позже об этом происшествии, которое их совершенно поразило: они мало представляли себе до той поры мою жизнь в Талиесине.

Разговоры прекратились, все шло своим чередом. Но мне становилось все более не по себе, когда я думала о будущем. Как

буду я жить здесь, среди подобных нравов. Что будет с моим ребенком, столь нежеланным здесь? Мне думалось, что ребенок укрепит нашу семью, как ничто более. Хотелось думать положительно о всех возможностях. Но становилось страшновато от неограниченной власти женщины, пригласившей меня сюда, и теперь горько во мне разочарованной, раздраженной самим моим присутствием в ее маленьком королевстве.

Тем временем Вэс и я поехали на машине назад в Аризону. Теперь Вэс вел машину сам и не так быстро, как он обычно привык. Была поздняя осень, ноябрь. По дороге мы остановились в Чикаго, где ледяной ветер почти сбивал с ног. Еле дошли до дверей гостиницы! Мы ехали через штаты Иллинойс и Миссури, Канзас и Нью-Мексико, где посмотрели искусство местных Пуэбло в Таосе. Я узнавала так много об Америке, просто путешествуя с Вэсом в машине! Он был прекрасным компаньоном, заинтересованным, показывавшим и рассказывавшим мне все, что он знал об этих местах. И опять вдали от Талиесина он становился легким и милым, болтливым и шутливым, готовым развлекать меня и быть внимательным: словом, самим собою.

Талиесин замораживал его, лишал его речи и, казалось, мысли. Его обязанности и ответственность были велики, но прав — не было никаких. Боялся ли он грозную вдову? Была ли какая-то тайна между ними двумя? Почему эта старая маленькая женщина с пергаментным лицом держала в страхе шестифутового великана? Я не знала ответов. Он молчал. Но разница в его поведении была колоссальной. Такая же разница была заметна и в поведении других здесь: присутствие вдовы парализовало всех. Сейчас все были спокойнее и веселее, так как миссис Райт уехала в Европу в окружении своих ближайших «фрейлин», личного доктора и черного датского дога, повсюду путешествовавшего с нею в специальной клетке.

В эту прекрасную позднюю осень, проезжая через необъятные просторы, мы встретили День Благодарения в дороге. Жаль было находиться не дома среди друзей, — праздник Благодарения такой теплый и веселый в Америке! Американцы всегда остаются дома в этот день и собирают всю семью за столом. Наше расписание поездки было выбрано в соответствии с интересами работы, Вэс отправлялся в дорогу тогда, когда это было удобно для всех. Мы думали теперь об обеде Благодарения в Талиесине в Аризоне, в то время, как машина катилась по шоссе. К тому часу, когда все садятся за стол и принимаются за индюшку, мы въезжали в небольшой город Спрингфилд в Иллинойсе, где улицы были пустынны…

«Святой Николай», — прочла я вслух большую надпись на

высоком здании. «О, это знаменитый отель, где останавливался Линкольн — „Сент Николас“! — сказал Вэс. — Давай остановимся, и, может быть, мы найдем здесь хороший бутерброд».

Мы остановились и вошли в большой зал отеля, где нас — как и всех других — встретили приветливые дамы из местной церкви, и пригласили нас присоединиться к обеду, который отель давал для своих гостей, а также для всех путешествовавших в этот праздничный день. Пиршество со всеми яствами, обычными для этого дня, — индюшками, тыквенными пирогами, овощами, салатами, уже было в полном разгаре. Мы не могли поверить своим глазам! Как прекрасна была эта американская щедрость, простота их протестантского прагматического христианства, обращенного к людям! Нас усадили за стол со свежей скатертью, с цветами, нас окружили улыбками и теплом. Это был наш лучший День Благодарения, проведенный вместе. И лучший для меня, насколько я могла вспомнить потом через много лет. Святой Николай, чудотворец и помощник в беде, не оставил нас в тот день.

Штат Нью-Мексико тоже был полон интересных, незабываемых впечатлений. Мы побывали в музеях искусства индейцев, в доме Д. Лоуренса, любовались испанскими барочными старыми церквями в городе… Здесь мы также закупали рождественские подарки всем в Талиесине, всяческие изделия искусства, дорогие платья и украшения. Вэс выбрал прекрасные, свободного покроя платья для меня, украшенные вышивками, блестками и стеклярусом, и я вдруг вспомнила, как ожидала ребенка впервые, еще восемнадцати лет и в дни войны… То были мрачные дни в России, 1944 год, затемнение в Москве, в магазинах — ничего. Трудно было найти, из чего сделать пеленки… Мы были молодые студенты университета, мой муж всего четырьмя годами меня старше. Как счастливы мы были, ожидая нашего ребенка, как много времени проводили над книгами, как далеки были наши мысли от всех этих роскошных и ненужных драгоценностей, мехов, подарков, обедов напоказ, и от денег. Мы были молодые, влюбленные, и не помышляли о суете земной. Зачем мне все это?..

Но я прогоняла всякую мысль, подвергавшую сомнению мое настоящее, и пыталась вернуться на «колею», которая подготовит меня к нашим следующим праздникам. Рождество настанет вскоре, как мы возвратимся в Аризону. Мы уже плавно катились по шоссе через пустыни и следили за каменистым ландшафтом, поспорив, кто первым заметит высокий кактус-савоара. Это добрый знак, если увидишь его первым.

* * *

Последовали Рождественские праздники. А за ними вскоре пришла и Пасха, — моя вторая в Талиесине. Какая разница во всем! Как радостно меня встречали тогда, и какую неловкость все испытывали теперь по поводу нашего ребенка, ожидаемого в конце мая!

Вэс решил увеличить площадь нашей квартирки-студии, покрыв крышей длинную, как вагон, террасу. Я надеялась, что это подходящий момент попросить его о маленькой кухоньке и ванне, необходимых впоследствии для ребенка. Я также думала о возможности поместить где-то стиральную машину… Но архитекторы — беспощадные следователи стилю и собственным схемам. Пространство террасы — мне было сказано — нельзя делить (я просила маленькую комнатку для ребенка); оно должно оставаться, таким как есть. Ванна «не нужна», поскольку имеется душевая кабина. А встроенная кухонька была разрешена: ее засунули за дверь, так, чтобы можно было совсем скрыть ее из виду, когда не нужно. Только бы не нарушить основной и первоначальный план!

Но я выиграла свою чашку кофе по утрам и возможность готовить пищу ребенку. Однако, поскольку это доллары были уплачены за «переоборудование», считала, что имела некоторые основания просить то, что было нужно для семьи. Однако Вэс заявил, что «архитекторы сами знают, как делать переоборудование». Невозможно было поверить, как упрям и холоден он стал снова, как глух к моим нуждам, как раздражен всяким моим словом. И абсолютно безразличен к мыслям о будущем ребенке.

Поэтому неудивительно, что я восприняла с облегчением и радостью приглашение его сестры миссис Хайакава провести последний месяц в ее доме и рожать в Калифорнии. Она также предложила мне остаться после родов там на некоторое время, так как ей хорошо были известны порядки в Талиесине, где мне вообще никто бы не помогал, если понадобится. Я уехала с великой радостью и с согласия мужа; по всей вероятности, он хотел, чтобы мы ему не мешали. Я не знаю, устроил ли он сам это «приглашение» к своей сестре…

Даже врач, наблюдавший меня в Скоттсдэйле, и кому, по всем правилам, полагалось принимать моего ребенка, сказал, что он понимает обстановку. «Это — сумасшедший дом!» — сказал он. Несколько лет назад его приглашали туда принимать дочку Иованны, потому что Ольгиванна хотела, чтобы ребенок родился в Талиесине. «Она меня пыталась заставить делать все так, как

она хотела. Но я не принимаю роды на дому — ни для кого. Это вне моих правил. Тогда она стала нажимать на меня, и я просто извинился и отбыл. Эта дама объясняла мне, в чем состоит моя профессия!» После рассказов в таком духе я, не теряя времени, села в самолет и улетела в Калифорнию.

Наша Ольга Питерс родилась в небольшом местном госпитале в Сан-Рафаэле, в прекрасном маленьком городке, основанном францисканцами в XVIII веке. Все было легко и счастливо, ребенок был здоровый и сильный, и единственное, что огорчило меня, это отсутствие Вэса, которого мы не могли разыскать, когда нужно было ехать в госпиталь… Профессор Хайакава сам отвез меня туда.

Нам не удалось избежать глупых, назойливых публикаций, и это тоже было досадной ложкой дегтя в большой, сладкой бочке меда. Отношение к прессе в семействе Хайакава было таковым, что «лучше дать им то, что они хотят, чем убегать от них». Поэтому меня вовсе не защищали тут от прессы, а скорее «подали» ей, как на блюде. А когда дочка родилась, Вэс, всегда обожавший «паблисити», привел в госпиталь целую бригаду с телевидения, — совершенно разозлив этим доктора, а также и меня. Но он сам так наслаждался! «Кто-то остановил меня на улице и поздравил с новорожденной!» — говорил он в восхищении, и с гордостью, как это говорят молодые отцы первого ребенка… Он был рад, и это была искренняя радость.

Пресса принесла множество писем с комментариями, большинство было поздравительных и теплых. Меня всегда поражает эта способность американцев отзываться на любое внешнее событие с таким глубоко личным интересом! Но, конечно, мы не избежали и злобных политических писем от русских эмигрантов. А какие-то ханжи (неподписанная анонимка) даже написали так: «Как это ужасно — в вашем-то возрасте!»

Хорошо было оставаться, хотя бы временно, в доме Хайакавы, наслаждаться нормальной семейной жизнью, которая здесь была крепка, стабильна, и продолжалась многие годы. Мне показывали старые семейные фотографии Питерсов, бабушек и дедушек. Один из них был инженером в дни Гражданской войны в Северной Америке и оставил множество уникальных фотографий с поля битв. Миссис Фредерик Питере (мать Вэса) пыталась до конца своих дней — она умерла за восемьдесят — вытащить своего сына из коммуны Райта — но, конечно, она не смогла этого добиться. Его связь с Товариществоибыла какой-то слепой, средневековой преданностью вассала своему сюзерену. Его сестра часто говорила, что Вэс «вырос, читая сказки о дворе короля Артура», и что Райт был для него воплощением этого идеала: «он

нашел своего короля».

Сестра объясняла мне, что Вэс не мог (или не хотел) видеть Товарищество, каким оно на самом деле было, не желал признавать, что он сам не получал по своему труду, проработав около сорока лет, как преданный фанатик. Не желал видеть, как несправедливо там эксплуатировали всех архитекторов, работавших фактически бесплатно. При жизни Райта этого не было: Мастер очень дорожил своими коллегами и сотрудниками и относился к ним тепло и внимательно.

Когда Мастер умер, Вэс сам вел грузовик с его телом весь путь из Аризоны в Спринг-Грин в Висконсине, чтобы похоронить его на маленьком кладбище возле часовни Ллойд-Джонсов — как Райт желал этого, вблизи всех дорогих ему мест детства. Вэс получил тогда в дар черно-белый шарф Райта и дорожил этой реликвией так, как будто скипетр короля был передан ему… При всей этой преданности и обожествлении, конечно, не оставалось места для нормального, рационального взгляда. Чувства были накалены, критика отвергалась как «оскорбление», и горе тому, кто сомневался в необходимости всей этой игры для взрослых.

«Вы должны понять, что он никогда не оставит Талиесина, — говорила мне его сестра, — слишком много сил было вложено, он весь там. Я не могу даже говорить об этом. Вам должно быть ужасно трудно там жить! Но мы всегда симпатизируем вам во всем».

Профессор Хайакава был более прям в высказываниях насчет Гурджиева и «его ерунды», насчет всего этого «псевдовостока» и тибетских танцев, которым обучали архитекторов. Он высмеивал все это потому, что в этом не было серьезного изучения культуры Востока — Китая, Японии, Тибета — а только лишь увлечение «мистической стороной». Хайакава же был серьезным ученым-семантиком с мировым именем и не признавал поверхностного подхода к фактам. И мы все понимали, что Вэс будет продолжать в том же духе и никогда не изменит своих сложившихся привычек. Итак, это было теперь моей задачей — с новорожденной девочкой на руках — приспосабливаться к его жизни, соглашаться, идти в ногу, и, возможно, изменить всю мою натуру, для того чтобы сохранить семью.

* * *

После двух месяцев в доме Хайакава в Милл-Валли около Сан-Франциско настало время отправляться «домой», в Талиесин. Вэс приехал за нами, мы должны были лететь в Висконсин, на

летние квартиры Товарищества. Миссис Райт позвонила сказать, что она распорядилась о дополнительной комнате для ребенка — о чем я ее не просила. Но она хотела загладить неприятные моменты. Это она умела делать.

Так хорошо было жить — хоть недолго — в нормальной обстановке в семье моей золовки! Мы все проводили многие часы в их кухне, так как хозяйка была отличным поваром. Профессор Хайакава приносил свежую рыбу, он любил удить на заливе, и сестра Вэса готовила ее по-китайски или по-японски, с зеленью. Так как она собирала кулинарные рецепты разных стран, я показала ей грузинскую чихиртму, чанахи и пхали (суп из курицы с белым соусом из желтков, разведенных уксусом; тушеную баранину с овощами; холодную закуску из зеленой фасоли с протертыми орехами, чесноком и приправами). Американцы наивно верят, что весь СССР ест только борщ и пирожки, иногда пельмени! Мардж была очень рада узнать, как много различных национальных блюд я знала, и записала многие рецепты. Это теплоевремя в ее обширной, элегантной кухне было для меня настоящим праздником: скоро мы возвращались в нашу коммунальную столовую…

Наконец, мы были в Висконсине, чтобы остаться нацелых три месяца среди зеленых долин и холмов — такая приятная перемена после сухости и строгости в Калифорнии. Стоял июнь, месяц диких цветов и трав, еще не тяжкой жары. Все могло бы быть так чудно в этом прекрасном краю!.. Мой пасынок тем временем был погружен с головой в дела нашей фермы. Он установил силосную башню, отремонтировал большой амбар, нанял семейство работников для помощи и закупил огромное стадо коров с быком-медалистом из Колорадо.

Он осуществлял мечту своей жизни — фермерство. Виолончель давно уже пылилась, запертая в шкафу. Ирландский волкодав был также здесь — любимая порода собак отца и сына. Они оба восстанавливали вокруг (сознательно или нет) былые, счастливые дни жизни на ферме с другой Светланой… Я знала, что это — опасная игра, но не препятствовала, а даже содействовала.

На маленькой террасе дома, с Ольгой на руках, с собакой возле меня, я сидела и смотрела, как зачарованная, на возвращавшийся домой скот, освещенный лучами вечернего солнца. Позванивали колокольчики коров, долина была залита мягким светом, мир стоял вокруг. Станет ли все это моим домом и будущим домом моей дочери? Так хорошо было качаться в старом кресле-качалке. Отец и сын ушли смотреть, как идут дела. Нам срочно необходим был управляющий, но мой пасынок желал

один заправлять большим делом, никого не подпускать к нему. Пусть делают как хотят, моего мнения никто не спрашивал: я только платила за все, как банкир. Мне не хотелось затевать споры, настаивать на управляющем, нарушать мир.

Это была их ферма много лет. Вэс купил ее давно, начале 30-х годов, чтобы сохранить реликвию: старая ферма дядюшки Дженкина Джонса, где работал Райт в детстве, не должна была перейти в чьи-то «чужие» руки. Вэс назвал ее «Альдебаран» (что значит «следующий за…»), и под этим названием она известна в округе с тех пор. Это он сам следовал за Мастером, в этом была его сущность. Как хорошо, что я отстояла ферму и выкупила ее для, для нас всех. Отец и сын выглядели счастливыми, совещались с работником, потом пошлисмотреть силос, потом навес для скота.

Я мягко качалась с засыпавшим ребенком на коленях. Долина золотилась, позвякивали колокольчики. Я просила, чтобы «прекрасное мгновение остановилось»…

* * *

Тем временем Талиесин продолжал свою обычную жизнь, полную встреч, пикников на пруду с плавающими фонариками, с развлечением важных гостей, лихорадочными поисками новых клиентов, покровителей, новых денежных дотаций.

Я должна была быть рядом с мужем во всех этих сборищах, улыбаясь «потенциальным» патронам, хотя мне больше всего хотелось быть с моей новорожденной девочкой. Пришлось найти «бебиситтеров», с которыми можно было бы оставить малышку, когда я уходила. Я кормила ребенка грудью, как советуют все современные врачи, но здесь это вызывало смех среди бездетных дам. «Никто не делает этого в наши дни! Дайте ей смесь в бутылке!» — говорили мне. Эти дамы просто не знали ничего о детях, о новых стремлениях ко всему «натуральному», о движении назад к природе. Здесь все было так театрализовано, что вид кормящей матери передергивал их.

Наши бебиситтеры, которых приходилось звать каждый день, были молодая девушка Памела, а другая — разведенная мать четырех детей — Лиз; обе местные жительницы. В Талиесине они считались «посторонними», и миссис Райт настаивала, чтобы я пользовалась услугами «своих». Но зная, как все здесь заняты бесконечными обязанностями, я и подумать не могла просить их; а кроме того, я радовалась всякой возможности общаться с «внешним миром», с нормальными, дружелюбными людьми. Я

мало кого видела здесь теперь, талиесинскиеженщины не интересовались мною больше. Только молодые студенты заходили иногда поиграть и поулыбаться ребенку: небольшое развлечение для них.

Жена нашего работника на ферме Марион Портер была очень добра ко мне. Они снимали коттедж возле фермы, и я часто заходила к ней, садилась в старое кресло и кормила девочку. Здесь надо мной не смеялись. Марион была моего возраста, у нее были свои дети, с ней было так хорошо! Она готовила еду для всех, и ее полная фигура напоминала мне незабвенную няню из моего детства. «Переезжайте жить на ферму! — говорила Марион. Я буду помогать вам. Вы будете здесь дома!»

Да, почему бы и нет? Это был теперь мой дом, не только по закону, но и потому, что я выкупила его и оплачивала теперь каждое новое усовершенствование, каждый забор, каждую корову. Я сделала все это возможным для моего пасынка и моего мужа. Но они не хотели, чтобы я жила здесь. Мой пасынок требовал «приватности» для себя, к нему приезжала из города знакомая девушка. Моему мужу не нравилось, что я «вмешивалась в дела фермы». Он требовал, чтобы я была там, где был он, хотя я мало его видела там, вечно занятого с другими. Меня глубоко обидело отношение их обоих ко мне, к ребенку, в то время как я делала все, чтобы угодить им. Я чувствовала, что девочка была моим единственным утешением, и старалась проводить с ней как можно больше времени. Ольга была такой здоровенькой, такой веселой, спокойной девочкой!

Однако Вэс настаивал, чтобы я «нашла какие-то возможности участвовать в жизни Товарищества». Он снова отдалился от меня, говорить с ним о моих чувствах и нуждах было бесполезно. Очевидно было, что ему хотелось видеть меня «в роли» его первой Светланы. Она была скрипачка, всегда играла на субботних официальных приемах в их трио или квартетах. Ее родители и ее дом были здесь. Когда я пыталась заметить, что невозможно стать другим человеком, «играть роль» другой женщины, он молчал. Он был разочарован, его собственная мечта не осуществилась. Все были разочарованы во мне. Все здесь переменились ко мне, и он — тоже. Все знали, что он разочарован в своем новом браке, потому что я была «совсем не та» Светлана…

Я жила ото дня ко дню. Заботиться о ребенке было новым делом для меня — и крайне важным — так как раньше у моих детей всегда были няньки. Быть с малышкой все время — самой купать ее, кормить, следить за ее ежедневным ростом — было таким удовольствием, и я была вознаграждена за мои усилия втройне. «Что могло быть более важным, чем это?» — думала я.

Отец и брат не проявляли никакого внимания к маленькой девочке.

К осени на ферму приехал налоговый инспектор. Он жаловался Вэсу и мне, что не смог найти никакой бухгалтерии нашего дела, что все было в полнейшем беспорядке, никакой отчетности. Большие деньги — десятки тысяч долларов — тратились без какой бы то ни было документации. Пока что это был только расход. Приход мог начаться лишь через несколько лет, когда телята подрастут для продажи и наладится ежегодный прирост поголовья. «Вам нужен управляющий, немедленно же!» — заявил налоговый инспектор. Я знала это давно: мои виолончелист с архитектором не годились для ведения дел в таком большом масштабе, как они это начали. Но они не слушали никого и теперь. Они просто приглашали для консультации то одного, то другого местного фермера, они не желали слушать Роберта Грейвса, который беспрестанно предлагал свои услуги в качестве управляющего.

Вскоре мы приобрели вторую небольшую ферму, потому что нашему скоту не хватало пастбищ. Это был чудесный старый дом, проданный пожилой парой по имени Мак-Катчин. Ферма так и называлась — «Мак-Катчин». Мы бросали деньги туда и сюда, не имея никакого плана. Я чувствовала, что скоро мы будем иметь серьезные неприятности.

«Ваше дело по выращиванию мясного скота обречено, — говорил мне Роберт Грейвс. — Маленькая ферма, как ваша, не годится для такого дела. Вам следовало бы иметь несколько коров на продажу молока, завести кур на продажу яиц, это, по крайней мере, окупилось бы, и был бы небольшой доход!» Да, он был прав, этот практичный старый друг, но Вэс не желал его слушать. Он и его сын мечтали о большом размахе. И большая неприятность, как туча, образовалась на нашем горизонте. Но меня никто не слушал. Мне только приносили бумаги из банка на подпись — о новом заеме, о новых покупках машин, материалов, кормов.

* * *

Земля вокруг была так зелена, так благодатна. Было что-то глубоко целительное в этом окружении, в постоянном созерцании этой красоты и щедрости. Проезжая ежедневно через поля и долину, пересекая могучую реку Висконсин, глядя на широко открытые небеса, на голубые холмы на горизонте, невозможно было не почувствовать себя прекрасно. Это была зачарованная

земля.

Талиесин, построенный Райтом в 1911 году, был окружен землей, на которой никто не имел права строить. Эти холмы, долины и леса охранялись от строительства, дикость леса и его обитателей защищались законом. Небольшой ручеек под холмом был закрыт плотиной и превратился в пруд с плакучими ивами по берегам. Огромные старые дубы и вязы стояли с достоинством, охраняя красоту лужаек. Дикий тмин и цикорий, ромашки и донник, клевер и васильки стояли высоко, еще не кошенные. Песчаные тропки вились среди полей и лугов, высоко надо всем клубились белые округлые взбитые облака, приносившие грозу и дождь. А потом — радуга коронует все вокруг — все эти поля кукурузы, луга со скотом, красные амбары и силосные башни, всю благословенную долину. Сельская Америка лежала вокруг во всей своей красе, такая непохожая на города и предместья, где я жила до сих пор! Земля, живущая и дышащая в гармонии с законами Вселенной, где человек также должен быть в единстве с природой.

Я брала мою дочку в колясочке каждый день на прогулку вокруг пруда. Она лежала на спине, играя своими ножками и ручками под ласковым солнцем, засовывая большой палец ноги в рот, глядя вверх — на огромные шелестящие купы деревьев, на взбитые облака, менявшие свои очертания на голубом небе. Наслаждаясь ароматным теплом летних дней, мы спускались к пруду, останавливались под деревом. Я садилась на траву и, глядя на ивы и воду, думала о том, куда несет меня поток, река жизни… Играла с ребенком, кормила ее грудью, сидя на теплой траве, не двигаясь, пока она не засыпала сладко на моих коленях, и блаженствуя. Погода стояла теплая и влажная, старые липы гудели от жужжания пчел. Без сомнения, эти большие деревья и облака останутся в памяти ребенка навсегда — первые ее впечатления о мире. Мне хотелось, чтобы она пила этот воздух, впитывая как можно больше всю эту красоту вокруг нас, чтобы позже, взрослой женщиной, она могла бы вызвать эти образы в своей памяти и назвать их — Родиной.

Я собирала полевые цветы у обочин, и мы возвращались домой с букетами, двигаясь медленно, не торопясь, боясь, что кто-то прервет любование красотой жизни каким-нибудь глупым вопросом. Иногда студенты останавливались на дороге и заглядывали в коляску, играя с малышкой: она всегда с готовностью улыбалась им еще беззубым ртом. Иногда нам встречалась миссис Райт, прогуливавшаяся, опираясь на руку своего доктора; черный дог бежал впереди них, небольшая электрическая тележка для гольфа медленно двигалась сзади (на

случай, если миссис Райт, пожелает ехать). Она тоже останавливалась и наклоняла над коляской свое строгое неулыбчивое лицо. Ребенок не отвечал ей улыбкой. Я стояла рядом, наблюдая этот молчаливый обмен взглядами и понимая, как нежеланны мы тут. В такие напряженные, но выразительные моменты я чувствовала, что мы, наверное, здесь последние дни, во всяком случае — последнеелето… Это оказалось действительно так.

В Талиесине постоянно шел, как подводный ток, скрытый разговор о Вэсе и обо мне, и до меня доходили обрывки и намеки. Миссис Райт, однако, получала полнейшие доклады о моих действиях, словах и даже мыслях, так как это было привычно здесь: следить за всеми и докладывать ей. Я не могла особенно скрывать своего негодования по поводу того, как все американские законы о труде были здесь нарушены: ни отпусков, ни уикендов, работа в чертежной до поздней ночи, часы не нормированы ни в какой мере. И никому не платят за такой труд. Я не могла понять, почему она так обращалась с людьми, столь преданными идеям Райта и его делу.

Некоторые молодые студенты любили зайти в нашу комнату и поболтать со мною. Но миссис Райт запретила им это, утверждая, что я «плохо влияю» на них, так как мои взгляды были открыто критическими. Она постоянно тревожилась о непоколебимости своей власти и авторитета, очевидно, полагая, что я претендую на какую-то часть этой власти, как жена главного архитектора. Но для меня никогда не существовало никакого удовольствия во власти или во влиянии на других; у меня просто никогда, ни в каких обстоятельствах не было подобных претензий. Здесь же, в этом Товариществе я просто жаждала, чтобы меня не трогали и оставили в покое, тогда как иная женщина на моем месте стала бы бороться за «свое место» под солнцем. Мне только лишь нужно было общение с моей семьей и покой — а это невозможно было здесь иметь!

Дочь Райта Иованна, такая талантливая, артистичная, самолюбивая, действительно боролась за власть в Талиесине со своей матерью. Она пользовалась популярностью среди молодежи, хорошо пела, писала стихи и была хорошим хореографом. Она прекрасно знала творчество своего отца, да и внешне напоминала его, потому вполне могла представлять Райта в глазах студентов. Так же заносчива, так же вспыльчива и временами груба, как и он (судя по рассказам), она обладала качествами лидера, за нею легко следовали другие. Иованна хорошо знала себе цену, и ее мать знала это также. Соревнование между ними шло в открытую. Кроме того, Иованна не выносила

личного доктора миссис Райт, занимавшего столь близкое и постоянное место возле ее матери, даже принимавшего участие в обсуждениях дел Товарищества. Не без оснований, Иованна рассматривала его здесь как вполне чужого Товариществу человека, не имевшего никакого отношения к архитектуре. Но тут она проигрывала битву, потому что миссис Райт не позволяла никому критиковать ее фаворитов, а Иованна была слишком требовательна, нетерпелива и пряма в своих нападках.

Умная и хитрая миссис Райт решила убрать дочь с дороги, постоянно жалуясь всем (даже мне) на «грубые выходки» Иованны. Я не помню, чтобы дочь когда-нибудь жаловалась на мать… Наоборот, Иованна утверждала, что они «были очень близки». Буквально на наших глазах миссис Райт начала плести сети свахи (в которые и я попалась в свое время), и довольно скоро мы стали свидетелями романа Иованны со студентом, который был моложе ее на двадцать пять лет и весьма преданным обожателем миссис Райт. Он был из богатой семьи в Калифорнии, и вскоре он и Иованна отправились туда на его машине…

Теперь миссис Райт вздохнула свободнее, даже не пытаясь скрыть своего облегчения. Волнуясь, сердясь, Иованна разрушала свои нервы алкоголем впережку с транквилизаторами — но никогда не была ни алкоголиком, ни наркоманкой. Она просто выходила из себя и вела себя грубо с матерью.[12] На меня она тоже сердилась, хотя я не была на ее пути и даже желала бы ей помочь. Но она уже не была той любезной сестрой, какой встретила меня в аэропорту Финикса…

Вэс метался в то лето между миссис Райт и мною, между Иованной и ее матерью, дипломатичен, как всегда, но обычно поддерживая миссис Райт против всех остальных. Его угнетало это разделение, он был цельным человеком, ему нужна была жена, которая сливалась бы с его работой и с его Товариществом — каковой была первая Светлана. Но мы все еще появлялись вместе с улыбками перед важными гостями и старались хотя бы внешне ничего не показывать.

Однажды из Чикаго приехала богатая пара, и все надеялись, что они возьмутся финансировать один давно забытый проект Райта. Это было недостроенное здание, недалеко от Талиесина. Пара была встречена с «красным ковром», помещена в лучшую гостевую комнату, их кормили, поили и развлекали. Я должна была принимать в этом активное участие. Дама была очень приятной, элегантной (маленькое черное платье) и застенчивой. Она несколько была испугана экзотикой Талиесина и всем шумом, поднятым вокруг них. Они отбыли, очевидно ничего не пообещав, и через несколько дней миссис Райт сказала негодуя:

«Эти люди не прислали нам даже благодарственной открытки!» Возможно, они поняли, для чего их так принимали.

Наступила осень, то есть время возвращаться в Аризону, но Вэс и я хотели остаться в Висконсине подольше. Нам нравилось здесь, но миссис Райт, любившая сухой воздух пустыни, всегда торопилась в Западный Талиесин. Быть может, кампус среди пустыни был дороже ей, так как он был построен Райтом вместе с нею, в 1934 году, и там не было воспоминаний ни о трагической смерти миссис Чинней, ни о гибели ее собственной дочери Светланы. Талиесин в Висконсине, столь красивый, но также и более мрачный, угнетал ее. Она была склонна к подозрениям, страхам и мрачным мыслям о пожарах.

Перед отъездом она позвала меня «поговорить», и я пошла с упавшим сердцем. Я знала, что это не будет приятный разговор. Она спросила меня прямо, в упор: что именно мне здесь, в Товариществе, так не нравилось? Это был трудный вопрос. Мне не нравились самые основы. Я предпочла молчать. Но ей очень хотелось, чтобы я была в согласии с ней; чтобы я приняла все как есть; чтобы я подчинилась ей, как все остальные; чтобы я, наконец, принадлежала Талиесину. Она знала, как объезжать упрямых лошадей — куда более сильных, — у нее была долголетняя практика в этом. Но она говорила со мной тепло, стараясь заглянуть в мое сердце, пытаясь выиграть мягкостью.

Мне было плохо, тяжко, безнадежно. Я не могла «сыграть» любовь к ней, ни дать ей ту преданность, которую ей так хотелось получить. Но мне нужен был покой, и я уверяла ее — вполне искренне, — что «все будет хорошо», не зная вполне, что это означало. Тогда она вдруг взяла меня за обе руки и притянула к себе, так близко, что не оставалось места между нами: я попыталась ослабить ее хватку, отступить чуть-чуть назад, но она крепко держала мои запястья и стала пристально смотреть мне в глаза, не давая мне отвести их; потом начала дышать глубоко, медленно и ритмично, вперяясь в меня взглядом Я потеряла всякое чувство воли и стояла, как парализованная. Холодной волной поднялся внутри страх, и я не могла двигаться. После минуты напряжения я расплакалась, мои руки все еще были у нее в руках. И тут я сделаланечто такое, чего я никогда бы не сделала по своей воле я несколько раз поцеловала ее руки. Только тогда она отпустила меня. Она была довольна.

«Такие моменты никогда не забываются», — сказала она медленно, со значением. Я попрощалась, как ребенок, утерла слезы руками и ушла. Дома, все еще плача и содрогаясь от происшедшего, я говорила мужу, что больше никогда, никогда не останусь с миссис Райт наедине, потому что под ее

гипнотическим взглядом я могу согласиться Бог знает на что. Я дрожала и плакала, теряя контроль над собою, боясь разговаривать. Вэс оставался невозмутимым, в своей каменной манере, и сказал, что все это моя сплошная фантазия: «Миссис Райт любит тебя, а ты не способна ответить ей любовью на любовь. Она очень огорчена этим. Она любит всех, как мать».

Увы, я была знакома уже с «любовью» духовных гуру и всяких духовных пастырей, делающих своих последователей слепыми рабами. Я не оставила СССР, чтобы попасть в лапы еще одного «духовного вождя», здесь в Америке.

«Тогда, значит, ты совершенно не поняла этого места, — печально заключил Вэс. — Жить в Талиесине — это большая привилегия, это наилучший образ жизни. Я думал, что нашим браком я дал тебе эту привилегию. Я не знаю, каково будет наше будущее. Ты не можешь жить на ферме, потому что ты должна жить там, где твой муж. Ты должна найти какой-то способ приспособиться». И с этими словами он ушел в свою контору, потому что у него не было времени на семейные дела.

…Я ездила по сельским дорогам, где совсем нет движения, Ольга рядом со мной на сиденье, в корзинке, занятой у Лиз, нашей бэбиситтерши. Ничего не хотелось, только смотреть по сторонам дороги на эти целительные холмы и поля. Это всегда приводило меня к душевному спокоиствию.

Или же я отправлялась с Ольгой на нашу ферму поболтать с Марион, — так же, как я болтала с Лиз, с симпатичным местным доктором или даже с продавщицей в магазине… Мне так нужно было находиться с нормальными людьми, чтобы восстановить внутреннее спокойствие. Они были милы, играли с Ольгой, не задавали вопросов, ничего не требовали. Потом я возвращалась в Талиесин, остерегаясь встретиться с миссис Райт. Я решила отказываться от ее приглашений под разными предлогами, так как боялась ее напора: это или кончилось бы большим конфликтом, или она принудила бы меня согласиться с ее властью. Последнего я не могла позволить, только что вырвавшись из рабства. Сорок лет я жила в СССР, как раб правительства и партии. Здесь, в Америке, я начала создавать мою собственную жизнь. А теперь снова подпасть под ярмо, под власть этой женщины? А что будет с моей дочерью в этом Товариществе, где дети нежеланны? Почему, в конце концов, должна я принуждать себя к «приспособлению», которое станет моим страшным шагом назад?

* * *

Отправляясь на машине из Талиесина в Спринг-Грин за покупками, я неизбежно следовала по тому же пути, которым пользовалась первая Светлана, моя предшественница. Она тоже покупала еду в городе, заходила в аптеку, парикмахерскую, возможно, бывала, как и я, в Доджвилле; конечно, много раз курсировала между нашей фермой, Талиесином и Спринг-Грином, проезжая мимо Часовни Ллойд-Джонсов. Мои мысли часто возвращались к ней, миловидной, темноволосой, темноглазой женщине двадцати девяти лет. На фотографиях ее дети выглядели, как моя Ольга, — потому что все они походили на Вэса, их отца.

Она встретила его совсем девочкой, шестнадцати лет (ему было двадцать), он только что бросил Технологический институт в Бостоне и пришел учиться архитектуре к Райту. Они немедленно же влюбились и поженились — вопреки воле миссис Райт, полагавшей, что брак был слишком ранним для ее дочери. Молодой паре пришлось уехать из Талиесина в Эвансвилль, в Индиане, родной город Питерсов, где они прожили счастливо несколько лет, пока наконец сам Райт не стал с упорством настаивать на их возвращении. Светлане тоже приходилось бороться за права своей семьи, но им покровительствовал сам Мастер, очень полюбивший молодую пару.

Когда у них уже было двое детей, Вэс спроектировал дом для семьи, совсем рядом с Талиесином, на соседнем холме. Однако миссис Райт запретила такое «отделение от Товарищества». Дом остался только в чертежах.

Примерно в это время, уже ожидая третьего ребенка, Светлана с двумя сыновьями вела свой «джип» по дороге в Спринг-Грин, как вдруг «джип» потерял управление, и покатился под откос сельской дороги. Она погибла, и двухгодичный Даниэль тоже. Старшего мальчика выкинуло из машины, он ударился, но уцелел. Однажды, вспоминая эту историю, я остановилась возле Часовни Джонсов, где была похоронена Светлана и стала искать ее могилу. Найдя ее, я была потрясена: на могильном камне было написано мое имя — «Светлана Питерс». Маленький Даниэль был похоронен вместе с нею. Моя Ольга была так похожа на него! Я похолодела. По дороге домой я вела машину с особой осторожностью.

Безусловно, я давно знала, что у нас одинаковые имена. Но эта странная встреча на кладбище с той, чью роль меня взяли исполнять, была мне, как предупреждение. С тех пор я опасалась проезжать вместе с Ольгой по той самой дороге. У меня была теперь «идея фикс», комплекс, и я ничего не могла поделать с этим. И потому что я была здесь, чтобы повторить жизнь этой

женщины, стать женой ее мужа, мне, возможно, было не миновать такой же трагичной развязки… И, возможно, даже моей дочери, тоже.

Этот внезапный страх заставил меня серьезно задуматься о крещении Ольги. Я твердо верила, что тогда она будет защищена Богом.

Вэсу эта идея очень понравилась, но у него были иные причины для этого. Дело в том, что Ф. Л. Райт спроектировал — а Вэс построил десять лет назад греческую православную церковь в Милуоки. Теперь предполагалось праздновать «обновление» церкви Благовещения, и архиепископ всех американских греков Яковос должен был прибыть на празднование. Чем не блистательный случай крестить нашу Ольгу!

Я не знала ничего этого и только хотела крестить ее — все равно где — тихо и незаметно. Остальное было мне неважно. Но Вэс хотел крестить Ольгу перед алтарем, расписанным его другом Джином Масселинком, взявшим первую жену Вэса и его сына в модели для икон Богоматери с младенцем… Эти современного стиля иконы (совсем не традиционные) украшали царские врата церкви Благовещения, которую Райт решил построить в виде греческого театра. Греки проглотили такое богохульство, а позже церковь стала привлекать туристов и наконец была одобрена всем приходом. Теперь же архиепископ приезжал освятить заново алтарь, и никто уже более не удивлялся странным очертаниям перевернутого блюдца, накрытого таким же огромным блюдечком… Фрэнк Ллойд Райт не был ни в одной церкви с детства, но решил, что именно амфитеатр более присущ духу греков, а не традиционная крестово-купольная планировка.

Итак, Вэс с энтузиазмом оповестил совет церкви Благовещения в Милуоки, что мы решили крестить дочь здесь. Архиепископ уже выразил желание совершить обряд венчания или крещения после освящения алтаря. Дочь архитектора, строившего церковь, — не могло быть ничего лучше!

Я ужаснулась новости, так как мы опять были на авансцене, перед публикой и газетами, — чего я так хотела избежать! Так хотелось частную, тихую церемонию, и наша крестная вполне соглашалась со мною. Но возможность упоминания в прессе архитекторов Талиесина, построивших эту церковь, была слишком заманчива. Опять мы — и даже ребенок — должны были служить интересам Товарищества Талиесин. Миссис Райт была также взволнована поездкой в Милуоки, предстоящей встречей с архиепископом и освещением события в печати.

Вэс и я предполагали вызвать наших близких друзей на роль крестных Ольги, но церковь категорически заявила, что «только

греки» могли быть крестными, и уже назначила определенных лиц. Это был судья из Милуоки и его жена. «Таков обычай! — сказали нам. — Вы должны согласиться с любым лицом, кто желает быть крестным ваших детей! Мы здесь следуем только обычаям Греции». И хотя я никогда не слыхала о подобных правилах в русском православии, пришлось согласиться. Вэс знал судью, а мне нравилась его тихая красивая жена, так что мы не стали возражать.

В день празднования десятилетия греческой православной церкви Благовещения и ее «обновления» все Товарищество Талиесин было здесь, так как здание это было одним из любимых его работ. Имя художника Джина Масселинка было у всех на устах, хотя его уже не было в живых. В результате глубокого изучения иконописи и создания росписи царских врат для этой церкви, он даже перешел в православие.

Церемония обновления началась рано утром, долгий старинный ритуал: поиски ключей запертой церкви, обход с дарами много раз вокруг здания, наконец — вход в церковь, омовение алтаря архиепископом — и долгая служба в обновленной, сияющей всеми свечами церкви… Крещение должно было состояться где-то во второй половине дня, без присутствия всего прихода, но и без перерыва для священников. Поздно вечером должен был быть обед в честь Его Святейшества Яковоса, даваемый всей греческой общиной Милуоки.

Вэс был ужасно рад, что Ольгу будут крестить перед алтарем, расписанными его другом Масселинком, где лица Девы Марии и младенца Иисуса напоминали первую Светлану и ее сына Брандока. Все это было совсем, как в романе или в кино: столько невероятных совпадений и странных обстоятельств…

Все были очень довольны. Ольга орала своим громким, сильным голосом на всю церковь, когда ее окунули три раза в глубокую купель — по-гречески. Облаченные в черные рясы священники пели молитвы. Крестил ее сам архиепископ, а судья — крестный — принял ее в церковное махровое полотенце. (Поскольку все было решено в последнюю минуту, мы не смогли приобрести соответствующее крестильное платьице, что очень огорчало крестную. Но я, наоборот, считала, что все было прекрасно!) Даже имя Ольга, данное в честь моей бабушки Ольги Аллилуевой, маминой матери, не могло быть лучше! Это одно из самых популярных имен в Греции, где все еще помнят царицу Ольгу, очень любимую в Греции в 20-30-х годах. Даже день рождения ребенка всех обрадовал: 21 мая, день святых Константина и Елены, основателей христианства в Греции. Вся церковь была наполнена глубоким чувством святости после

обновления, и наша дочь получила, наверное, самое прекрасное крещение, которое только можно было получить…

Она благоухала маслами и благовониями несколько дней, но, намучившись долгой церемонией, спала несколько часов кряду. Страх воды остался у нее, однако, на несколько лет.

…Когда в размягченном, счастливом состоянии духа мы возвратились наконец в Талиесин, нас встретила буря. Хотя было уже поздно, Вэс был вызван немедленно же к миссис Райт. Он возвратился от нее с потемневшим лицом, сел в кресло и закрыл лицо руками.

«Мы совершили тяжелую ошибку, — сказал он в отчаянии. — Но не волнуйся, я все взял на себя. Мне следовало бы это знать! Мне следовало бы подумать лучше!» Все его радостное настроение исчезло. Что за грех такой мы совершили на этот раз, — я не могла догадаться.

«Миссис Райт ужасно огорчена. Все заметили, что она даже не осталась на обед с архиепископом. Она говорит, что уехала, так как не могла более вынести весь спектакль. Она чувствует, что мистер Райт был совершенно забыт всеми и что наш ребенок был в центре внимания не только публики, но и прессы. Но самое худшее состоит в том, что она считает, что мы это все сознательно планировали! Мне удалось, по крайней мере, разубедить ее хоть в этом, и она поверила, что ты хотела все устроить очень тихо и частным порядком, без прессы. Это греки превзошли все на свете, думая только о собственном удовольствии!»

Так, значит, она украла всю его радость опять! Она разрушила наш праздник, наше ликование. Я не могла удерживаться больше и высказала Вэсу все, что я думала об этой мрачной ревнивой женщине. Но он был изнеможен. Ведь он в самом деле хотел, чтобы всем было весело и все были бы довольны. Он почти плакал.

* * *

Той осенью, поздним октябрем, мы возвратились в Аризону самолетом. Снова были празднества, сначала день Благодарения, с множеством гостей; и уже приближалось Рождество. Из Висконсина с нами приехала наша молодая бэбиситтерша Памела (хотя я бы предпочла спокойную Лиз, опытную мать четырех детей). Она остановилась у родственников, но приходила к нам в Талиесин сидеть с Ольгой. Миссис Райт снова настаивала, чтобы я приглашала «девочек» из Товарищества, а не «посторонних». Но

я хотела оставлять ребенка только с тем, кого я знала. Я боялась оставить Ольгу с теми, близкими к самой миссис Райт, женщинами.

Миссис Райт искала случая снова остаться со мной наедине, но я как раз этого избегала под всякими предлогами. Я не забыла неприятной сцены в Висконсине. От ее приглашений «на чашку чая» я под разными причинами отказывалась. Конечно, она знала, чего я боялась; она была очень умна и проницательна, истинный чтец мыслей других людей, — этого нельзя было не признать. Она была властной, умела маневрировать и интриговать и прекрасно знала, что такое бизнес, деньги и, как оперировать прессой в свою пользу. Ее можно было уважать за все это. И часто я чувствовала, что она симпатизировала мне — но именно поэтому она желала целиком взять меня в свои руки, подчинить меня всем своим капризам — как это она сделала с Вэсом. И поэтому я сопротивлялась ей. Она, безусловно, знала эту игру, — она была слишком умна.

Измученная всем этим, уставшая от одиночества, пока Вэс находился в долгой поездке в Иране, я однажды, потеряв самообладание, расплакалась в кабинете моего врача — того самого, который имел неприятный опыт с Талиесином. Он посмотрел на меня и сказал: «Слушайте, у вас только одна жизнь. Я наблюдаю вас с первых месяцев беременности. Вы постоянно озабочены и огорчены. Я отпустил вас в Калифорнию к вашей золовке и позволил вам даже рожать там, потому что я понимал ваше положение в Товариществе. Но по закону мне не следовало этого делать, так как я был вашим врачом и обязан был наблюдать вас здесь и обязать вашего мужа быть возле вас! Но я хорошо знаю Талиесин и даму, которая руководит всем там. … Почему бы вам не попытаться найти некий компромисс? Снимите маленький дом неподалеку оттуда, переезжайте туда, и мистер Питере, возможно, даже будет доволен таким оборотом дела».

Я совсем не была уверена, что моему мужу понравится эта идея, но по его возвращении из Ирана я предложила купить — сообща — маленький дом недалеко от Талиесина и пользоваться им как нашей совместной резиденцией. Он сначала согласился с этим планом. Совместная покупка дома не была разъединением.

Мы нашли небольшой домик и купили его вместе со всей мебелью и оборудованием, с посудой, с ножами и вилками. Владельцы его, родом из Чикаго, так хотели уехать из пустыни, что буквально бросили дом… Нельзя было и придумать лучше, у меня ничего не было, кроме одежды и книг, — мое старое хозяйство в Принстоне было все давно распродано.

После Рождества 1971 года Ольга и я въехали в наш новый

дом, зарегистрированный на имя мистера и миссис В. В. Питерс. Памела продолжала приходить и сидеть с Ольгой. Здесь было так спокойно! Я сразу успокоилась, как только исчезли эти вечные посетители вокруг, туристы и принудительная «общность» в сущности очень разных людей, собранных как в какой-то детский сад для взрослых. Но Вэс остался в Талиесине. Он был глубоко уязвлен моим желанием выехать, и после того как мы переехали, он дал волю своим горьким чувствам и словам. Он знал, что его всегда ждали, что двери были открыты для него в любое время дня и ночи, но он бывал очень редко с нами…

Местная пресса, конечно, узнала «новость» (не от Талиесина ли?), что мы купили дом и живем в разных местах. Через несколько месяцев нашего мирного житья в Тенях Горы — как романтично назывался наш поселок в Скоттсдэйле — у моих дверей появился утром местный журналист. Несмотря на ранний час, я была чрезвычайно вежлива, хотя и осталась босиком в кухонном утреннем балахоне. В те времена я все еще верила, что если говорить с журналистом просто и искренне, он все так и расскажет публике. (Роковое заблуждение!) Я не пустила, однако, его в дом, и мы разговаривали через сетчатую дверь. Заглядывая в дом через мое плечо и пытаясь разглядеть, кто там и что там, он с поддельным изумлением спросил: «Но почему вы здесь?» Я ответила ему, что «это наша с мистером Питерсом частная резиденция».

Но он уже слышал что-то иное. «Вы живете раздельно? Вы подаете на развод?» — тараторил он. — «Конечно, нет! Я только отделилась от коммунальной жизни в Талиесине».

Этот мой ответ был немедленно сообщен в местных газетах, и начались звонки без перерыва. Талиесин уже выдал свою версию: «Они разделились, и ее муж желает теперь только развода». Не знаю, чьи слова это были, но мне было пока что неизвестно о таком желании моего мужа.

Я настаивала, что мы вместе купили этот дом, цитируя купчую на эту недвижимость. Тогда Вэс вступился и заявил, также в печати, что он отказывается от всяких прав на дом и что, действительно, он желает — либо, чтобы я немедленно вернулась в Талиесин, либо подавала бы на развод. Я отказывалась от обоих вариантов и искала компромисса. Но Вэс настаивал на том, что он «не годился ни для каких компромиссов». Я чувствовала, что миссис Райт диктовала ему. Без нее он не делал никогда ни шагу.

Я искала помощи у всех друзей в Аризоне, зная, что я имела таковых. Наш налоговый инспектор, толстый добродушный человек, валил всю вину на ферму, где мы быстро прогорали с нашим выращиванием мясного скота. Он настаивал, чтобы я

немедленно же прекратила там все операции, «потому что ваши мужчины не знают даже, как вести отчетные книги!» Он соглашался со мною, что мы должны были взять управляющего с самого начала. Но я не собиралась «закрывать операцию» в это время, так как я все еще продолжала надеяться на некое компромиссное решение, на возможность сохранить семью, отдельный дом, и на то, что Вэс придет к какому-то разумному соглашению и уступкам. Он знал, что мне было не место в Товариществе Талиесин.

Наш старый адвокат в Финиксе соглашался со мною, что Вэс был недостаточно внимателен к моей потребности покоя и семейной жизни, особенно когда появился ребенок; что я не была, как те молодые студенты, прибывшие в Талиесин в поисках приключений — чем экзотичнее, тем лучше. Миссис Райт прислала мне приглашение возвратиться «домой». Я мучилась от невозможности решить, как мне быть, а журналисты не переставали звонить и даже приходить к моим дверям.

Опять вмешался мой доктор, которого я рассматривала теперь как друга. Он так искренне хотел помочь. Он предложил, чтобы Вэс и я пошли к специалисту по проблемам брака — объективному профессиональному психологу, — чтобы он побеседовал с каждым из нас отдельно, выяснил бы наши желания и обиды и помог бы найти рациональное разрешение конфликта. «Пойдите к доктору Х., — настаивал он. — Я знаю его как порядочного человека, он мой друг. Он поможет вам внести ясность в ваши отношения, иначе — эта пресса просто сведет вас с ума».

И я отправилась к доктору Х. в Финиксе, — впервые в жизни разговаривать с психиатром. Я была так рада, что кто-то, незаинтересованный и честный, выслушает нашу историю! Я больше совсем не понимала своего мужа и его действий. Я была уверена, что теперь, без меня, он был полностью в руках своей бывшей тещи, во всем, что он делал, думал или предлагал…

Доктор Х., известный в Финиксе специалист по проблемам брака, был пожилым человеком с приятными спокойными манерами. Он выслушал мою долгую историю полностью, начиная с самого детства. Он был тактичен, внимателен и умел слушать. Потом он вызвал Вэса, ожидая такой же искренности. Потом — опять меня. И таким образом, несколько раз. Каждый раз он беседовал с каждым из нас в отдельности, и мы не общались между собой в это время.

Затем он изложил передо мною свои заключения. Они были неутешительны ничуть. Он сказал, что он убедился в следующем: в то время как жена ищет компромисса, чтобы сохранить семью,

муж заинтересован только в том, чтобы скорее «выбраться» из этого брака. «Мне жаль это говорить, — сказал он, — но я не смог уловить ни тени сомнения в нем — он хочет освободиться. Я думаю, он был вполне искренен со мною, вполне честен насчет своих чувств».

Ну, что ж, теперь все было ясно. Он считает свою женитьбу ошибкой. Ребенок не интересует его, он к нему безразличен.

Доктор Х. видел, что я была потрясена. «Послушайте, моя дорогая, не вздумайте вернуться в Талиесин! — предупредил он. — У вас будет искушение сделать именно это! Вы вернетесь туда только для того, чтобы снова бежать оттуда, и вы просто разрушите себя этим. Это место не для вас. Вам нужна обыкновенная, традиционная семья. Вы хотите жить так, как живут обычные люди. Вы хотите быть такой, как все. Вэс верит в свою философию! Как печально, что вы вообще туда попали! Я помню сообщения в газетах о вашем скоропалительном романе и свадьбе. Зрелые взаимоотношения требуют взаимного понимания с самого начала: только на этих основаниях возможно построить устойчивую семью взрослых людей. Вы оба едва знали друг друга. Это было все безумием, я должен сказать. Вашему мужу следовало бы знать, что очень редко кто может разделить его образ жизни: ему ведь было пятьдесят восемь лет, не школьник. Я не чувствую большой жалости к нему. Мне кажется, что он просто пошел на риск, и это было плохо».

Я пообещала доктору Х., что не попытаюсь вернуться в Талиесин, не посоветовавшись прежде с ним. Он велел мне приходить раз в неделю к нему, что бы там ни было. «Вы глубоко потрясены всем этим и вам очень нужен разговор с беспристрастным лицом. Приходите и говорите со мною. Это трудная ситуация для вас».

Он был, конечно, прав. Я приходила к нему еженедельно, страдая от искушения вернуться, раскаяться, и согласиться на все что угодно. Без помощи доктора Х. я наверняка так бы и сделала!

Однажды поздно вечером я просто не могла больше сопротивляться, села в машину и поехала к Талиесину. Было уже темно, и я остановилась вдалеке от входа. Я знала, как пройти задами к нашей комнате и террасе, смотревшей на дорогу, и никто не увидел бы меня. В это время все обычно находились в своих комнатах, уставшие от долгого дня работы. Я тихо прокралась из сада по нашей террасе и приблизилась к стеклянной двери, ведущей в дом.

Мое сердце упало. Все было в том же порядке, как я оставила, все здесь — старинное оружие на стене, иранская средневековая сабля, подвешенные растения; книги, друзы и другие минералы

— все, что Вэс любил видеть вокруг себя. Я тихо прошла по гостиной и увидела Вэса, сидевшего в шелковом халате, босиком, спиной ко мне. Он смотрел телевизор и не шевелился, совсем, как камень. Тогда я подошла ближе, коснулась его плеча рукой, и слезы полились из моих глаз.

Он встал с таким же точно лицом, как когда я увидела его в первый раз: печальным, с глубокими вертикальными складками вдоль щек. Он был бледен, уставший, и не мог найти слов. «Ты должна уйти, — сказал он, боясь, что кто-нибудь увидит меня там. — Ты должна… Ты должна…» Больше он ничего не мог сказать, и я тоже. Он направился к двери, все еще босиком, и я последовала за ним. Он знал путь, которым я пришла сюда, и пошел со мной к моей машине, стоявшей среди кактусов и крупных камней пустыни. Вокруг никого не было. Только яркие звезды мерцали на черном небе. Мы молчали.

И я поехала обратно, все еще не в состоянии сдерживать слезы. В зеркальце машины я могла видеть его, все еще стоявшего у дороги. Я ехала через пустыню, среди кактусов, по той же дороге, по которой меня привезла сюда впервые Иованна. Каменистой, пыльной дороге, ведущей к асфальтовому шоссе невдалеке. Я была здесь в последний раз.

* * *

Пресса писала по всему миру о нашей раздельной жизни. Я получала письма от различных друзей, предлагавших совет или помощь. Греческая крестная моей Ольги из Милуоки приехала повидать крестницу в ее первый день рождения. Тетка и дядюшка Хайакава приехали из Калифорнии. Вэс прислал цветы и остановился в этот день ненадолго, чтобы посмотреть Ольгу. Она пригубила свое первое шампанское, сидя у него на коленях.

Острая боль как-то улеглась. В другой раз Вэс привез своих двух старых друзей из Германии, они хотели видеть Ольгу. Затем пара из Швейцарии (муж — американец), также пришли с ним вместе — их мальчик родился всего на неделю раньше Ольги. Мы посадили детей в общий манежик, напялили им на головы ковбойские шляпы и снимали смешные фотографии. Все смеялись, но несчастье молчаливо присутствовало.

Так как пресса, конечно, все переврала и много раз уже упомянула «развод», я обратилась к мужу своей старой приятельницы, молодому адвокату: что мне было делать? Я не хотела развода, но Вэс желал такового немедленно же, оставляя за мной «привилегию» подавать в суд. Адвокат приехал в

Аризону, и мы уселись обсудить положение дел. «Разделили ли вы ваши объединенные банковские счета?» — последовал его первый вопрос. — «Нет, а зачем?» — ответила я, удивленная. — «Послушайте! — сказал он, — вы уже несколько месяцев не живете вместе, а Вэс продолжает реализовывать чеки в банке за ваш счет! А что с вашей фермой? Вы, наверное, платите по всем их счетам?»

Молодой энергичный адвокат понял, что терять время нельзя. Он отправился в банк и разделил наш объединенный счет. Затем он поехал в Висконсин, пошел в местный банк, осмотрел ферму и нашел там все работы в полном разгаре. Возвратившись в Аризону, он явился ко мне в негодовании и стал учить меня «практической жизни в Америке» — которой я все еще не научилась… Его слова казались тогда циничными, но я терпела, так как он был мужем моей подруги. Но мне ужасно было слушать то, что он говорил.

«Этот человек не любит вас больше. Он хочет освободиться от уз. Вы думаете, вы удержите его вашими деньгами? Купить любовь невозможно. Я не знаю почему вы поженились, но для вас именно сейчас самое лучшее время подать на развод. Поверьте мне, сейчас все на вашей стороне, абсолютно все! Вы получите ферму, потому что вы уже вложили в нее в несколько раз больший капитал, чем была ее первоначальная цена. И вы должны взять ферму у него и у этого его сына, который не имеет никакого права тратить ваши деньги подобным образом! Вы и ваша дочь получите все. Мы подадим в суд в Висконсине, где все вокруг знают, какой большой вклад вы сделали в эту недвижимость. Вы сможете сохранить ферму для себя, или же продать ее, или сдавать землю; земля — очень хороший вклад денег. Вам предстоит дать образование вашей дочери. Вы знаете, скольких денег это стоит!? Знаете ли вы сколько вы потеряли уже с вашим браком?[13] У вас сейчас только одна треть всего того капитала, который вы принесли ему в день вашей свадьбы! И вы еще выплатили все его старые долги и спасли его от банкротства. Известно ли вам, что вы также уплатили налог на дарственную? Специальный налог, так как ваш заем был ему представлен как дар! Он боялся взять заем у вас, потому что тогда ему пришлось бы вернуть вам эти деньги! О, у меня нет слов для этого человека».

Негодование медленно поднималось во мне, пока я слушала его темпераментную речь. Этот молодой парень ничего не понимает. Все только и говорят здесь о деньгах, о деньгах и о деньгах. «Но я уже сказала, что не хочу развода. Я сделала все это из любви к нему. Я любила его, понимаете ли».

«А он — нет! — выпалил адвокат с бессердечностью. — Он хочет развода, и, если вы дадите возможность ему подать в суд, он уйдет от вас, обобрав вас, и вы будете в проигрыше! Я лечу назад в мою контору приготовить все документы. Это просто невероятный случай. И мы выиграем дело!» С этими словами он отбыл, и моя подруга звонила мне потом, чтобы сказать, как он глубоко вошел в мое положение и как хотел помочь.

Много, много лет позже, пройдя через годы одиночества и трудностей, обычных для разведенной матери-одиночки в Америке, когда я растила дочь совсем одна, я поняла, как прав был молодой адвокат: в Америке все именно так. Но в 1972 году я еще не научилась жить по-американски, мои советские предрассудки довлели надо мной. И все, что он предлагал тогда, казалось мне вульгарным, циничным, жестоким. Я так не могла. Я не могла думать его мыслями. Нас не учили думать о материальной стороне семейной жизни («Любовь! Любовь!»), и я не могла считать деньги и думать о будущем моей дочери… Я просто не осознавала, что он предлагал мне наилучший выход из создавшегося положения.

И потому я написала ему формальное письмо, сообщая, что я не собираюсь подавать на развод. Что я благодарю его за всю проделанную работу.[14] Что я благодарю его за хорошие намерения, но что я вижу все дело совсем с иной точки зрения.

Вскоре пришло коротенькое письмо от него с отказом вести мои дела и со счетом. Он советовал мне, однако, немедленно подписать соглашение о разделении имущества, так, чтобы наша жизнь врозь была бы легально зафиксирована. Но он писал, что не станет мне в этом помогать.

Соглашение о разделе имущества было подписано в июле 1972 года, когда температура в Финиксе была выше 120° по Фаренгейту. Пять местных адвокатов и наш специалист по налогам присутствовали при подписании. Я отказалась от претензий на его ферму, на землю. Только маленькая ферма Мак-Катчин осталась мне, но я продала ее тут же, не в силах бороться: Вэс и его сын желали, чтобы у меня ничего не оставалось в «их районе» — каковым они считали, по-видимому, весь штат Висконсин.

Вэс и я сохраняли внешнюю дружественность и ни о чем не спорили. Его сын Брендок также был доволен, потому что богатый друг немедленно же покупал «Алдебаран» вместе с землей, скотом, машинами, так что он мог спокойно продолжать жить там и работать, теперь уже на ферме своего друга. (Меня никогда не покидало чувство жалости к этому молодому человеку, трагически потерявшему мать в детстве и выращенному в

бездомности холодного Талиесина.) Они оба получили все что хотели. Ни один из них не подумал о будущем Ольги.

Я получала полное опекунство над дочерью и никаких алиментов от ее отца. Все присутствовавшие хорошо знали, что как архитектор Товарищества Талиесин он не имел дохода, о котором можно было бы говорить всерьез. Никто там не имел дохода…

Мы вышли из ледяных кондиционированных помещений адвокатской конторы на жаркие улицы Феникса, где невозможно было дышать. Местный адвокат, представлявший меня, был разочарован: он считал, что я потеряла все. Мне было безразлично.

Нечто куда более значительное было потеряно и ушло.

* * *

Хозяйство маленького домика было упаковано для переезда в Принстон, в штате Нью-Джерси, — единственный город в Америке, где я знала, как мне жить одной. Соседи сообщили мне, что мой старый дом был снова свободен, и я сделала немедленно же предложение о его покупке. Мне казалось, что там я найду все то же, что я оставила два года назад. Обожаемый № 50, улица Вильсона!

Огромный грузовик компании «Бикенс» погрузил все наше имущество, а дом в Аризоне был поставлен на продажу. Я чувствовала себя разбитой физически и подавленной духовно. Но когда приходит наихудшее, я всегда кажусь спокойной… Доктор Х. настаивал, чтобы я возвратилась туда, где у меня были старые друзья; и, как всегда, он был, по-видимому, прав.

Вэс летел с нами до Филадельфии, возвращаясь оттуда немедленно же обратным самолетом. В аэропорту меня встречало такси из Принстона — старый водитель, знакомый по прошедшим годам. В полете мы не разговаривали, но по очереди держали годовалую, смешливую, веселую, как всегда, Ольгу. В Филадельфии мы попрощались, и он быстро зашагал к своим воротам для посадки. Он был бледен, но поцеловал Ольгу и поцеловал меня.

Миссис Райт (как мне рассказывали позже друзья) негодовала некоторое время, но потом велела всем забыть неприятный эпизод. Пресса одолевала Талиесин, но никто там не хотел больше говорить о нас. Годом позже Вэс подал на развод в суде Аризоны, в округе Марикопа (там, где был зарегистрирован наш брак). Он получил развод через десять минут, так как я не

появилась в суде. Все было улажено без ненависти и без споров. Он был освобожден от всякой ответственности.

Незадачливая сваха миссис Райт не хотела, чтобы ей напоминали о ее провале, так же как политики не любят вспоминать о своих неудачах. Ее «материнская любовь» к другой Светлане оказалась подделкой.

Что же касалось ее архитектора и его чувств — до этого ей не было дела. Она даже свалила всю вину на него. Но всем было известно, что не он приглашал меня посетить Талиесин. И он никогда не женился бы на мне — и ни на ком ином — без ее благословения и без ее желания. Он снова погрузился в работу, как пьяницы погружаются в вино — его обычное состояние в течение многих лет…

Это для нас с Ольгой было теперь время начинать нашу новую жизнь и найти путь, как жить одним.

ГРУСТНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 1972–1982

Голубой «форд» мягко катился по межштатному широкому шоссе через широкие сельские просторы Пенсильвании.

Поздним августом пшеница была спелой и высокой, ярко зеленели луга после недавних дождей. Машина миновала Дэлаверский Водораздел, где река, сжатая с обеих сторон высокими скалистыми берегами, дико ревела и неслась. Теперь же вокруг расстилались поля, перемежавшиеся мягкими, пустынными холмами. Одинокие большие деревья стояли там и сям, круглые здоровые и спокойные.

Межштатное шоссе, пересекавшее почти всю страну было бесконечно, все новые горизонты раскрывались перед взором, очарованным яркими пятнами луговых цветов, небольшими рощицами и опять полями и полями. Я не видела сельскую Пенсильванию с того первого моего лета в США, когда Кеннаны в 1967 году пригласили меня на свою ферму в Пенсильвании возле маленького города Восточный Берлин. Теперь же я везла свою дочь в ее первый летний лагерь возле далекого озера в горах. Ей было девять лет.

Этот лагерь предложил наш друг, христианин-сайентист, практиковавший в Принстоне, где мы жили после возвращения из Аризоны. Помимо того, что лагерь был бы хорошим новым опытом для Ольги, наш друг также был убежден, что мне следовало проделать этот длинный путь вместе с нею, чтобы окончательно отделаться от моего страха: я боялась возить ее в машине. Этот комплекс был приобретен в Висконсине, после того, как я увидела могилу первой жены Питерса, погибшей в автомобильной катастрофе вместе с двухлетним сыном. Этот страх не покидал меня вот уже несколько лет. Но врач христианин-сайентист оказался прав: после этой долгой поездки вместе я наконец отделалась от страха. Теперь, возвращаясь домой в Нью-Джерси вместе с нею, я чувствовала себя легко и счастливо.

Ольга читала журналы, вытянув свои длинные (американские) ноги на откидных сиденьях сзади. Эта большая машина была куплена для практических целей, не для показухи. Это была колесница, телега, куда можно было погрузить и мебель и велосипед. Сейчас там сзади была почти что комната, корзинка с ленчем и фруктами, банки с содовой.

Этот «форд» был моей третьей машиной (с 1968 года). Темно-

зеленый «пасторский седан» пропутешествовал со мной в Аризону и в Висконсин. Я предложила этот автомобиль моему пасынку, но он отверг «старомодную телегу». Ему хотелось иметь модный «ситроен» — и мы купили ему желаемое. Таким путем «старомодная телега» вернулась ко мне и служила мне моральной поддержкой в Талиесине в 1971-72 году.

Мы ездили тогда вместе — Ольга в своей корзиночке на переднем сиденье, — по прелестным сельским дорогам Висконсина, останавливаясь собрать полевые цветы, столь изобильные здесь, в то время как магнитофон в машине продолжал звучать: мы обе любили музыку. Или же я отправлялась в Доджевилль на мойку машины. Или останавливалась возле туристской площадки для пикников возле реки Висконсин — и глядела на катящиеся воды могучей реки, розовой в вечернем закате…

В Аризоне я также брала Ольгу с собою, в корзиночке на переднем сиденье, пока она не подросла для детского автомобильного сиденья. Мы останавливались на пустынной дороге среди кактусов — савоар и чойия — и съедали наши бутерброды в машине, так как на земле повсюду были скорпионы и змеи. Я жевала мексиканскую тако, глядя на мой «додж», весь пыльный и покрытый песком пустыни.

Потом старый «додж» вернулся с нами в Принстон, чтобы снова припарковаться к нашему дому № 50 по улице Вильсона. Я любила эту машину и держала бы ее дольше, но теперь Ольга сидела на переднем сиденье в своем специальном детском стульчике и все время пыталась открыть дверь или потрогать руль. Чтобы избежать этой опасности, я обменяла старого друга на новый «додж» — двухдверную спортивную модель 1974 года, с люком на крыше и куда более приятного светлого цвета. А потом наступила пора для «вагона» — большой семейной машины: мне нравилось, как американские домохозяйки загружали свои колесницы детьми, велосипедами, корзинками белья, пакетами из супермаркета, — всему хватало места. Наш вагон — «форд» — появился в 1979 году, настоящая синяя птица больших дорог, и мы обожали ее.

Мы часто отправлялись с Ольгой на нашей синей птице на юг Нью-Джерси к океанскому берегу, в двух часах езды от Принстона. Там мы проводили вдвоем несколько веселых часов, купаясь возле городка по имени Дно Корабля, или на пляжах возле маяка Барнегат. Лодки рыболовов мелькали на заливе, а мы бродили по песчаным берегам. Прямые, как стрела, дороги Океанского округа Нью-Джерси были проложены через молодые сосновые и дубовые рощи. Чудесно было здесь, и я часто

подумывала — не переехать ли из безумно дорогого Принстона? Но мы должны были всегда оставаться возле хороших школ.

Самой длинной поездкой вместе с Ольгой в машине было наше путешествие в Северную Каролину. Еще один маяк, этот на мысе Гаттерас, еще одна полоса песчаных пляжей с закатами, с песчаными бурями и с несравненными дарами моря. Сидя на берегу океана — я часто вспоминала песчаные пляжи на Москва-реке, к западу от Москвы, куда я бывало увозила своих сына и дочь с ее маленькой рыженькой подружкой… Или пляжи с горячей галькой возле несравненного, незабвенного Черного моря; или дороги Восточного Крыма, куда я не раз ездила машиной из Москвы. Я сидела на песке, накрыв голову соломенной шляпой, слушая бормотание прилива, голоса купающихся детей, забывая, где я…

Земля, несомненно, кругла, и откуда начал идти — туда и придешь снова, делая то же самое: растя своих детей. Процесс, без всякого сомнения, одинаковый повсюду на земле… Мир политических границ и идеологий полон жестокости, но иногда удается обрести минутку покоя и почувствовать Вечность. Такие минуты часто случаются именно на берегу океана или моря.

Я дремала на припеке, думая, каким благословением был для меня этот поздний ребенок, моя Ольга. Как полна моя жизнь благодаря ее присутствию. Как много счастья мы обрели в совместной простой ежедневной жизни. И в такие благословенные моменты я чувствовала, что я не должна никогда жаловаться. А просто плыть по течению широкой реки Жизни, которая знает, куда ведут ее потоки.

* * *

Теперь, после первых беззаботных лет в Америке, после неудавшегося замужества, снова в Принстоне, одна с моей маленькой дочкой я была куда более в ее руках, нежели она была в моих. Вся моя жизнь теперь вращалась вокруг ее воспитания.

Теперь я встречалась не с издателями и редакторами, а с детскими врачами и бебиситтерами. Потом — с ее учителями и с родителями ее одноклассниц. Она поистине стала центром всего земного вращения для меня. Странным, непредвиденным образом, я вновь переживала столь хорошо мне известный образ существования в России, где я растила моих двух детей одна, в разводе.

Вместо «русских специалистов», профессоров русского языка и знатоков «советских дел» теперь я находилась среди более

нормальных людей, безусловно отдаленных от политики, а также непохожих на «экстравагантные характеры» Талиесина. Все было теперь проще, обычнее и легче.

Вэс приезжал в Принстон четыре раза повидать дочь, когда она была еще совсем маленькая. Потом исчез с нашего горизонта на долгих шесть лет, без всяких объяснений. От его сестры я знала, что он жив и здоров. А потом он вдруг появился снова, когда Ольге было уже 10 лет, и они были оба молчаливы и застенчивы, как чужие. Вэс — не тип родителя по натуре, он никогда не знал, что делать с детьми, и сам признавался в этом. И, несмотря на артистизм Ольги, — она хорошо танцевала, пела, играла, рисовала — они не могли найти общего языка.

Мы жили, опять в моем старом белом доме на улице Вильсона, который, к несчастью, подвергся «улучшениям» за время моего недолгого отсутствия. Молодая пара, купившая мой дом (а позже, продавшая его мне же), пристроила гараж на две машины, и огромный балкон с сетками вместо окон — американский традиционный «порч». Все пропорции маленького дома были нарушены этими огромными добавлениями: но таковы были потребности молодой богатой семьи. В гараже они держали также большую моторную лодку, а над гаражом намеревались сделать «гостевые комнаты».

Когда я увидела все пристройки и «улучшения», возвратившись в Принстон (они были упомянуты в соглашении о купле, но я-то думала о своем старом доме), я ужаснулась: как легко, оказалось, можно испортить дом за столь короткое время! Мне так не терпелось возвратиться в мой «маленький милый дом», что я не спрашивала о деталях — почему так возросли налоги и цена?..

Но все-таки что-то осталось! Зеленый ковер в рабочей комнате был все тот же (положенный толстым декоратором) — теперь здесь разместилась Ольга со своими игрушками по полкам, которые когда-то служили книгам.

Прекрасная квадратная гостиная осталась неразрушенной — слава Богу! Молодые энтузиасты не тронули также спален наверху, — все те же простые белые обои — одна комната налево, другая направо…

Но более всего пострадал сад. Почему-то вырубили много деревьев, и открылись соседские дома, исчезла уединенность. С одной стороны появился отвратительный забор, где раньше только цветы и елки обозначали границу с соседом. И весь дом выглядел теперь однобоким из-за громадных пристроек, разрушивших очарование маленького строения.

Я выкрасила дом в темно-бордовый, «амбарный» цвет,

популярный в Америке, чтобы зрительно несколько уменьшить размеры построек. В гостиной положила наши ковры, сотканные индейцами Навахо — подарок Вэса Ольге. Все хозяйство переехало на большом грузовике «Бикенс» из Аризоны и прекрасно уместилось в дорогом мне старом доме. Теперь мы могли снова начать жизнь!

Старые соседи были все там же и старались изо всех сил помогать нам. Детский врач, живший через дорогу, чья жена была моей хорошей приятельницей, стал Олиным доктором на последовавшие десять лет. Две незамужние сестры стали неотъемлемой частью нашей жизни: они советовали мне по хозяйству, обожали Ольгу и проводили с нею множество часов бесплатно, для собственного удовольствия. Я обходилась теперь без садовника и научилась косить газон автокосилкой. И когда годом позже радио и газеты обсуждали наш конечный легальный развод, решенный судом Аризоны, я ходила по саду за своей косилкой, заглушая ее грохотом свои чувства и обиду. Косилка помогала во многих случаях. Все забывается, когда косишь газон.

По субботам вся наша улица Вильсона грохотала, все подстригали свои лужайки. Ольга тем временем сидела под деревом в манежике, а позже — в песочном ящике. Я купила ей затем металлические трапеции для лазанья и гордилась тем, что сама собрала сложный «агрегат». И маленькие качели были повешены на сук старой большой яблони.

По старой российской традиции я полагала, что надо рано начинать с иностранными языками — я начала мой немецкий в четыре года от роду. Но те дни с гувернантками и домашними учительницами ушли в прошлое: мои старшие дети сразу пошли в школу в Москве, как и все. Никакого выбора там нет: все идут только в государственную школу, с государственной программой, в государственные ясли и детские сады…

Совершенно естественно, что в моей новой жизни в мире свободного выбора я стремилась избежать всего государственного, всего, что контролируется правительством, и стремилась, прежде всего, к частным школам — благо я могла тогда платить за них. Вскоре пришлось отказаться от всякой мысли о гувернантке-француженке, так как это было доступно только очень богатым людям в Америке, а я не была в их числе. Но я не разделяла увлечения моих соседей общественными школами, «общественной ответственностью» и стремлением «получить все от общества» там, где это касалось детей. Я знала уже, что отдам Ольгу только в ту самую католическую школу Святого Сердца, которую я видела несколько лет тому назад в Принстоне. Пока она была еще мала для школы.

Как всякий американский ребенок, она проводила много часов перед телевизором, и детские программы были, действительно, очень хороши. Телевидение стало моим большим помощником. Такие программы, как «Соседи мистера Роджерса» и «Улица Сезаме» помогли Ольге стать, как все дети, и очень способствовали ее развитию. Это было как раз то, чего я так хотела! Я никогда не научила ее ни слову по-русски, пока мы жили в США и в Англии, и она чувствовала себя стопроцентной американкой, без эмигрантского «расщепления личности».

Английский алфавит она выучила при помощи телевидения, которое также проводило игры, снабжало ее смешными историями, учило элементарной вежливости и поведению, рассказывало о мире. На этой ранней ступени телевидение было нашим хорошим другом и учителем, еще не врагом! Это был лучший бебиситтер: иначе я не смогла бы отойти ни на минуту от ребенка. Постоянных нянек я твердо решила не нанимать, чтобы девочка росла со мною, и всегда помнила бы детство «с мамой», — то, чего не было у меня.

Образовательные программы для самых маленьких мы смотрели вместе, телевизор был в ее детской, она даже ела, глядя в телевизор — как все американские дети. По вечерам, когда она засыпала в своей спаленке наверху, я усаживалась, смотря допоздна старые классические фильмы Голливуда, или прекрасные работы английского Би-би-си. Это было все так непохоже на воспитание моих детей в Москве! Они проводили много времени с няней, которая могла в лучшем случае читать им вслух или играть с ними.

Ольга была куда более независимой и сильной с самого же начала, чем они. Прежде всего, она никогда не оставалась сидеть дома, и с ранних дней сопровождала меня повсюду. Вэс и я взяли ее в ресторан с нами, когда ей был всего месяц: она спокойно лежала на коленях у отца. Позже мы всегда брали ее с собой в ресторан «Спринг-Грин» — предмет гордости Вэса, участвовавшего в постройке этого здания, спроектированного Райтом. Тут она оставалась в своем пластмассовом «сиденье», поставленном на свободный стул. Она путешествовала самолетом и машиной и любила компанию чужих людей, всегда улыбавшихся ей. В супермаркетах она всегда была со мною, сидя на тележке для покупок — как это делают американские дети. Затем пришло телевидение, потом ясли и детский сад… Ее детство было куда интереснее и многообразнее, чем детство, например, моего сына, просидевшего все первые семь лет на даче со старой малограмотной нянькой.

В два с половиной года Ольга пошла в ясли при

пресвитерианской церкви в Принстоне. Матерям разрешалось помогать учителю, водить малышек в уборную — они все еще носили «памперс» — специальные бумажные пеленки, которые выбрасывались, а не стирались. Атмосфера американских ясель, лишенная какой бы то ни было дисциплины в ее первоначальной форме, была новостью для меня: но я понимала, что мне тоже надо переучиваться, если я хочу растить дочь по-американски.

В те годы нас нередко посещали в Принстоне тетка и дядюшка Оли — мистер и миссис Хайакава. Дядя Сэм (как его на самом деле звали) обожал Ольгу и называл ее «своей маленькой подружкой». Оба они отлично понимали, почему я оставила Талиесин, и заверяли меня, что Ольга и я «всегда останемся членами семьи», что бы ни случилось.

Группа дам из пресвитерианской церкви решила помочь нам в нашем устройстве в Принстоне. Раньше я никогда не сталкивалась с институтом «бебиситтеров», но теперь надо было привыкать к новым методам. Оказалось, что существовали агентства, где легко можно было получить студента или студентку на несколько часов для того, чтобы они посидели с ребенком в ваше отсутствие. За последовавшие десять лет в Принстоне через наш дом прошло колоссальное количество бебиситтеров, начиная от девочки двенадцати лет до пожилых дам на пенсии. Девочка была лучше всех, она была из католической многодетной семьи. Пожилые дамы были хуже всего — мне приходилось оставаться дома и помогать им… Мы с Ольгой просто боялись одной старой сварливой ирландки. Приходили студенты, хорошие и плохие; приходили развязные школьницы, курившие в детской и приводившие своих «мальчиков»; но только одна из всех наших бебиситтеров достойна специального рассказа.

* * *

Ее рекомендовали церковные дамы, так как она была слушательницей семинарии в Принстоне — то есть «надежный человек». Высокая, длинноногая, лет тридцати и в мини-юбке по моде тех дней. У нее были бархатные глаза, темные волосы, распущенные по плечам, и прекрасный голос. Она была профессиональной певицей, играла в оркестре на французском рожке, учительствовала недолго — но потом решила попробовать пойти в семинарию. Все пути открыты женщинам в пресвитерианской, довольно либеральной и модернизированной, церкви.

Придя к нам в первый раз, она честно созналась, что не любит детей, так как ей вечно приходилось сидеть с детьми ее сестры. Она была веселой, приветливой и охотно рассказывала мне о своей жизни. Вскоре она попросила разрешения привести с собою вечером своего кавалера, также студента семинарии, женатого человека. «Я узнаю нечто новое о семинариях! — подумала я. — Женатый священник — любовник?» — «О, он не обращает на это внимания. Он со мной», — сказала она с легкостью.

Однако я отвергла эту идею. Не в моем доме, пожалуйста. Она была, действительно, очень хороша собою и, по-видимому, новыми правилами семинаристам совсем не были запрещены земные наслаждения. Оказалось, — что совсем рассмешило меня — она была также очень хорошей проповедницей! Ее с удовольствием посылали читать проповеди по воскресеньям в различные церкви — для практики. Я любила ее болтовню и ее истории, и она привязалась ко мне.

Весной пришло время окончания ее занятий и ее рукоположение, как это называлось бы в православии. Ее тетка и мать приехали из Калифорнии, откуда она была родом, и она попросила меня поместить их в моем доме. Я согласилась, надеясь, что взамен они иногда посидят с Ольгой и дадут мне возможность выйти из дому. Однако дамы разъезжали в поисках местных достопримечательностей в Нью-Джерси, а я должна была их обслуживать дома и кормить.

Затем оказалось, что моя бебиситтерша приняла необыкновенное предложение, поступившее в семинарию от вооруженных сил США: поскольку женщин набирали теперь во флот, нужен был для них и священник-женщина во флоте. Это было впервые, первый опыт, но девушкам, служившим на морских базах радистками береговой службы, очевидно, нужна была «духовная помощь», совет, интимный разговор. И наша бебиситтерша согласилась стать первой такой женщиной-священником во флоте США! «Я люблю все новое, — сказала она. — Мне будут хорошо платить, и я стану известной».

«Паблисити» последовало в больших количествах, как только она дала официальное согласие. Ее внешний вид, однако, и в особенности ее мини-юбка, вызвали не совсем приятные отклики читателей — но это ничуть ее не смутило. По окончании она проследовала в Вашингтон для встречи с адмиралом и там ее произвели в лейтенанты. Затем она отправилась на морскую базу в Ньюпорте, в штате Род Айленд, где была школа морских священников, чтобы пройти там курс. И, наконец, она водворилась на морской базе флота во Флориде, постоянном

месте своей работы. Но это еще не вся история!

В Ньюпорт за нею последовал ее новый любовник, другой женатый священник, бросивший для нее семью, двух дочек и свой приход где-то в Пенсильвании. Он просто заявил, что «не может» существовать без нее. В Ньюпорте он жил неподалеку в мотеле, где она навещала его; она писала мне страстные письма о том, как счастлива с ним. Она также сообщила, что он получает развод и женится на ней — в чем я усомнилась. Однако — в пресвитерианской либеральной церкви никто против этого не возражал.

Они, действительно, поженились вскоре, и ректор Принстонской семинарии предоставил свой огромный сад и дом для большого приема в их честь… Никто не был ни удивлен, ни отвращен — за исключением, возможно, местных католиков, если бы они об этом знали. Она очень хотела, чтобы прием был в моем доме — «совсем по-семейному» — но я отказалась наотрез.

После свадьбы они оба уехали во Флориду, на место ее работы, где ее муж вскоре нашел себе должность «духовного советника» морякам…

* * *

В то одинокое, печальное десятилетие религия и церковь играли значительную роль в моей жизни: мне нужна была поддержка. Однако это не была русская церковь или греческое православие. Крещение Ольги в греческой церкви было выбрано ее отцом по его «архитектурным» соображениям, а не по религиозным. Мне казалось в то время, что протестантские церкви Америки стояли ближе к человеку и к его практическим, повседневным запросам и трудностям. Я писала уже давно, что не вижу непроходимых границ между различными религиями мира; тем более — внутри христианства. Теологи, конечно, могут меня осудить за «ересь», но в Америке в этом отношении существует полнейшая свобода и полная терпимость. Это было для меня новым, и этим я восхищалась.

Вскоре после нашего возвращения в Принстон на улицу Вильсона местный пастор — епископал зашел к нам поговорить и узнать, не нуждаемся ли мы в чем-либо. Наша история была ему известна. Он просто пригласил нас посетить его епископальную церковь, сказав при этом, что мы будем там желанными гостями, и что никто не будет требовать нашего обращения в новую деноминацию. Тем не менее причастие подавалось всем, кто присутствовал на литургии. Мне понравилась эта неформальная

свобода и христианская забота о других. Мне также нравились пасторы, выглядевшие, как нормальные люди, женатые и с детьми, и понимавшие все мелочи повседневной жизни. Без длинных ряс, без дремучих бород, без целования им руки, открытые для самой простой беседы.

И мы посещали епископальную церковь в Принстоне много лет с того самого дня. Ольга постепенно научилась гимнам и полюбила музыку и литургию. В ней была врожденная духовность, она любила бывать в различных церквях и всегда чувствовала себя хорошо и счастливо при службе. Мы так привыкли к церкви Всех Святых, к прекрасной музыке, к отличному хору, к теплым искренним прихожанам. Вокруг нас была там действительно любящая христианская семья. Несчастье со мною, однако, состоит в том, что я вижу Бога не только в церкви, и даже часто предпочитаю видеть Его не в церкви… Не церковная я по натуре. Но моя вера возрастала с каждым годом.

В англиканской церкви не было формализма, не было нетерпимости к иным, а было истинное братство и экуменизм. Я просто хотела, чтобы Ольга знала и любила Бога. Было бы странно тянуть ее к грекам и заставлять слушать службу на незнакомом языке; да то же самое и с русской церковью. С детства она знала, что есть разные церкви и разные виды служб, и привыкла к этому факту, развившему в ней позже большую терпимость. Церковь Всех Святых сыграла в ее воспитании большую роль. И я хотела, чтобы хоть один из моих детей был бы с детства обучен христианству, узнал бы с ранних лет о любви Бога и о поддержке, какую дает вера.

Когда она была совсем малышка, я брала ее с собой в церковь и потихоньку давала ей изюм и печенье, чтобы рот был занят и она не закричала бы. Позже она привыкла находиться в церкви Всех Святых и пела гимны по книжке вместе со мной. Ничего нет лучше, как это совместное пение, не хор — а вы сами участвуете, и это всегда глубоко трогает. В пасхальную неделю, в Вербное Воскресенье, в предрождественские недели мы были в церкви Всех Святых, и наши праздники в те годы ассоциировались с нею. Ректор ее, полный, веселый человек с голубыми глазами и маленькой бородкой, отец четырех детей, научил меня читать и изучать Библию на английском языке (в традиционной версии короля Джеймса). Как только «Отче Наш» на английском начал звучать натурально, я начала молиться по-английски. Мне ни разу не казалось, что это была «чуждая церковь». Скорее, подтвердилась старая истина, высказанная еще Махатмой Ганди: «Бог — один, но дорог к нему много и все они — истинны». Но я никогда, никогда не забывала молитвы Святому Духу, которой

научил меня крестивший меня в Москве о. Николай Голубцов; и этой молитвы я не находила нигде на английском языке. Она принадлежала только православию.

Я всегда чувствовала себя плохо, когда на меня начинали «нажимать» духовные пастыри, тянуть, тащить, подсказывать и обучать. Я знала глубоко в сердце, что мой Творец любит меня и помогает мне и что для этого совсем не всегда нужны церковь или поп.

Позже я стала серьезно изучать литературу христиан-сайентистов, потому что они очень помогли мне и моей дочери. Не всегда детский врач проявлял понимание. Так, Ольгу направили к логопеду, так как она еще совсем не говорила, а ей уже было два года.

У врача меня попросили заполнить анкету-вопросник. Как только врач начала читать, она переменилась в лице: родители ребенка были старыми; моя мать застрелилась; мой брат был алкоголик и умер от этого. Врач смотрела на Ольгу, и я видела, что ничего хорошего она не ожидала от этого ребенка… Очень осторожно она объяснила мне, что следует провести ряд исследований и тестов. «Мы должны проверить ее слух, возможно, она не слышит», — сказала врач.

Я пришла домой в слезах, представляя себе эти бесполезные тесты, которые быстро сделают ее больной и безнадежной. Безусловно, врач уже вообразила у Ольги ряд «врожденных» дефектов. Я побежала через улицу к соседке, практиковавшей лечение по методу христиан-сайентистов. Выслушав меня, она рассмеялась: «Конечно! Я давно говорила вам, что ничего хорошего врачи вам не предложат».

Потом она долго, спокойно объясняла мне, что ребенок, конечно, абсолютно здоров, но страхи и беспокойство матери могут отразиться в ее поведении, как в зеркале. Что ее скованность и нерешительность в разговоре — «она никак не начинает говорить» — по существу отражают состояние матери. Она абсолютно отбросила всякие упоминания о родичах и предках, как не относящиеся к делу, посоветовав мне никогда не верить этим предрассудкам — и это было для меня, как бальзам! Американцы только и говорят что о генах и наследственности, негативной, конечно.

Соседка дала мне «Науку и здоровье» — книгу Мэри Бейкер Эдди, а также другую специальную литературу, и я начала изучать все это. Вскоре я стала чувствовать себя куда более оптимистически, и постепенно возвратилась ко свойственному мне с детства оптимизму. Через несколько недель я воспряла духом, перестала замечать боли в области сердца, и они

исчезли… Атмосфера в доме расчистилась и улучшилась, мы обе были счастливее. И после некоторого времени моя дочка заговорила, как и все ее подружки, — ее нельзя было остановить!

Мы никогда больше не вспоминали о логопеде. Но другие родители могли ведь послушать ее, те, для кого слова доктора — закон! Как много несчастья и депрессии вносят врачи в жизнь своих пациентов этими ссылками на «наследственность» на «неизбежность», «неисправимость», повергая пациента в уныние, вместо того чтобы помочь ему! Здоровье никогда не улучшится в обстановке страхов и угнетенности.

Фактически, практикующие христиане-сайентисты являются отличными психологами, и их работа состоит в установлении оптимистического взгляда на жизнь. Мне они помогли превозмочь трудные времена одиночества, когда я чувствовала себя отвергнутой и обкраденной в моих самых лучших намерениях и чувствах. Это не было «болезнью». Любой пришелец в Америку, новый в здешней обстановке, чувствовал бы себя несчастным в подобном положении. И это было ясно каждому отзывчивому человеку, но часто — не врачам. Сайентисты помогают восстановить чувство радости жизни, внутреннее спокойствие и уверенность в себе; вы начинаете чувствовать, что вас любят, что вы — нужны другим, что вы способны, талантливы, что ваш выбор правилен, что вы можете многое и что вы «улучшаетесь с годами». Слово «старость» не существует для сайентистов. И, конечно, вместе с внутренней переменой к лучшему вы больше не чувствуете болезни. Основной тезис, что «все болезни начинаются с головы» — по существу является самым реалистическим подходом. Когда вы меняете ваше отношение, ваши эмоции и мысли с отрицательных на положительные, вы излечены.

«Благодарите за то, что вам дано!» — напоминали мне сайентисты, когда я жаловалась на мою теперешнюю унылую жизнь, по сравнению с первыми годами в Принстоне — все на той же улице Вильсона. «Помните все хорошее, что было, и благодарите беспрестанно за это!» — был их совет мне. И позже они помогли мне даже в еще большем несчастье…

В годы, последовавшие за разводом, живя одна с маленьким ребенком, я была, по существу, заточена в своем доме и кухне, когда единственным «выходом в люди» были поездки в супермаркет, в хозяйственный магазин, а единственным развлечением — телевизор. Когда Ольга засыпала, он и стакан джина с тоником сопровождали мои долгие вечера. Я привыкала к этой ежевечерней процедуре, постоянно увеличивая количество (и качество) джина и тоников. И вдруг я заметила, что веду себя

точно, как мой брат, которого алкоголизм разрушил к сорока годам. С ужасом я видела, что не могу остановиться.

Мой врач-терапевт сказал, что это — не алкоголизм, потому что я не начинала пить с самого утра. Это было небольшим утешением. Я себя просто ненавидела, делая именно то, что мне было всегда отвратительно в других.

Но когда я рассказала все практикам-сайентистам, они подошли к проблеме совсем с другой точки зрения. Они работали над восстановлением веры в себя, в жизнь, в хорошее здоровье. Они старались повернуть меня от огорчений к моим действительным достижениям: моим книгам, моим детям, друзьям, моим способностям…

Прошло время — по правде говоря, несколько лет, — пока я смогла исцелиться от неверия во что бы то ни было хорошее в моей жизни, зашедшей — как я думала — в тупик. Но это прошло, и прошла привычка к джину и тоникам. Сейчас я могу пить в компании, или не пить совсем — это меня не беспокоит больше. Но я больше не сижу одна за полночь со стаканом в руке, проклиная свою жизнь. Я люблю жизнь и наслаждаюсь ею.

* * *

Начиная с яслей Ольга проводила много времени вне дома, потому что я считала, что ей нужно общество детей ее возраста. Дома только нас двое да телевизор, и для некоторых детей этого достаточно. Но в Ольге чувствовалась энергия на троих, которой нужен был выход. Я просто не могла удовлетворить ее больше: она всегда любила большую компанию — лагерь, школу, где больше шума — там лучше!

В яслях пресвитерианской церкви учительница миссис Томас разговаривала с двухлетними так, как если бы они были уже в детсаду. Она давала им работать с красками, двигаться под музыку, карабкаться по трапециям и лестницам, возиться в песке. Я часто была матерью-помощницей и старалась изо всех сил удержать детей от падения, от попыток убежать через открытую дверь или от плача. Но весь день я только и слышала от учительницы: «Миссис Питерс! Оставьте их! Дайте им выразить себя!» — что включало падение и разбивание носов и громкий плач… Мои попытки защитить их только раздражали ее. «Миссис Питерс! — снова слышала я, — у нас не следят за детьми подобным образом! Мы даем им привыкать к шишкам! Оставьте их!»

Я считала, что она третировала меня с садизмом. Другие

матери все были вдвое меня моложе. Она никогда не разговаривала со мной после рабочего дня, и однажды, когда я встретила ее на обеде у друзей, — она отвернулась, сделав вид, что не знает меня. Но Ольга многому научилась в этих яслях.

Мы также собрали группу соседских детей, и они играли вместе — по очереди в каждом доме. Я старалась узнать больше от этих молодых матерей, — одна из них, японка, была отличной матерью и хозяйкой. Но иногда я сомневалась, правильно ли все это было. В Азии — в Индии — ребенок — это часть матери, он долго остается вместе с нею. Эта тесная связь с матерью служит ему психологической защитой и во взрослом возрасте. В Японии и в Китае мать — почти священная фигура в жизни ребенка; и, уже став взрослым, человек относится с глубоким уважением к матери. Мне не нравилось это современное западное отделение старших от их внуков — это нехорошо для обоих. Я жалела до слез всех этих несчастных бабушек и дедушек, запертых в домах престарелых.

Однажды мы поехали навестить старую тетушку Вэса в доме престарелых в Медоулейксе, недалеко от Принстона. Сердце разрывалось при виде десятков рук, протянувшихся к моей трехлетней Ольге в столовой — только, чтобы тронуть ее! И она пошла от стола к столу, улыбаясь всем, давая себя потрогать и погладить, как будто девочка знала, как она была им нужна.

И чего я совершенно не могла понять, это желания уже взрослых сыновей и дочерей отделаться от родителей, убрать их с дороги в дом престарелых, — даже когда имелось достаточно места и денег, чтобы предоставить им теплую атмосферу дома. Я поистине предпочитала в этом вопросе законы Азии по отношению к детям и старикам: спокойное поведение с детьми и глубокое уважение к старости.

В три года Ольга была готова начать занятия в дошкольной группе католической школы Святого Сердца — той самой, прекрасное современное здание которой я давно приметила. Теперь я пошла поговорить с директрисой.

Сестра Джудит Гарсон была молода, хороша собой, необычайно внимательна и тепла. Она училась в Гарварде и Колумбийском университете в Нью-Йорке, но вдруг почувствовала «зов» вступить в орден Святого Сердца Иисусова, занимавшегося обучением девочек.

Школу в Принстоне построил известный французский архитектор Лабаттю, а самая идея создания таковой школы в Принстоне принадлежала известному католическому теологу Жаку Маритэну. Открывшаяся в 1863 году, школа должна была бы носить его имя, но так как он был тогда еще жив, этого нельзя

было сделать — не полагалось присваивать имен живущих. И школе присвоили имя шотландской монахини и педагога Джанет Стюарт. Вскоре Маритэн умер, а потом и его жена, оставившая школе свою прекрасную библиотеку. Обоих их считают основателями этой школы.

Директриса сестра Гарсон повела меня по классам, рассказывая о принципах католического образования: вырастить девочек сильными, добрыми, радостными, отзывчивыми к нуждам других. Сюда принимали детей всех рас и национальностей, а также всех деноминаций. Любовь была основным краеугольным камнем всего. Я слушала ее с вниманием, радуясь реальной возможности отдать мою дочь в христианскую школу. Как непохоже все здесь было на государственные школы, которые я знала до тех пор. И больше никаких иных не было в СССР! Я чувствовала, что мне бесконечно повезло, раз я имею такую возможность.

Моим глубоким, искренним желанием всегда было, чтобы Ольга училась здесь от начала до конца и получила бы хорошую подготовку к американскому колледжу. Девочек из школы Стюарт принимали во все лучшие университеты Америки. Но это было дорогим удовольствием, а ведение финансовых дел никогда не было моим талантом.

В СССР деньги имеют мало значения, и почти все вырастают, не зная, как «делать деньги». Здесь же мне нужно было заниматься домом, держать его в порядке, следить за садом, ремонтом, моя дочь училась в дорогой частной школе; у меня была машина; и мои финансовые дела были сильно подорваны нашим браком. Хуже всего было то, что все полагали, что у меня где-то припрятаны миллионы. Никто не хотел слушать о моих трудностях или дать хороший практический совет! Я только и слышала о том, как «меньше платить налогов» — что меня лично совсем не беспокоило: это была болезнь богатых американцев, их вечный нескончаемый разговор. Но все верили, что, по всей вероятности, я принадлежала к богачам Принстона. На самом же деле я жила в те годы на умеренный доход среднего класса. Таков результат «паблисити»: раз вас объявили миллионершей, это останется за вами навеки! Только мой банк знал истинное положение вещей, но и банк в Принстоне полагал, что «где-то было много еще» и что, несомненно, «кто-то занимается» моими финансовыми делами. Никто ими не занимался, и я часто приходила в панику, видя, что не могу оплачивать ежемесячные счета: это были годы, когда началась инфляция. «Так возьмите заем! — говорили мне, — а проценты можно вычесть из налогов!»

Как мне теперь ясно, что-то было неверно с моей программой

вкладов капитала. Нужно было бы это пересмотреть, так чтобы вклады приносили бы больше доходов, ежемесячных прибылей. Но моему банку не было до этого никакого дела, и у меня накопилось более 30.000 долларов займов… И я тогда решила, что надо продать мой дом, выплатить банку все эти займы, взять Ольгу из дорогостоящей школы и уехать в Калифорнию. Исаак Дон-Левин все время писал мне, как там легко и дешево жить.

Именно это я и сделала в 1976 году, после четырех тихих лет в Принстоне, где я так любила мой дом на улице Вильсона, а Ольга так успевала в отличной школе… Я просто не видела иного выхода! И никто не понимал моих реальных трудностей, все воображали какие-то сложные, дурацкие «причины»… И большой грузовик «Бикенс» забрал все наше хозяйство и направился теперь в Калифорнию. Тысячи семей проделывали то же самое, переезжая из холодных штатов в «солнечный пояс», где жить будет дешевле. Так писали в те дни в газетах. У меня не было друзей, кто мог бы дать мне действительно хороший практический совет в данных обстоятельствах; все мои друзья были богаты, жили очень хорошо, а я не любила жаловаться. Они все равно не поняли бы меня и не поверили бы. Какая-то дурацкая гордость не позволяла мне просить помощи. Я предпочла собраться и уехать.

В моем понимании ужасны были эти «займы» и долги — и я предпочла расстаться с моим домом и выплатить их, чем сидеть здесь, чувствуя, что я не могу оплачивать все возрастающие счета и брать все новые займы у моего же банка — который, в конце концов, мог бы и обязан был предложить мне совет получше…

* * *

В Калифорнии Дон-Левин взялся за дело с засученными рукавами. Мы были, как в совершенно иной стране: разница между Калифорнией и Нью-Джерси была поразительная! Мы сняли дом, распаковались и стали искать школу. Так как в школе Стюарт образование дошкольников велось по системе Марии Монтессори, я решила отдать Ольгу здесь в местную школу системы Монтессори, чтобы она не слишком почувствовала разницу. Ольга приспосабливалась на новом месте легко и быстро нашла себе подружек. Я же была не столь легко пересаживаема на иную почву.

Мне бесконечно нравилось в Калифорнии. Темно-синий Тихий океан напоминал мне по цвету любимое Черное море. Сосны, олеандры, эвкалипты также напоминали мне о такой же

растительности курортных мест на Черном море, где я проводила в детстве каждое лето. Такое же голубое небо, такой же легкий воздух, такое же слепящее солнце…

Вдруг нахлынула ностальгия, которой я никогда не чувствовала на Восточном берегу — там все было иным, никаких воспоминаний. Я не знала, что делать с этим новым печальным чувством. Но мне так нравилось здесь! Аромат эвкалиптовых листьев, высушенных солнцем, мешался с ароматом апельсиновых рощ, с запахом сосновых иголок. Закат наступал быстро, и океан становился темно-синим, потом лиловым, потом темно-фиолетовым, совсем, как закаты на Черном море. Я отвозила Ольгу рано утром в школу, потом — останавливала машину возле галечного пляжа, подолгу смотрела на набегавшие волны и забывала, где я…

Безграничный, бесконечный Тихий океан не похож ни на какой иной океан. У него свои, космические размеры; вы знаете, что он простирается на полглобуса, и вы чувствуете это, входя в воду…

Маленькие прелестные городки по берегу — Леокадия, Дель-Мар, Энсинитас, Карлсбад были старомодными, уютными. Новостройки еще не поглотили окончательно эти места, но уже надвигались на них со всех сторон. Население прибавлялось в Калифорнии, и повсюду, как поганые грибы после дождя, возникали в мгновение ока огромные супермаркеты с асфальтовыми площадями для автомобилей возле них.

Я надеялась, что в Калифорнии мне будет легче с моим хозяйством, но я не умела экономить — по-американски, прожив столько лет в роскошном Принстоне: как растянуть то, что мы все еще имели в те годы. Каждый переезд поглощал много денег. Экономнее всего, конечно, жить на одном месте сорок лет… Но в Америке часто переезжают с места на место, и мне вечно советовал кто-нибудь снова переехать — «туда, где дешевле». Вспоминая, как просто, по-пуритански мы жили с двумя детьми в Москве, я часто содрогалась от того, как мы жили теперь, от всей ненужности вещей, окружавших нас. По сравнению с Россией, Индией, Европой американский дом наполнен ненужной ерундой и ненужным количеством одежды. А игрушки для детей! С самого раннего возраста прививается жадность к неограниченному приобретательству. Меня всегда ужасали детские комнаты Олиных подруг, какой беспорядок, сколько всего просто валяется на полу… Я старалась покупать лишь необходимое, но «необходимым» в Америке считают количество, которого хватило бы на несколько семей в других странах. Моя приятельница-француженка в Принстоне, прожив двадцать пять лет в Америке,

все еще не могла привыкнуть к расточительству американского образа жизни. Здесь же в теплом климате, я положительно решила отделаться от ненужного и мешками раздавала наши вещи через всевозможные благотворительные организации и церковные сборы.

Возвратившись в Принстон «матерью-одиночкой», я обнаружила, что разведенная женщина не пользуется симпатией в этом обществе. Дважды пройдя через развод в Советском Союзе, я никогда не чувствовала там какой-либо унизительности моего положения. Но здесь я поняла, что являюсь «грешницей» во всеобщем понимании; меня уже не приглашали в те дома, где я была столь хорошо принимаема до моего брака и развода. Несправедливость этого была обидна, и здесь, в Калифорнии, я надеялась, что Олины родичи Хайакава окажут нам поддержку — помогут найти хороших друзей. Но профессор Хайакава был теперь по уши в политике.

После тридцати лет активности в демократической партии он перешел теперь к республиканцам, и они уговорили его немедленно же баллотироваться в сенат. Прекрасный оратор, высокоинтеллигентный профессор семантики, Дон (как его звали дома, а официально — Сэмюэль Ишии) теперь разъезжал по штату с речами, а его семья молилась, по секрету, чтобы он не прошел в сенат. Потому что такой исход означал бы полнейшую перемену жизни для всех в его семье. К всеобщему удивлению, он выиграл первоначальные выборы, а потом прошел в сенат, правда, очень незначительным числом голосов. Его жена — Олина тетя Мардж — отказалась жить в Вашингтоне и исполнять роль «политической» хозяйки в доме сенатора; устраивать бесконечные коктейли, во время которых решаются политические вопросы. Ботаник и садовод по образованию, она осталась в Калифорнии редактировать свой «Ботанический журнал», изучать высокогорные мхи (ее специальность) и продолжать свою жизнь, как и прежде. В Вашингтон она приезжала только в абсолютно необходимых случаях, когда нужно было идти вместе с мужем в Белый дом. Она долго не могла привыкнуть к своему положению жены сенатора и только после ухода Хайакава на пенсию наконец научилась пользоваться благами, предоставленными и ей. И теперь, с большим опозданием, вдруг утратила свою приятную, простую манеру поведения… Так мы потеряли легко доступных родственников, ибо у них было в то время слишком много своих собственных проблем.

Тем временем я решила, что настало время вновь обратиться к моей работе: писать. Мне хотелось писать теперь по-английски, и, чтобы профессионально практиковаться в этом, я поступила в

заочную школу, организованную, как и многие другие образовательные программы в Америке. «Учитесь писать для детей» — назывался мой курс, его центр был в Коннектикуте. Преподаватели школы — писатели и редакторы с большим профессиональным стажем, обучали всех, кто захочет попробовать себя на этом поприще: от писателей, никогда не писавших для детей, до домохозяек. Школа присылала литературу, лекции и задания, которые я должна была выполнять и отсылать обратно. Они возвращали мне мои страницы, испещренные красным карандашом редактора с пометками и объяснениями.

Я была так рада погрузиться в эту работу! У меня было столько неприятностей с переводчиками моих первых двух книг, написанных по-русски… Теперь я с вдохновением принялась за выполнение этих заданий.

Вскоре выяснилось, что, безусловно, мои учителя хотели создания вымышленных рассказов о том, «чего никогда не было», фантазий и сказок. Я же всегда могла только описывать «то, что было», писать, как пишут корреспонденты, — оставаясь верной во всех деталях реальным событиям.

Так, например, я написала интересный репортаж о школе для плавания, куда ходила Ольга, о замечательных учителях, пускавших в бассейн огромного черного кота, по имени Мозес. Когда Мозес, прижав уши, переплывал бассейн вдоль и поперек, маленькие дети не боялись пускаться в воду — это было забавно для всех! Родители проводили часы вместе с детьми, наблюдая весь процесс обучения, — это было чудесное маленькое частное заведение, которое вели две подруги. И я написала об этом «истинную историю», озаглавленную «Следуя за Мозесом». Это было неплохо.

Но затем пришло задание: трансформировать рассказ, придумать несуществовавший характер, действующее лицо, изобрести интригу вокруг этого характера и дать ход воображению, чтобы создать рассказ о несуществовавших событиях. И тут я стала в тупик. Мне было неинтересно изобретать и выдумывать. Мне всегда казалось, что правда куда интереснее всех выдумок. Почему надо отправляться на поиски несуществующего?.. Но я выполнила задание, изобрела некую девочку, и все это оказалось неубедительным и неинтересным. Я убедилась воочию, что мне надо писать только так, как я это вижу — то есть в духе репортажа. Так, как я и писала мои две книги: как рассказы о том, «что было», без прибавлений. На этом мое вдохновение покинуло меня, и я оставила всякие попытки писать «для детей». Возможно, что мы не поняли друг друга в этой

переписке; но мне определенно не хотелось «изобретать» рассказы для детей. Очевидно, думала я, надо писать только для взрослых, потому что они понимают все как есть…

Я чувствовала, что в какой-то момент я снова начну писать — может быть, продолжать мои первые книги — и опять в том же плане: описывая реальную жизнь такой, какой она представала передо мной, безо всяких выдуманных интриг. Может быть, я даже напишу сценарий для кино — моя мечта с давних лет… Но время для такой работы еще не настало. Когда-нибудь я снова напишу о том, что происходило со времени того особого года 1967, на котором закончилось повествование моей второй книги…

Но все это были лишь мечты. В действительности я отвозила дочку в школу, покупала продукты и вела хозяйство. В Калифорнии мы купили маленький деревянный домик, построенный когда-то парой путешественников по всему свету, спроектировавшей этот дом в псевдояпонском стиле: в виде перевернутой буквы «П» с маленьким садиком и ручейком посредине и с бассейном в форме фасоли, закрывавшем вход в это перевернутое «П». Они даже посадили бамбук для общего впечатления и оставили каменного Будду возле ручейка… Для Принстона это все было бы неслыханной вычурностью но Калифорния — удивительная экзотическая страна, где все выглядит натуральным.

Я купила этот дом у водителя больших грузовиков и его жены, дом был оценен необычно дешево. Два огромных грузовика стояли возле дома, и соседи очень желали отделаться от них, так как они «портили вид». Поэтому агент по продаже недвижимости и привела меня сюда! (Эти агенты по существу и решают, где вам надлежит поселиться.) На стене у молодой пары висело мотто: «Господь дает, дядя Сэм берет», — это насчет налогов.

Им не терпелось уехать на север, где были шахты и где они могли работать. Мы быстро заключили сделку к общему удовольствию. Молодая пара была приятной, но девственно несведущей о существовании внешнего мира, вне Калифорнии… Уровень их жизни показался бы советскому водителю грузовиков неслыханной роскошью. По существу же они представляли собою так называемый «нижний слой среднего класса» американской социальной лестницы. Они были радушными и добрыми и дали нам адрес детской школы плавания для Ольги — где и подвизался черный кот Мозес.

И только там с помощью терпеливых усилий Джуди и Джин, пловчих-педагогов, Ольга наконец отделалась от страха воды, полученного при памятном греческом крещении: троекратном

окунании в воду. С тех пор Ольга — отличный пловец, и мы всегда вспоминаем с нею Джуди, Джин и кота. По выходе из воды его обычно завертывали в роскошное красное полотенце и уносили куда-то в его покои, и он презирал нас, глядя мимо всех огромными зелеными глазами. Это был роскошный персидский кот, с длинной шелковистой шерстью, и Джуди хранила секрет — как удалось ей обучить кота плаванию…

Мы прожили в нашем «японском домике» более года и очень любили его. Это было приятное, легкое время для нас в Калифорнии, Мы встретили хороших друзей, в особенности — пожилую пару итальянцев — Розу и Майкла Джиансиракуза, которые «удочерили» нас с Ольгой и, сами бездетные, наслаждались этой дружбой, так же, как и мы. Но наиболее ярким характером из всех, кого мы там встретили, была, конечно, Фрэнсис. Это была вдова сына Райта — Джона, а потому она тоже была миссис Райт, — но ее никак не следует путать со «старшей миссис Райт», о которой уже шла речь в предыдущей главе…

Фрэнсис Райт была совершенно иным типом человека. И ее истории о Товариществе Талиесин, которое она знала со дня основания, — и о самом Райте — были совсем иными. Она любила старика Райта и вспоминала о нем с теплотой. Но Товарищество она называла не иначе, как «жалкой группкой, висевшей на шее у гения архитектуры, который должен был кормить 50 ртов!» Ольгиванну она называла «жалкой женщиной, искавшей самоутверждения», а моего бывшего мужа — «несчастным слабаком». Таковы были ее бескомпромиссные определения с высоты ее восьмидесяти лет, ее жизни с мужем-архитектором и с высоты ее знания американского общества и искусства. Я получила от нее милое письмо, когда покинула Талиесин, и она выражала надежду, что мы когда-нибудь встретимся. И вот — день настал!

Она была крошечного роста, как маленькая взъерошенная, беспокойная птичка, почти бесплотная, но с громадной силой духа, и эта сила заставляла других подчиняться ее очарованию беспрекословно. Ее голос был сильным, громким, она отчетливо выговаривала слоги — «актерская школа!» В молодости она была актрисой. Но еще более чем театр, искусство, ее занимало целение, врачевание других. Она хорошо знала, что может помочь — и помогала!

После недолгого времени в театре, еще совсем молодой она вышла замуж за практикующего христианина-сайентиста, и вскоре сама сделалась практиком-целителем. Затем Джон Ллойд Райт был нанят, чтобы построить для них дом возле Чикаго, и она влюбилась в архитектора. Они прожили долгую, неспокойную

жизнь, полную взлетов успеха и падений в бездну бедности, и теперь она была вдовой. Ее уникальный дом был построен Джоном Райтом в значительной степени в стиле его отца и был наполнен изделиями и коврами работы индейцев Навахо, а также картинами, выполненными самой Фрэнсис. Ширмы в духе раннего модернизма, работы Джона, китайский гонг, вышивки, растения — вся та смесь экстравагантного и экзотического, которая уже была мне знакома по жизни в Талиесине. И посреди всего этого — сама Фрэнсис, как некая неземная птица, в всклокоченном седом парике, с обильно подведенными огромными серыми глазами, увешанная драгоценностями собственного рисунка, в хорошо сшитом дорогом «брючном костюме» — олицетворение артистической Калифорнии.

Она жила одна и, хотя часто болела, не позволяла родственникам разделить с ней большой дом, наполненный изделиями искусства и — «тенями прошлого», как говаривала она. «Я наслаждаюсь моей собственной компанией!» — говорила Фрэнсис, четко произнося каждый слог.

Однако ее посещали многие, искавшие ее помощи, ее совета, ее разговора в духе христианской науки — который так помогал многим, особенно в несчастьях личного характера, в депрессии, страхах и прочих психологических вывертах, полученных в обществе, полном материального довольства. Фрэнсис давно уже оставила Церковь христиан-сайентистов, так как утверждала, что «не любит жить в смирительной рубахе». Но она продолжала помогать другим, любила слушать о несчастьях и главным в ее понимании было: «Освободить людей от их страхов!» — так как от внутренних, скрытых страхов начинаются все внешние проявления болезней и несчастий. И когда ей удавалось «спасти» своих пациентов, — открыть им глаза на подоплеку их собственной слабости, — она была счастлива. «Я знаю, как пахнет страх!» — говорила Фрэнсис. «Еще пока они ничего мне не говорят, — я знаю: этот человек охвачен страхом! Это ужасно».

Она подолгу говорила со мною, стараясь освободить меня от памяти о Вэсе. Я любила его, никак не могла забыть, и она понимала это и хотела разбить эти цепи. «Вы должны позабыть все, что было там, у этих жалких людей, и наслаждаться своей собственной жизнью!» — настаивала она. Я понимала ее умом, но мне потребовались долгие годы, чтобы действительно освободиться от оков любви. Ее уже не было тогда в живых, но я всегда люблю ее память и ее усилия помочь.

Фрэнсис оказала мне необычайное гостеприимство, разрешив мне спать наверху, в комнатах, принадлежавших ее мужу. На следующий день я готовила для нее мой любимый грузинский суп

из курицы под белым соусом (чихиртму), и она была очень довольна. Она курила не переставая длинные сигареты, и я задыхалась в доме с замурованными окнами и кондиционером — по-американски… Но ничего не говорила ей. Потом она попросила меня прочесть ей вслух страницы воспоминаний, написанные другом и учеником ее мужа — о ее молодых годах с Джоном Райтом. Я читала, Фрэнсис внимательно слушала — как бы со стороны — и вдруг разразилась слезами, сама удивившись этому… Я была подавлена такой привилегией — так близко увидеть ее внутреннее состояние.

Я уставала от долгого общения с этой необычной, столь талантливой душой. Но — она никогда не подавляла меня, как это было в присутствии миссис Фрэнк Ллойд Райт-старшей. Фрэнсис была светлой душой, веселой и остроумной, любила шутку и никогда не угнетала, а только стремилась помочь.

У нас был с ней один весьма общий интерес: книги и личность индийского философа Кришнамурти. Она посещала его беседы в Калифорнии, а я позже встретилась с ним в Англии.

…Когда через год мы уехали обратно на Восток, в Принстон, Фрэнсис писала мне свои вдохновенные, «освободительные» письма. Она писала точно так же как и говорила:

… «У каждого человека есть право на свои собственные идеалы, до той поры, когда он не пожелает переменить их… Всегда берите хорошее там, где вы его находите, дорогая… Оставайтесь с вашим идеалом, пока он удовлетворяет вас и выполняет свою функцию идеала. Оставайтесь всегда в атмосфере, которая вас возвышает и обнадеживает: просите поддержки у Бога. Зачем позволять явлениям низшего порядка вас огорчать? Отпустите их. Дайте им уйти, не держитесь за них».

… «В возвышении над другими людьми нет ничего благородного. Благородство состоит в возвышении над нашим собственным эгоизмом». Это был ее последний совет.

Когда пришла весть о ее смерти, я ужасно жалела, что не проводила с нею гораздо больше времени, когда это было так легко и возможно, жалела о том, что я не узнала больше от нее. Я очень нуждалась в поддержке таких сильных женщин, как Фрэнсис. Возможно, она научила бы и меня, как стать борцом и победителем. Она сражалась всю свою жизнь. Выйдя из бедных кварталов европейских эмигрантов в Чикаго, она ставила себе цели, достигала их и двигалась дальше… Она была яркой представительницей американской философии успеха и искренне желала помочь другим достигнуть того же.

* * *

Это именно благодаря моему нежеланию и незаинтересованности в борьбе, в успехе, в самолюбивом движении вверх, — я оказалась совсем в противоположном направлении. И медленно погружалась все глубже с годами, последовавшими за разводом, в какую-то безнадежность. В Америке надо поставить себе цель и делать все возможные — и невозможные — усилия, чтобы достигнуть этой цели. Я же приехала сюда в 1967 году с одной целью: как бы мне жить тихо. Принимая во внимание все обстоятельства, это было недостижимой целью. «Знаменитая перебежчица», вся пресса и телевидение и издание моих двух книг всего лишь в два года… Какой уж тут покой! Но к концу тех двух первых лет я обосновалась в Принстоне для спокойной жизни и работы писателя, и, возможно, это и было бы началом новой, продуктивной и успешной жизни.

Однако Ольгиванна Райт запланировала выдать меня замуж за своего архитектора, и, потому что она была сведуща в методах достижения желаемого, — она и получила свое желаемое (хотя и ненадолго). Но она — и вся история с браком подорвали меня надолго. Я потеряла физическое и эмоциональное равновесие: третий ребенок в 45 лет и постоянный внутренний конфликт и сражение с обществом, в которое я попала в Талиесине, могли свалить и куда более сильную натуру. Мои финансы были подорваны, а новых поступлений не было и не предвиделось. Я не писала больше книг, а моему издателю не казалось нужным переиздать мои первые две широко известные книги.

Поэтому я просто не знала, как мне быть, чтобы вернуться к нашей прежней оседлой жизни в Принстоне, когда Ольга училась в лучшей школе в городе и мы были защищены от публики в своем доме. Очень возможно, что с моим «доходом среднего класса» я все еще могла бы возобновить все это, но я не знала как, а все мои советчики были больше сплетниками, любившими послушать мои новости, или очень богатыми людьми, не понимавшими моих трудностей. Я просто была «непрактичной интеллигенткой» — как сказали бы в Москве, и в Москве это качество вызвало бы только симпатию ко мне. Но не в Америке!

Поэтому, вместо того чтобы сделать все возможное и найти пути обосноваться снова в Принстоне, я, с ужасом видя цифры и несоответствие цен и возможностей, стремилась куда-нибудь вон из Принстона, чтобы «жить по карману». Мне было отвратительно все время тянуться за принстонскими богачами, зная, что это совсем не по средствам нам. (Все эти попытки окончились отъездом в Англию в 1982 году, а это начинание совсем уж было обречено на провал, как я вижу это теперь…) Но советников было

много, а хороших деловых практических советов — никаких.

Только один человек в Принстоне неуклонно, постоянно настаивал год за годом, несмотря на все наши приезды и отъезды, что «Принстон — это наилучшее в США место для вашего роста и для воспитания вашей дочери». Это был наш старый друг, священник епископальной церкви Всех Святых. Он призывал меня — даже не пускаясь в детали и причины — «верить, что здесь для вас — самое лучшее место на земле», держать Ольгу в католической школе Святого Сердца и ничего не менять, поскольку уже выяснилось, что наш переезд в Калифорнию был провалом… Он, безусловно, был прав — как я вижу это теперь — и он говорил, исходя не из практических подсчетов, а руководствуясь своей духовной проницательностью и интуицией. Меня притягивала его постоянная настойчивость, с какой он утверждал одно и то же вот уже много лет… Но, Бог мой! Сколько еще всяких разных мнений мне приходилось выслушивать, и также от весьма авторитетных лиц!

И поскольку в Америке никто не запрещает вам свободно передвигаться, переезжать из города в город и из штата в штат со всеми удобствами, предоставляемыми вам компаниями по переезду и сохранению имущества, мне казалось столь заманчивым «попробовать» еще где-то, а не сидеть сиднем в одном городе. Это в СССР так все живут — раз уж поселился, то это навеки, потому что переезд сопряжен с неимоверными практическими трудностями. «Так почему бы мне здесь не попробовать что-то еще, где-то еще?» — заманчиво жужжало в голове.

Эти переезды, эти перемены подрывали еще больше и больше наши слабые финансы и создавали настроение неустойчивости.

Какая-то злоба, самобичевание и «эскапизм» одолевали меня в те годы — чего никогда не было раньше, даже и в Америке. У меня действительно был «сломан хребет», как казалось мне. Но если вы стремитесь уйти от всех и от всего и зализывать ваши раны в тиши, то в Америке — вы обречены. Здесь так не делают. Здесь целиком полагаются на улыбку, на компанию друзей, на встречи, обеды, ленчи, где вы и узнаете о новых возможностях, встречаете людей и «показываете себя» только с лучшей стороны: то есть, никогда не хныкая и не жалуясь и предлагая свои услуги в самом оптимистическом тоне. Американцы не выносят хныканья, — тогда как в России мы любим жаловаться, уткнувшись в плечо друга, и это даже хорошо… В России никто не любит преуспевающих, гордых собою, агрессивно идущих напролом и постоянно улыбающихся… Уж это совсем считается глупым!

Теперь некоторые мои старые друзья пытались помочь мне «выйти снова в свет», встретиться с интересными людьми. Польский писатель, перебежчик, как и я, пригласил меня в Нью-Йорк на подобную встречу. Мой бывший адвокат, теперь просто хороший знакомый, пригласил меня на многолюдный обед в его доме в Манхэттене. Все литературные знаменитости (многие из них — его клиенты) были там, и это было занятно. Но я уставала от подобных мероприятий. Мне казалось все это, признаться, тратой времени…

Сестра моего переводчика Павла Александровича Чавчавадзе, жившая в Англии, предложила, чтобы я «выписала себе шотландскую няню» — молодую девушку из Англии, где это принято. Молодые девушки с удовольствием едут в Америку заработать деньги, живут в семье, помогают всем, чем могут, и очень хороши с детьми. Я могла бы тогда иметь куда больше времени для себя. Весь мир полагал, что я жила, окруженная прислугой, шоферами, поварами и гувернантками… На самом же деле я сочла даже такую практическую необходимость невозможной роскошью и отказалась наотрез. К тому же я не хотела, чтобы кто-то чужой стал между мною и моей дочерью, — как это было всегда в моем собственном детстве.

Я хотела быть действительно хорошей матерью моему ребенку, целиком посвятить себя ей, и погрузиться в эту работу без оглядки. В моем все еще советском воспитании «выписать няню из Шотландии» было чем-то сверхестественным, и мне было бы потом всю жизнь стыдно за себя… Чавчавадзе, наоборот, были старыми аристократами, и для них эта идея казалась вполне нормальной и практичной. «Ну, я — не из аристократии!» — сказала я сама себе, и отказалась слушать хороший совет и уверения, что в шотландских нянях и их услугах не было ничего снобистского.

Принстонские дамы, которые любили приглашать меня в свои гостиные напоказ гостям, не любили слушать о трудностях жизни. Сами они были либо богатые вдовы, живущие на большой доход (как и я жила до своего американского замужества), либо жены влиятельных лиц — от профессоров университета и попечителей крупных корпораций до дипломатов в отставке. Принстон который я знала, был совсем не университетским городом, а местом высокой концентрации именитых людей, влиятельных лиц и богачей. Почему-то всем казалось, что это «самое подходящее место» и для меня, и подобные уверения только раздражали меня еще больше. Мне хотелось идти своим путем, не слушать советов и делать так, как я хочу: не за этим ли я перебежала в этот мир свободного выбора?..

Моим путем, однако, в данной обстановке, было не делать никаких особых усилий, ничего не менять и плыть по течению. Последнего требовала моя глубокая усталость — чего я никогда не ощущала в прежние годы.

И громадной поддержкой, моральной силой, на которую я могла положиться в те годы стала для меня религия, моя вера. Это был все тот же экуменизм, с большой симпатией к католикам, к епископалам, а также к христианам-сайентистам; но теперь церковь в воскресенье стала моей необходимостью. Поистине — любая церковь. Такая, которая могла бы в наибольшей степени удовлетворить нужду душевного покоя, веры в свои силы и веры в моего Создателя — любящего, защищающего и все понимающего. Кто-то там, в небесах, должен был существовать и следить, чтобы я окончательно не погибла в лабиринтах свободы. Я в это глубоко верила.

* * *

Теперь я была куда более заинтересована в людях веры, чем в интеллигентах-агностиках, которых, конечно, было великое множество в университетском Принстоне. Я чувствовала, что потерять веру в Бога, будет для меня равносильно смерти; что это принесет неминуемое разрушение всего и вся. И потому в своем экуменизме я умудрялась примирить все виды веры — даже таких двух закоренелых врагов, как католиков и христиан-сайентистов. Теология не имела значения для меня: я искала поддержки слабому человеку. А эти обе ветви христианства активно помогали человеку.

В Калифорнии, после Фрэнсис Райт, лучшими нашими друзьями оказалась пожилая пара итальянцев: Роза — бывшая армейская медсестра — и ее муж Майкл — бывший францисканский монах в Италии, вышедший из ордена и переехавший жить в Америку. История их жизни достойна была хорошего сценария и фильма. Им было уже под семьдесят.

Роза, уроженка Нью-Джерси, овдовев, решила найти себе хорошего мужа «для последних лет жизни» из итальянцев — и приехала для этих поисков в Калифорнию. Майкл после многих лет монашества в Италии решил, что обет безбрачия противоречит учению Христа. Поэтому он уехал искать религиозную свободу в Америке.

Он считал, что брак есть нормальная и законная потребность человека, и желал найти себе невесту — он уже был в годах.

Они встретились в Калифорнии, где недалеко от города

Кармель он преподавал латынь в местных школах. Им было уже за пятьдесят, когда они встретились, и они сразу поняли, что «нашли» то, что искали. Я не видела более нежной пары, более внимательных друг к другу людей. Они немедленно приняли нас с пятилетней Ольгой «в свою семью», которая состояла из них да маленькой, дрожащей от ярости собачки, по имени Тина. Тина поняла, что ее безраздельному царству пришел конец, знала, что ее будут запирать в чулан, когда приходит эта маленькая девчонка, а потому старалась подпрыгнуть и укусить девчонку за нос. Но — ей пришлось уступить.

Чета Джиансиракуза изливала на нас с Ольгой тепло своих сердец с южным, итальянским темпераментом. Почти каждый день они приглашали нас есть с ними, демонстрируя великолепное кулинарное искусство, соревнуясь друг с другом, посвящая меня в таинства настоящей домашней кухни: они, конечно, презирали американские готовые и полуготовые блюда, покупаемые в магазине и разогреваемые в духовке. Это было отвергнуто начисто! Они знали также правила здоровой диеты, так что это не были только кролики и макароны… Это была поистине изобретательность в еде, не позволявшая набивать желудок чем попало.

Они брали нас с собою в маленький монастырь бенедиктинцев неподалеку в горах, где монахи пели старинные грегорианские церковные напевы по воскресеньям: служба была открыта тогда для всех желающих. Мы покупали у монахов чудесный хлеб их собственной выпечки.

Они возили нас в Сан-Диего за покупками в магазины, проявляя энтузиазм и интерес ко всему вокруг, как молодые, и заставляя меня тоже приободриться… И мы постоянно вели непрерывные разговоры о вере, о России, об истории и о жизни. Они много знали и видели. Их знания были не книжными, и меня восхищала их глубокая искренняя любовь к жизни и людям. Они скопили небольшие деньги, жили просто, но в комфорте — то есть в собственном маленьком домике с садиком, имели машину с гаражом — вещи все еще недостижимые для рядового советского человека. Они живо откликались на мои рассказы и никогда, никогда не были безразличны ни к чему.

Безразличие в те дни проявлялось лишь отцом Ольги, который часто бывал по делам в Лос-Анджелесе, но ни разу не приехал повидать дочь. Очень редко он звонил, но и в разговоре не проявлял к ней особого интереса. Она росла без него. Он не желал простить мне выход из его Товарищества: в этом было все. По их правилам, я должна была теперь быть отвергнута и предана забвению. Они считали себя чуть ли не каким-то священным

орденом, отказ от которого означал полную невозможность поддерживать хотя бы внешне нормальные отношения. Я никогда еще не видела ничего подобного в жизни — такого отсутствия интереса у отца к собственному ребенку. От Лос-Анджелеса до нас было всего два часа езды по хорошему шоссе.

Вскоре даже Тина поняла, что ей лучше смириться с новым увлечением ее хозяев, и оставалась тихо лежать на кресле, когда мы приходили. Только ее черные бисерные глаза выдавали ее настоящие чувства: она, безусловно, хотела бы проглотить нас живьем. Что касалось Ольги, то она никогда не боялась собак, ни больших, ни малых.

Иногда по воскресеньям мы отправлялись на Народную Мессу, которую францисканцы служили в громадной старой миссии Сан-Луи Рей. Это была месса не для постоянных прихожан, а для работавших здесь наемных уборщиков урожая — мексиканцев и индейцев, а также для многочисленных корейцев, вьетнамцев, филиппинцев и самоа, находившихся в специальных поселениях беженцев неподалеку от военной базы в Ошеансайд. Все эти люди были бедны, уставали от работы, но в воскресенье выглядели опрятно в своих чистых рубахах и простых, но приличных платьях.

Как серьезно и проникновенно звучал их ответ: «А также и с вами!» — произносимый на едином дыхании. Как любовалась я их серьезными лицами, когда они возвращались, получив причастие, от алтаря на свои места, — чистые, просветлевшие лица… А молодые девушки и юноши выглядели такими неиспорченными, совсем не как грязная молодежь больших городов и богатых пригородов. Здесь была настоящая вера, простая, наивная и сильная.

Мы ездили с Розой и Майклом смотреть и другие старые католические миссии Калифорнии — целая цепь их протянулась вдоль берега от Сан-Диего до Сан-Франциско, где она заканчивается миссией Долорес. Еще живя в Аризоне, я ездила смотреть миссию Сан-Хавир дель Бак и миссию Сан-Барромео, и везде было очевидно, что францисканские монахи старались не обижать индейцев, а учили их ремеслам, и вражды между индейцами и белыми не было. Мы ездили смотреть миссию Сан-Хуан Капистрано с ее знаменитыми ласточками, возвещающими приход весны каждый год.

Для меня вся Калифорния была Страной Святого Франциска, и я так всегда думаю о ней. Что-то неповторимое есть в ее облике, столь же открытое, необычное, такое же смешение людей, народностей и веяний — как в настоящем, недогматическом католицизме его лучших святых и теологов. Как непохожа

Калифорния на пуританский Восточный берег! Однажды мы пошли со знакомыми в пресвитерианскую церковь, но никогда больше не повторяли этой ошибки… Так холодно и формально говорили здесь о «любви». А в миссии Сан-Луи Рей мы все пели молитву св. Франциска под аккомпанемент гитар, с которыми молодые девушки пели по-испански.

Но мы не пренебрегали и лютеранской Летней школой при церкви, где дети изучали Библию — Ольге нравилось и это! Лишь бы была компания детей. Одна наша соседка зашла и записала ее в эту группу. Ольга никогда не оставалась долго в плохом настроении и не помнила обид и огорчений. Эта легкость и эластичность была у нее от ее отца: когда-то в молодости он был очень жизнерадостным человеком. И у нее было здесь столько занятий!

После ее обычных часов в школе Монтессори я везла ее на плавание, которое было так полезно ей. Затем были уроки танца, где она научилась двигаться в ритме и даже отбивала чечетку в специальных туфлях с подковками. Затем были уроки музыки по японской системе «Ямаха». Это включало также участие родителей: мы вместе с детьми пели, танцевали, участвовали в чтении нот. Когда дети смогли заучить названия нот, они перешли к маленьким электрическим органам. Это были интересные уроки, и девочка наслаждалась ими. А вечером, после долгого дня у нас еще был телевизор — новости, фильмы. Потом ванна и спать…

Теперь я редко засиживалась допоздна, обычно отправляясь спать одновременно с Ольгой. Таков был наш образ жизни вместе в течение десяти долгих лет, одинаковый в Принстоне и в Калифорнии. (Только в Англии все было иначе — Ольга жила в пансионе, а я осталась совсем одна.)

Неожиданно наши тихие дни прерывало появление у моей двери корреспондентов из местных газет или из центральных, с Восточного берега, или даже из европейских… То, что некуда было спрятаться от этого, было для меня большим огорчением и раздражением. Всегда кто-то указывал им прямо на нашу дверь, хотя наш адрес и телефон никогда не сообщался в телефонной книге. Я никак не могла понять, почему закон не защищает право на частную жизнь? Ведь все остальные права — особенно на собственность — прекрасно защищены. Я не могла быть груба с корреспондентами и говорить им, чтобы они убирались; но они были достаточно грубы, вторгаясь в мой дом, задавая бестактные вопросы или даже расспрашивая о нас соседских детей! Соседи негодовали на это.

Приехав в США в 1967 году, я идеализировала Америку и

американский образ жизни в своих фантазиях, построенных главным образом на старых фильмах… Мне не легко было смириться с глупостью и бестактностью. Я выходила из себя, но потом вспоминала, как безжалостно третировала пресса даже Жаклин Кеннеди, когда она вышла замуж за греческого пароходного магната. Как глупа, бездарна и груба была кампания в печати против этой бывшей первой леди! Ее все еще не оставляли в покое на улицах Нью-Йорка, хотя новость уже потеряла всякую остроту. И это в ее же стране, корреспонденты вели себя, как идиоты, бегая за ней, подсматривая, выспрашивая подробности у уволенной горничной… Никакого уважения к женщине, ведшей себя так храбро в машине, где был застрелен ее муж и где она собирала вокруг кусочки его разлетевшегося черепа и мозга… Эта грубость и жестокость, эта вульгарность к ней — не к какой-то там приезжей иностранке — нет, я не могла понять этого. Это была какая-то всеобщая тупость — я не находила иных слов. А Жаклин всегда отвечала им лишь своей фотогеничной улыбкой кинозвезды и никогда не вступала в разговоры, — я готова была поклониться такому терпению и хорошим манерам, а также мудрости. И тогда я говорила себе: «Успокойся. Кто ты, в конце концов?! О тебе не писали ничего слишком плохого пока что. Ты ведь могла получить здесь удары куда похлеще».

* * *

Сразу после рождения Ольги мы получили множество поздравительных писем от совсем незнакомых людей, американцев. Это было давно и прошло, но с некоторыми я продолжала переписку — и фактически продолжаю ее по сей день. Это были две учительницы — пенсионерки из Сан-Диего, преподававшие латинский язык в старших классах школ Калифорнии. Они проявили такое тепло и заинтересованность в делах моей дочери, что невозможно было эту переписку прекратить. Да и зачем? Я сама выросла под значительно большим вниманием моих учителей, нежели моих родителей. Их советы — в последующие годы — были интересны мне: я никогда не растила детей в американской культуре! Лорна и Лоис, сестры-близнецы, всегда интересовались успехами Ольги в яслях, в детском саду, в школе. Я описывала им подробно ее жизнь, посылала ее рисунки, ее письма, ее школьные сочинения. Они считали ее одаренным ребенком, что, наверное, было действительно так.

В раннем детстве она хорошо рисовала с большим чувством

цвета и формы, но после девяти лет ее интерес к рисованию пропал и она больше увлекалась музыкой. Начав с рояля, она в десять лет начала заниматься гитарой и продвинулась вперед очень хорошо; но учитель, который ей так нравился, уехал, и она не захотела идти к другому. В школе Ольга очень хорошо писала, с наклонностью к фантастическим образам и сказкам: ее хвалили. Она хорошо танцевала, чувствуя ритм всем телом, и, возможно, была бы хороша в этой области также. Трудно было сказать, что она делала лучше, у нее все получалось хорошо — если ей нравился учитель! Она не могла работать с учительницей, которая почему-то была ей не по вкусу… И это в конце концов привело нас к большим неприятностям.

Моя дочь всегда была в частных школах, за исключением года-двух, когда я решила попробовать «паблик-скул» — общественные, бесплатные школы. Мои друзья-близнецы настаивали, что «только в паблик-скул дети развиваются естественно, без угнетения». Я с этим никак не могла согласиться. Образование и воспитание в социализме — насколько это было мне известно по опыту — делает людей роботами без инициативы, без собственного мнения, делает их рабами общества. Социализм всегда предполагает потерю индивидуальности, будь то советский социализм, или любой иной социализм — марксистский, немарксистский, троцкистский, ленинский, европейский, кубинский, азиатский, индийский, эфиопский, и так далее… На это мои учительницы не могли ничего ответить. Они просто предпочитали американские паблик-скул всяким другим, может быть, потому что они мало что знали о других странах.

В особенности их раздражали католические школы, но на этом пункте мы предпочитали не останавливаться, так как я считала католическое образование превосходным. Школы, университеты, колледжи католиков были тем, что мне нравилось больше всего в католицизме, — не церковь сама по себе. Ордена монахинь и монахов, посвятивших себя обучению других, были в моих глазах, наилучшим показателем христианской любви к ближнему. Мне ужасно хотелось, чтобы Ольга прошла всю систему католического образования от школы до университета включительно. Это не означало, что она должна была быть католичкой.

Мы, наконец, специально поехали в Сан-Диего, чтобы встретиться с нашими друзьями-близнецами. Ольге было восемь лет и столько же времени мы были в переписке. Мы сразу же узнали друг друга в аэропорту. Близнецы, хотя и мало походившие друг на друга, были одеты в брючные костюмы — эту

униформу всех американок пенсионного возраста, особенно в Калифорнии. Их улыбающиеся лица в морщинках контрастировали со стройными фигурами подростков, обе были маленького роста. Они забронировали для нас комнату в мотеле на берегу океана, с маленькой кухонькой и холодильником, полным всяких яств. Мы провели там несколько дней в прелестном красивом городе Сан-Диего, с его парком Бальбоа, с его гаванью и с маяком на Пойнт Лома. Мы ходили в Старый испанский город, где в беленых известкой зданиях собраны образцы мексиканского искусства.

Мне ужасно нравился «латинский» Сан-Диего, как мне и всегда нравилась Калифорния… Увы, я боялась предпринять второй неудачный поход в Калифорнию — мои финансы не позволяли мне больше экспериментов, если я хотела продолжать частную школу в Принстоне и иметь свой дом.

У каждой из близнецов была маленькая чистенькая квартирка неподалеку от пляжа в Сан-Диего, — мечта для каждого учителя в СССР… Недосягаемая мечта. Я заметила, что американцы, путешествуя за границу, останавливаются в «Хилтонах» или в «Шератонах» и никогда не видят, как живет остальной мир. Поэтому они часто не в состоянии оценить то, что они имеют здесь в Штатах. Они еще ропщут на то, что имеют мало! Для всего мира американский уровень и образ жизни все еще — недосягаемый идеал. И когда в Америке вам говорят, что «у меня очень маленькая квартирка, крошечная, но своя», как бы извиняясь за простоту, европеец находит, что это совсем не «мало» и совсем не «просто». Уже не говоря о гостях из Азии и других стран. Даже я, прожившая сорок лет в СССР в довольно-таки привилегированных условиях, часто подавляла смех, чтобы не обидеть моих хозяек. А их «маленькие квартирки» в Сан-Диего показались мне пределом мечтаний для моего собственного уединения в поздние годы…

Наши близнецы были начитанными, интеллигентными педагогами, с ними было приятно разговаривать и приятно слушать. Они были так радушны и так открыты и постоянно стремились помочь мне в моих педагогических выборах и решениях. Они были также настоящими интернационалистами, это значило многое для нас. Наша дружба продолжается.

* * *

Мне нравилось жить в Калифорнии, и это было действительно легче и дешевле. Ольга могла бы продолжать занятия в католических школах и позже в колледжах Калифорнии. Но всегда люди ввязываются и начинают давать советы — а новичку в Штатах всегда кажется, что «они знают лучше». Кроме того, меня удивило, что Олины родственники Хайакава только на словах хотели быть ближе к ней: теперь же, когда мы были недалеко, они были слишком заняты политикой, чтобы обращать внимание на нее. Дон уехал в Вашингтон, купил там дом («чтобы ходить пешком в сенат»), и Мардж разрывалась между ним и Сан-Франциско, не желая переезжать в столицу, — что, впрочем, была ее прямая обязанность. Им было определенно не до нас.

Однако знакомые начали убеждать меня, что Карлсбад — это «дыра», и что необходимо срочно же переезжать оттуда, «ну хотя бы в Ла-Хойю», где был университет и все то, что именуется культурой. По крайней мере — внешние проявления культуры. Они даже нашли нам квартиру недалеко от школы, и на словах это казалось действительно рациональнее… Я послушалась.

Но когда мы уехали из тихого, старомодного Карлсбада в новостройки Ла-Хойи и вместились в стандартный (отвратительный) кондоминиум, с асфальтом повсюду; когда мы потеряли навсегда (продали!) наш маленький японский домик — к тому же куда более дешевый, чем эти новые «роскошные кондо», — я поняла, что мы сделали роковую ошибку. Ничего здесь не было по вкусу ни мне, ни Ольге. Ла-Хойя это фешенебельный курорт с дорогими лавками на главной улице, город богачей, одна из таких дам и советовала мне переехать… И совсем, как в Принстоне, университет существует где-то в стороне и живет своей жизнью, а город наполнен гуляющей, тратящей большие деньги публикой. Соседи вокруг нас были менее чем дружелюбны. Но престиж имени! Как и Принстон, Ла-Хойя считается «жемчужиной» южной Калифорнии, но нам-то совсем было не до жемчуга. Школа оказалась совсем не столь великолепной, как мне это описывали, — куда хуже, чем те, что мы знали в Карлсбаде. Но у американцев принято скорее искать дорогую резиденцию, чем платить за хорошую школу: жившие в наших «кондо» родители платили высокую ренту, но посылали детей в паблик-скул. Попробовав делать то же, я вскоре убедилась, что это не для нас. «Престижные кондо» были нам, по

существу, абсолютно не нужны. К тому же наш домовладелец оказался отвратительным придирой и приходил лично проверять, не царапает ли моя дочь его холодильник и не рисует ли она на стенах… Американские дети часто делают именно это, но поскольку мы были «не американцы», то он считал нас вообще дикарями.

Наш старый друг Дон-Левин, конечно, никогда не посоветовал бы нам сделать такой шаг; он терпеть не мог все эти громкие, знаменитые места в Калифорнии, поэтому он и выбрал для себя — после долгого раздумья — тихий Карлсбад. Но мы давно не виделись. Он начал было затаскивать меня на свои сборища, политические по характеру: он считал, что мне «просто невозможно» сидеть вот так и не вмешиваться «активно» в антисоветскую пропагандную деятельность. Я не могла его убедить, что это не для меня, не для моей натуры, что я могу только писать книги для таковой цели… Но он втянул меня в глупейший эпизод с «письмом к шаху Ирана» — которое я согласилась подписать, только будучи заверена, что это — коллективное письмо. Оно касалось судьбы перебежчиков из СССР в Иран. К моему ужасу, вдруг в газетах появилось сообщение о «Письме Светланы к шаху Ирана» и начались звонки ко мне из газет… Мы после этого не виделись с Дон-Левиным. Я совсем не стремилась опять давать интервью или — что еще хуже — писать письма правителям иных стран…

И мы оказались в Ла-Хойе, странном месте, абсолютно не удовлетворявшем наши нужды. Так поступает мое поколение — приученное «слушаться авторитетов», а не собственного внутреннего голоса… Мы все выросли, как оловянные солдатики, пионеры, комсомольцы, беспартийные или партийные «советские люди», которым надо было переучиваться, чтобы успешно существовать в мире, где человек предоставлен самому себе, и сам ищет, что ему лучше. А найдя, — идет к этой цели напролом, с терпением, но и с настойчивостью, не взирая ни на какие разговоры и увещевания других лиц. Потому что другие дают советы, исходя из собственного опыта, а не из вашего. Здесь — не Москва и не Ленинград, и общие мерки неприложимы.

Итак, мы оказались снова в богатом пригороде… В Принстоне мы по крайней мере знали многих, знали школы, и наша школа Святого Сердца все время писала нам, что «в любое время» мы можем снова вернуть Ольгу к ним… «Она — наша!» — писала теперь уже новая директриса, выражая этим преемственность отношения к нам.

И, конечно, после нескольких месяцев в совершенно чуждой нам Ла-Хойе мы вернулись в Принстон, теперь уже в маленькую

снятую квартиру, и Ольга вернулась в школу Святого Сердца. Мы прибыли как раз ко Дню Благодарения, пошли в церковь Всех Святых, и наш старый друг ректор облобызал нас и даже прослезился. Что сделали также и мы.

И снова — к миссис Уркен, покупать помойные ведра и представиться вновь: она была, конечно, очень рада и предлагала «сделать все что может» для нас. Только мой патрон и покровитель — каковым все его считали — посол Кеннан, был недоволен нашим возвращением, так как он вздохнул свободнее, когда мы уехали в Калифорнию.

Итак, назад к знакомым местам и лицам. Второе возвращение в Принстон! Но теперь уже наш старый дом на улице Вильсона был потерян навсегда. Теперешние владельцы были им очень довольны и не собирались его продавать. Да и цена теперь наверняка «пробила бы потолок», как говорят агенты по продаже недвижимости.

…Итак, мы начали с жизни в снятой квартире, потом снова купили что-то, потом вновь снимали…

Я пыталась снимать квартиру дешевле, но держать Ольгу в дорогой католической школе; если бы я купила дом, то тогда нам оставалось только отдать Ольгу в бесплатную паблик-скул по месту жительства. Мы испробовали все варианты, так как с деньгами было хуже, чем когда мы уехали в Калифорнию два года назад… Город был хорошо знаком нам, нас тут знали и нам помогали каждый раз устроиться и — переезжать.

Но странное чувство оставалось: хотя прежние «старые» друзья внешне были рады нас снова видеть, они переставали слушать, как только я начинала говорить о наших вполне реальных трудностях, о дороговизне жизни в Принстоне, о том, как лучше мне устроиться со школой, с квартирой… Как будто они все считали, что я выдумываю свои «трудности»… Но мой банк знал хорошо, что это были реальные проблемы, знал это и наш инспектор по налогам.

Мы оставили к этому времени принстонский банк, которым пользовались все мои богатые друзья, знакомые и патроны. Элис Брейвман, незабываемая (покойная) устроительница моих налогов в течение многих лет, умная и практичная, посоветовала мне перейти в другой, меньший банк в Трентоне, где работало много женщин. Интересы матери-одиночки с небольшим доходом будут «взяты под крыло женщин, которые поймут куда лучше вашу ситуацию», — говорила она.

Дорогая Элис! Конечно это было так! Банк в Трентоне и его молодые приятные служащие остался с нами на последовавшие годы, и я только поражалась разнице отношения к клиентам,

которую мы немедленно же ощутили. Для банка в Принстоне, в который я пришла в 1967 году с большим доходом, теперь я не представляла никакого интереса. Помимо этого соображения, Элис Брейвман, всю жизнь работавшая и бессемейная, хорошо понимала, где лучше будут относиться к разведенной матери-одиночке: уж конечно, не в главном банке Принстона! Мое движение вниз по социальной лестнице американского общества было ей вполне понятно.

Она была искренна, деловита, и ее помощь всегда была практичной и нужной. «Очень важно, что вы платили одно время высокие налоги. Это все увеличит ваш пенсионный чек, который может вам очень пригодиться в старости», — поучала она меня, как никто ранее не делал этого. Как миссис Уркен, как Джим в банке Трентона, как Джиансиракуза в Карлсбаде. Элис была добрым ангелом на моем пути. Какой-то другой ангел привел меня к ней и «сдал» в ее руки несколько лет тому назад. Было много хороших людей вокруг, часто дававших хороший совет мимоходом, сидя за бутербродом во время ленча. Были и хорошие, терпеливые, незнаменитые адвокаты, помогавшие мне «размотать» и понять мои старые соглашения, подписанные в Швейцарии: но об этом позже.

Однако меня все еще считали миллионершей — такова сила прессы. Ко мне приходили с бестактными вопросами. Я даже попыталась дать специальное интервью русской эмигрантской газете в Нью-Йорке, чтобы навсегда разделаться с этим ложным представлением обо мне. Но они написали все так, что это звучало только еще хуже: «сама растратила все деньги, любит роскошную жизнь». Я решила просто молчать и не давать никаких интервью больше никому и никогда.

Конечно, основанный адвокатами фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» Благотворительный фонд Аллилуевой находился здесь, в Нью-Джерси и все еще посылал чеки индийскому госпиталю, а также некоторым организациям в США. И как не считать меня богачкой, когда эта комедия с благотворительностью все еще продолжалась… Закрыть Благотворительный фонд и взять мои же деньги обратно на нужды образования Ольги, было невозможно, так как адвокаты, предусмотрев такую возможность, устранили ее окончательно. Вот — еще один результат подписывания бумаг, не понимая их значения! Я подписала в 1968 году какую-то «поправку», отменившую первоначальный статус Фонда: в его первоначальном варианте я могла в любое время закрыть его и взять назад мои же деньги, полученные за издание первой книги… Опять мне дали тогда что-то подписать, не объяснив всех последствий такой перемены… Уж кому бы лучше объяснить мне

все эти детали и тонкости, как не фирме, заправлявшей всеми делами в первые месяцы сенсационного моего появления в США?

«Генерала» Гринбаума уже не было в живых. Алан Шварц ушел из фирмы и уехал в Калифорнию, разойдясь со своей женой в Нью-Йорке. Единственный из них всех Морис Гринбаум, адвокат по налогам, и его милая жена Беатрис все еще звонили иногда и даже пригласили Ольгу в театр посмотреть «Анни» — знаменитый бродвейский мюзикл тех лет. Но и Морис Гринбаум не желал слушать о моих теперешних трудностях… И вдруг — внезапная удача!

В объявлениях местной газеты в Принстоне я увидела однажды необычно невысокую цену за сдаваемый дом в тихом тупичке, в самом центре города. Это была старая, нефешенебельная часть города, далеко от тех улиц, где селятся послы и министры на пенсии и богатые дельцы из Нью-Йорка. Я позвонила по прилагаемому телефону и сразу же объявила, что у меня дочь десяти лет, кошка и собака. Обычно при такой информации домовладельцы заявляют: «Простите — нет». В христианской Америке не любят ни детей, ни стариков, ни животных — когда они угрожают собственности. Мы столкнулись с этим явлением недавно в Калифорнии.

Но — чудо! Этот домовладелец сказал, что он не возражает ни против детей, ни против зверей: «Приводите столько, сколько хотите кошек и собак, мы любим животных!» Так звучал его странный ответ. Тогда я осторожно осведомилась, почему же дом в центре Принстона оценен сравнительно недорого для сдачи? «Приезжайте, посмотрите! — ответил он. — Дом без гаража, кухня — старомодная, без шкафов, только полки; без машины для мойки посуды; и без стиральной и сушильной машин, это — снижает цену. А в остальном, это хороший дом, построенный Уорреном еще в 1914 году».

Я поехала посмотреть, не веря, что мы можем найти что-либо в Принстоне по вкусу, и практически приемлемое… Но это было чудо.

Имя Уоррена было известно в Принстоне, — он был архитектором, который построил добрую половину этого университетского города, начав работать в ранние 1900-е годы. Уоррен не был выдающимся архитектором, безусловно, и следовал вкусам своих заказчиков — часто университетских профессоров. Однако его дома соответствовали моде того времени и назначению этого города, и куда больше отвечали его характеру, чем все эти новые «роскошные кондо», выросшие, как поганки, повсюду вокруг этого старого, когда-то милейшего города. Понятно, что цена такого старого дома («без машины для

мойки посуды! Ужас!») должна была быть низкой в современном Принстоне, старавшемся завлечь богатых покупателей из Вашингтона и Нью-Йорка.

Наш новый дом на Айкен-авеню был бесподобен — для нас. Небольшой и со всем необходимым, с маленьким садиком, но и со старым парком прямо тут же. Автобус в Нью-Йорк отправлялся за углом, продовольственный магазин был вполне досягаем путем пешей прогулки — и мы были так счастливы этой перемене: от западных «роскошных улиц» в эти более обыкновенные края. Я могла продолжать образование Ольги в школе Святого Сердца, уроки французского и гитары для нее и даже ее уроки верховой езды. Неподалеку отсюда, на ферме, совсем не там, где требовалась одежда «в стиле» и большая плата. Здесь ездили в джинсах, и по преимуществу — дети. Лошади выглядели старыми и измученными, кругом была грязь, но Ольга научилась верховой езде, проявив такой же энтузиазм к лошадям, какой был у ее сестры Кати… Ольга везде успевала, и все ее занятия только разжигали в ней любопытство к новым и новым экспериментам и поискам. Она совершенно не страдала в это время от наших частых переездов, наоборот, — в ней развивался живой интерес к новым местам и ситуациям.

Мы обменяли нашу «синюю птицу» — «форд» — на маленький, экономичный «датсон», хотя это и была сдача перед паникой тех дней. Время от времени телевидение и радио разносило слух, что «бензина скоро не будет», и все бросались продавать свои большие, удобные машины и покупать японские «консервные банки». Поддалась и я всеобщему настроению. Это было экономнее. Вообще же мне всегда казалось смехотворным, что страна Генри Форда вдруг оказалась порабощенной дешевой японской продукцией, совершенно негодной для американских дорог! Японские машины хороши для маленькой Японии, отсюда их размер. Но — экономия топлива стояла в порядке дня, и мы подчинились требованиям века.

Среди всех этих забот, шоферских обязанностей по отношению к Ольге и прочих неинтересных занятий мне так хотелось уединиться куда-нибудь в тихое место, подумать о жизни спокойно, «посозерцать» природу вокруг, — в какой-нибудь монастырь или в какой-то Дом Отшельников для уединения… Скорость жизни вокруг, сумасшедший темп, свойственный Нью-Джерси так же, как и Калифорнии, был по общепринятому мнению даже вреден для здоровья. Истерические женщины вокруг меня вечно бегали в поисках «деятельности» — будь то теннис, выставки цветов, аукционы, продажа на благотворительных базарах, все что угодно — лишь бы доказать всей этой

активностью, что они «все еще молоды». Вся эта показная веселость и активность всегда казались мне глубоко печальными по сути: люди так боялись старости, морщинок на лице, как будто это было преступлением. Женщины моего возраста — за пятьдесят — старались перескакать своих молодых дочерей и невесток, благо здесь они не жили большими семьями и не должны были смотреть за внуками — что я нашла бы куда более естественным занятием, полезным как для тела, так и для души.

Одно время я интересовалась так называемым образованием для «третьего возраста», и особенно в Калифорнии просматривала программы вечерних школ, предлагаемые университетом. Тут было все — от виноделия и плетения корзин до вязки свитеров и изучения истории культуры. Но с моим университетским образованием мне не хотелось посещать дешевые поверхностные лекции. К тому же они всегда были по вечерам, а наши вечера были всегда — дома. Дом был священным местом для нас с Ольгой, где бы мы ни находились. Вечерние новости по телевизору, ужин, разговоры о прошедшем дне: «тихая победа домашнего огня».[15] И где бы мы ни находились с нею, мы всегда устраивались в доме так, как будто бы это было на всю жизнь. Чувство очага должно быть для нее священным, и я сама не хотела утратить его в своих скитаниях.

Дом на Айкен-авеню был полон «хороших духов», его атмосфера была такой же теплой и доброй, как в нашем дорогом № 50 на улице Вильсона. Здесь тоже подолгу жили хорошие люди, оставившие свои невидимые «отпечатки» вокруг. Я чувствовала себя всегда счастливой по вечерам с моей дочерью. Мне казались совсем ненужными поиски «новой семьи» — что делается в Америке так же в организованном порядке.

Вскоре после возвращения в Принстон я встретила бывшую жену моего врача — она теперь выглядела куда красивее и веселее, чем когда они были женаты. Она пригласила меня на коктейль Общества одиночек, сказав, что эта организация насчитывает множество одиноких мужчин и женщин, которые встречаются, проводят вместе время и часто вступают в новый союз.

Из любопытства я пошла — к тому же я знала хорошо хозяйку и она не казалась мне вульгарной женщиной. Но ко мне начали подходить мужчины со стаканом в руке, задавая наводящие вопросы, чтобы определить мою «ценность». Есть ли у меня свой дом? Каков мой знак зодиака? (Это для тех, кто верит в астрологию.) Откуда я родом? Мне это показалось столь отвратительным, что я ушла и никогда больше не видела эту даму. Неужели необходимо все время быть с кем-то? Неужели

быть с детьми одной так «скучно»?

Моя бабушка говаривала, что «лучше жить в одиночестве, чем быть одинокой рядом с другим человеком». Как всегда, ее афоризмы приобретали силу много, много лет позже. Мы совершенно не понимали ее, когда она была жива, и отказывали ей во внимании и тепле — увлеченные тогда всякими показными «активностями»… И Ольга, названная так в честь моей бабушки, продолжала быть центром моей жизни, моей глубоко домашней жизни.

* * *

Моему сыну и дочери в СССР, очевидно, было запрещено писать или звонить мне. Долгое время я посылала сыну все наши новые адреса и номера телефонов; писала я ему всегда на клинику, где он работал врачом. Я не имела новостей от него вот уже девять лет. Только раз я попробовала позвонить ему по телефону: мы успели сказать: «Алло» — и нас разъединили. Затем телефонистка в Москве передала американской телефонистке, что «линия испорчена». Я и не пыталась звонить опять, так как понимала, что нам «нет разрешения» разговаривать по телефону. От моей дочери Катерины не было вообще ни слуху ни духу. От сына было несколько писем в 1967-68 годах.

Затем вдруг пришло письмо от него, переданное через американского корреспондента в Москве, но он не привез его прямо мне, а переслал сначала в Госдепартамент. Там прочли, поломали голову и переслали письмо к послу Кеннану в Принстон: раз уж он мой «опекун», то пусть и решает, как быть. Все были встревожены этим письмом, написанным в июне 1975 года. И наконец, в августе, я была приглашена к Кеннанам на «чай» и он вручил мне письмо, уже прочитанное, и, по-видимому, обсужденное во многих инстанциях… В письме сын, который был разведен в то время (жена ушла от него и забрала моего внука с собой) жаловался на полнейшее одиночество и просил меня вызвать его в США с целью остаться здесь со мной насовсем. Поэтому все так и встревожились!

Посол Кеннан заявил мне совершенно четко и ясно: «Мы поможем ему приехать и повидать вас. Но вы должны дать нам слово, что он уедет обратно. Иначе будет скандал».

Я никак не могла собраться с мыслями, потому что вообще не слышала ни слова от сына вот уже много лет, и вдруг — такая просьба! Надо вспомнить, что в начале 70-х годов много евреев, а также и неевреев выехало из СССР. Вероятно, он надеялся, что в

этих обстоятельствах будет возможно вызвать и его. Но он переоценивал мои возможности. И тут мне было ясно сказано: «Дайте слово, что он уедет назад в Москву».

Такого слова я дать не могла, потому что, если бы мой сын приехал в Штаты, я никакими усилиями не смогла бы усадить его в обратный самолет в Москву… И он так прямо и говорил: «чтобы остаться с тобой». Я никаких обещаний не дала, а просто ответила что «в таком случае лучше ему сюда не приезжать».

Меня поразило бессердечие Кеннана, который столько времени играл перед всеми роль моего ближайшего и понимающего меня друга. Как вообще можно было мне предлагать такую игру?.. Такое «соглашение»?..

И все контакты прекратились. Я не слыхала больше ничего от моего сына вплоть до тех дней, когда мы переехали в Англию. Я сообщила ему наш новый адрес и телефон, и он вдруг позвонил мне в Кембридж, где я жила… Но об этом еще впереди.

Я бежала от коммунизма в противоположный лагерь, и Советы наказывали меня за это, лишая мать возможности контактов с ее детьми. То есть в СССР меня рассматривали как политическую преступницу. Но в Штатах, где все более сгущались антисоветские настроения — ко времени выборов Рейгана в президенты, — на меня начинали смотреть как на «представительницу СССР». Даже моя дочь, которую никогда никто не спрашивал в школе о ее предках и все относились к ней хорошо, вдруг начала испытывать отчуждение. Вдруг ее перестали приглашать в гости девочки. А некоторые учительницы (не монахини, а из нанятых, светских учительниц) вдруг начали находить в ней уйму недостатков! Я обратилась к детскому психологу, и она советовала мне просто взять девочку из школы — из той самой школы, в которую я была так счастлива ее отдать!.. Ольгу теперь охарактеризовали как «проблемного ребенка». В школе была новая директриса, новые учительницы, имевшие своих любимиц, и Ольга начала жаловаться мне на то, что девочки плохо к ней относятся. Это было нечто новое…

Конечно, в Принстоне все еще было множество доброжелательных по отношению к нам людей. Мой адвокат по налогам — Элис Брейвман, уже упомянутая выше, относилась ко мне всегда ровно, без всяких перемен в течение одиннадцати лет, во время которых она занималась оформлением моих налогов. Ее уважали в Принстоне, откуда она была родом, за самоотверженную работу — казалось, она никогда не отдыхала, когда наступали «роковые» дни уплаты налогов…

«Элис! Я хочу чтобы все осталось у меня в кармане!» — такой плакатик висел в ее небольшой приемной, где мы ждали ее, читая

журналы. Мечта, выраженная каким-то типичным налогоплательщиком, была неосуществима, но Элис зорко следила, чтобы ее клиенты не слишком страдали от того самого дяди Сэма, о котором я прочла совсем иной плакатик в Калифорнии: «Господь дает, дядя Сэм берет».

Элис, маленького роста, совсем коротышка, с добрейшим лицом, какие бывают у пожилых больничных сиделок, любила хорошие драгоценности, которые с удовольствием носила. Она просиживала с каждым клиентом столько времени, «сколько вам нужно». Другие могли ждать. От нее я получила первые инструкции об американских налогах, но было уже поздновато. Это Гринбаум, Вольф и Эрнст должны были бы дать мне какие-то первоначальные сведения о стране, куда меня привезли жить, издать мои книги и — очевидно — платить налоги. Я пробыла долгое время в неведении, и Элис пришлось просвещать меня с большим опозданием. Мы все обожали ее и, конечно, были бы абсолютно беспомощны без нее!

…И вот мы вдруг узнали, что у Элис — рак желудка и что ее будут оперировать. Тогда мы вспомнили, что последнее время она в самом деле была странно похудевшей. Но она все еще улыбалась нам своей материнской улыбкой (у нее не было семьи) и просиживала с каждым из нас долгие часы. О, нет — она не могла умереть! Без нее, без ее конторы в доме № 1, по Палмер-сквер не будет больше Принстона! Но ее не стало вскоре после операции. Она была слабой, интеллигентной, уставшей от переутомления и работы, женщиной. Тело не имело сил бороться, хотя дух ее был силен.

Несколько человек пригласили меня в синагогу, где служили заупокойную службу о ней. Собралось очень много людей, а я была в синагоге впервые в жизни. Было так хорошо видеть столько людей, пришедших молиться о душе женщины, не имевшей своей семьи: ей просто было некогда! Она занималась нами всеми.

Столь знакомые тексты из Ветхого Завета и Псалмов звучали как-то совсем по-другому в этом храме, — возможно, здесь они звучали в их первозданной красоте и силе. Служба была простая, преисполненная достоинства, лишенная всякой сентиментальности. Единство всех присутствовавших здесь было несомненным, глубоким, древним… Мои друзья, которые вообще не посещали никакую церковь, были также под сильным впечатлением. Для меня это впечатление силы и единства было незабываемым.

Но Элис не ушла просто так. Она позаботилась о своих клиентах, годами зависивших от нее. Она выбрала фирму,

которая должна была заменить ее. И выбрала сама адвоката для каждого своего клиента. Мы обнаружили, когда время пришло, что у нас все в порядке, и что кто-то другой, назначенный самой Элис, уже занимается нашими налогами. Это было даже больше, чем можно было ожидать! Такие люди не забываются, и давно уже, оставив Принстон, я все еще часто вспоминаю маленькую женщину с добрым лицом.

* * *

То раннее осеннее утро было туманным, и все было покрыто капельками воды — листья деревьев и кустов, трава, розовые кусты с еще множеством бутонов. Воздух был теплым, но трудно было дышать — это нередко в Нью-Джерси. Высокая влажность воздуха разрушительна для автомобилей, для зданий, для здоровья человека, но растения любят это. Я отвезла мою дочку в школу, красиво раскинувшуюся среди леса и гранитных валунов, и проехала немного дальше в лес: просто, чтобы полюбоваться красотой осени.

Мне было приятно, оттого что я знала эту школу многие годы, знала все местные дороги, знала этот город и эти окружавшие его леса. Я всегда чувствовала себя здесь на своем месте, как и моя дочь была на своем месте в этой прекрасной школе.

Всегда, смотря на природу как на храм Бога, я чувствовала себя так хорошо здесь, вдали от людей, идей, газет, технических приспособлений и толп. Человек еще не изобрел ничего лучше, чем эти деревья, ручьи и леса «Если бы человек смог быть более смиренным перед природой, стоя лицом к лицу с Вселенной, то, возможно, удалось бы спасти нашу планету», — думала я. Порция неприятных новостей по радио этим утром уже отравила этот день. Люди портят друг другу жизнь с самого утра. Но природа всегда предлагает нам утешение и возвращает нас к равновесию.

Дорога проходила через старый дубовый лес, где деревья были высокими и тонкими, а ниже ярусом росли осины и догвуды. Я привозила Ольгу в школу по этой дороге в течение пяти лет, ежедневно, и наблюдала этот лес в различные времена года.

Весной в то время, когда дубы были еще обнаженными наверху, догвуды были здесь, как белая пена. Сейчас листья догвудов становились красными и облетали. А дубы золотились высоко наверху в своей славе. Легкая дымка тумана наполняла лес, делая все нереальным, как прозрачный ландшафт на

китайской акварели.

В этом году стоял необыкновенно теплый ноябрь. По ошибке зацвела форсития, и ее ярко-желтые цветы выглядели странно в это время года. Некоторые вишневые деревья покрылись застенчивыми бледными цветами, совсем не такими, как это бывает весной. Эти цветы выглядели хрупкими, готовыми облететь в любой момент. И вправду, вскоре пришли холода и уничтожили это неурочное цветение.

Теперь холодный воздух был чист и прозрачен. Солнце ярко светило и трава была ярко-зеленой, слишком яркой для этого времени года. Сильного мороза еще не было, но он скоро убьет траву, высушит ее, она побуреет. Дни были прохладными и солнечными.

Вокруг был покой, чувствовалось, что вскоре природа войдет в свой обычный курс. В воздухе стояло удовлетворение, это было видно по деревьям, наслаждавшимся прохладой после долгого жаркого лета.

К концу дня я иногда выезжала из города, чтобы взглянуть на закат. Сегодня западная часть неба была ярко-золотой: это был яркий, торжествующий закат. Он становился постепенно все краснее и краснее, обозначая холодную ночь впереди. Очень высоко в небе облака, как длинные перья, слегка покраснели, а ниже к линии горизонта небо стало зеленым. На этом желто-зеленом фоне черные кружевные силуэты нагих деревьев были четки и неподвижны. В воздухе стоял покой и уверенность приближающейся зимы.

Но в этот год что-то было перепутано там вверху, откуда погода спускается к нам на землю… Те необыкновенно теплые дни поздней осени были странными, как запутавшаяся весна. И удивление было разлито вокруг, свежий аромат удивления наполнял сердце ожиданием весны, волнением неожиданности. Тайная радость наполняла все вокруг, радость, у которой нет причины. Радость бытия.

* * *

Как странно, что, живя в Аризоне и в Калифорнии — на так называемом Диком Западе, — мы никогда не встречались с американскими индейцами. Мы видели их на экранах телевизора, произносивших речи о каких-то важных для них проблемах. Мы восхищались прекрасными изделиями искусства, собранными в музеях Нью-Мексико, Аризоны и Таоса. Мы даже видели индейцев в их резервации в Пуэбло — они выглядели вполне современно —

в синих джинсах, куртках и в сникерсах, как все в Америке. Их мужчины и женщины были лишены особого облика. Потрясающие, прекрасные тканые одеяла Навахо, драгоценности Зуни из серебра, керамика, плетеные корзины, на многих выставках выглядели мертвыми, лишенными своих создателей — как египетские саркофаги, выставленные в Лондоне…

В своих поселениях в штате Юта индейцы работали на фабриках компьютеров, проявляя хорошую сноровку. Для них там были построены стандартные дома, лишенные вкуса и архитектурной мысли: они выглядели непривлекательно и говорили о бедности. Фрэнк Л. Райт взорвался бы, как бомба, если бы увидел, что создала американская архитектура для его вдохновителей! «Типовые проекты» всегда безобразны и создаются без артистизма.

Поразительно, что мы наконец встретились с настоящим индейцем в Принстоне — он оказался нашим соседом возле старого дома, снимаемого нами на старой улочке. Он плотничал, красил, чинил крыши. Приехав сюда совсем молодым из Апалачей, где его брат был вождем племени ирокезов, он нашел здесь работу, женился, у него были дети. Он не мог вернуться в свою Северную Каролину, а его жена из принстонской семьи, белая женщина, не хотела уезжать отсюда. В Каролине жили его мать и брат, ирокезы, как и он. Ему было за пятьдесят, и он тоже выглядел как вождь племени. Высокий, с прямой спиной, царственной осанкой, красивой головой и с горбатым носом, он двигался небыстро, мягкой кошачьей походкой, сохраняя спокойствие и достоинство. Я видела, как он поливал помидоры из шланга и красил соседний дом, стоя на подмостках. Хотя его движения были нескорыми, он окончил работу очень быстро. На ленч он отправлялся в свой дом, мягко ступая, как будто все еще обут в мокасины, а не в старые сникерсы. Для работы он носил белый комбинезон, белую рубаху и всегда оставался прям, как солдат.

Мы видели его каждое утро уезжавшим работать в старом поржавевшем «олдсмобиле», набитом банками с краской, с лестницей, привязанной к крыше. Он уезжал рано, возвращался к ленчу, выходил из автомобиля и уходил в дом, с лицом, не выражавшим ничего, кроме торжественного презрения. Ольга боялась его, а я любовалась его самобытностью. С нами он никогда не разговаривал, но лишь поднимал руку в приветственном салюте. Мы делали то же: нельзя было не приветствовать вождя. Но однажды он проявил к нам обоим большую человеческую доброту.

Ольге было десять лет, и она понемногу начинала

становиться беспокойным подростком (слишком много смотрела телевизор, нуждалась в большей компании, чем только я, и обижалась на меня, потому что я не любила больших сборищ в доме). И однажды она решила сделать по-своему.

Встав рано утром, я, как обычно, ушла в кухню приготовить ей завтрак. Когда я пошла звать ее, ответа не последовало. Кусочек бумаги лежал на полу возле входной двери! «Мамочка, я ушла из дому. Встречай меня в среду возле автобусной остановки. Прости меня, но я должна идти».

Я бросилась в ее спальню — ее нет! Проклятое телевидение, сколько раз они показывают детям, как убегать из дому, во всех подробностях! (Мы только недавно смотрели такую историю.) Автобусная остановка! Если она уедет в Нью-Йорк — автобус останавливался прямо за углом от нас — ее невозможно будет найти в Нью-Йорке, в этом колоссальном городе с его миром преступности, кварталами воров, наркоманов, убийц… Может быть, она еще не уехала!

Я бросилась из дому, все еще в теплом утреннем халате, но людей никогда не было в нашем тупичке. Ольга наверняка подготовилась к уходу, и ушла, пока я возилась в кухне. Не зная, что делать, я постучала в двери соседей — нет, ее не было там, — в одну, потом в другую. Дверь отворилась и за ней стоял вождь, подобный огромному монументу, и глядел вниз, на меня.

«Моя дочь сбежала!» — прокричала я, а он продолжал глядеть, неподвижный, как статуя. «Подумайте только! Она оставила записку, чтобы я встретила ее в среду на автобусной остановке. Но как я ее найду?!»

Он ничего не ответил, но что-то блеснуло в его глазах. Быстро прошел он к своему «олдсмобилю», сделав мне некий положительный знак рукой, и уехал… Его машина быстро скрылась за углом. Что он собирается делать?..

Я бросилась домой, позвонила в полицию и сообщила: «девочка убежала из дома». Они ничуть не удивились, записали ее приметы, но не проявили никаких эмоций. Дети убегают из дома все время. Поместят ее фотографию на почте, и ничего не будут делать. Я оделась. Позвонить друзьям? Бежать на главную улицу? Сердце колотилось с перебоями, как всегда при внезапном шоке. Следует ли позвонить в школу? Или — лучше не создавать паники?..

Я не помню, сколько времени прошло в этом состоянии полного потрясения. Я приняла капли, выпила холодной воды, а в воображении возникали ужасные видения, почерпнутые все из тех же проклятых телевизионных программ об украденных маленьких девочках, попавших на улицы большого города… Я ругала себя за

мою неподвижность, за стремление к покою, тогда как моей дочери нужны были отдушины для ее энергии. О, зачем она это сделала? Мы ведь даже не ссорились в последние дни.

Звонок в дверь. Я открыла и первое, что я увидела, был вождь, стоявший там, с широкой улыбкой на лице. Испуганное, виноватое личико моей дочери выглядывало из-за его бедра.

Мы упали друг другу на шею, обе плача счастливыми слезами, целуя друг друга. Маленький букетик весенних нарциссов был зажат в ее руке. «Это я купила для тебя», — сказала она, и я разрыдалась, совершенно уничтоженная.

Вождь тем временем уже шагал к своему дому. «Как вы ее нашли?» — крикнула я ему вслед, не зная, как его благодарить. «Она скажет», — обронил он, повернув голову на ходу, приветствуя меня рукой. Он не мог терять время на болтовню.

Когда все слезы были утерты и мы обе успокоились, Ольга рассказала, что она просто шла и шла, потом вышла на главную улицу. Тут ее внимание привлекли лавки — она всегда обожала лавки, — и у нее были деньги, «взятые из копилки» (точно так, как это вам советуют сделать по телевизору). Она купила себе записную книжку и «эти цветы тебе, мамочка», и потом вдруг увидела вождя, входившего в лавку. Он приблизился к ней, и она застыла от ужаса. Он смотрел на нее с сердитым выражением и хмурился, а потом указал кивком головы, чтобы она следовала за ним… Они вышли из лавки, он открыл дверь своего «олдсмобиля» и привез ее домой. Он не сказал ей ни слова.

«Но он выглядел таким сердитым, мама, ты бы видела его лицо! Я так перепугалась! Я никогда больше не буду убегать из дому, мамочка, никогда, никогда!»

Попытка больше не повторилась, и происшествие даже сделало нас ближе друг к другу. Но я стала думать со всей серьезностью о необходимости большей компании для этой девочки, более широкого поля деятельности, нежели мой тихий дом. По существу, она была бы счастлива в большой семье, с дедушками и бабушками, с братьями и сестрами — как это было, когда я росла. Но в современном мире разрушение семьи считается одной из основ «прогресса», и вот мы видели результаты этого…

В Принстоне были большие семьи, где Ольгу любили и всегда принимали с теплом. Так, семья нашей знакомой Анни с ее пятью сыновьями и их подружками, всегда приглашала Ольгу на праздники. Мы любили проводить в их обширном, шумном кругу День Благодарения, Пасху. Дети, конечно, не жили вместе с родителями, но всегда приезжали на эти дни. Но это были лишь праздники. И мысль о хорошей европейской школе-пансионе все

более и более привлекала меня.

Конечно, я прежде всего обратила взоры к мирной Швейцарии, где находилось немало школ на английском языке, с педагогами из Оксфорда и Кембриджа. Я обнаружила в Нью-Йорке агента этих школ, набиравшего детей, и отправилась к нему.

В Штатах не любят отдавать детей в пансионы — это английская и французская традиции. В Штатах только старшие дети могут попасть в очень привилегированные и дорогие пансионы Новой Англии. Существуют, конечно, пансионы для сирот, для бездомных детей и для всякого рода «трудных детей», с разными психологическими или физическими проблемами.

Европейская традиция верит, что пансион очень положительно влияет на психику ребенка, развивает самостоятельность и освобождает ребенка от часто тиранической опеки родителей, подавляющей молодую душу. И часто любящие родители с достатком посылают своих детей в пансион в силу убеждения, что это — лучше для детей. В Штатах же это рассматривается как некое наказание ребенка, или же ленивое желание отделаться от забот. Даже наш друг, пастор-епископал, был именно такого мнения. Но я была, напротив, убеждена, что весь психологический склад Ольги требовал «групповой обстановки»: в этом она очень походила на своего отца, столь влюбленного в коммунальный образ жизни Товарищества Талиесин. Я продолжала исследовать положение с пансионами, собирала литературу, разговаривала с агентом в Нью-Йорке, но чувствовала, что время еще не настало для такой перемены. Детей брали в европейские пансионы с одиннадцати лет, то есть еще через один учебный год.

За это время я побывала в Англии — впервые в жизни. Я согласилась участвовать в программе Би-би-си с Малькольмом Маггериджем, втайне надеясь узнать там побольше о школах. Но Маггеридж и его жена в один голос закричали на меня, что «в эти времена люди уезжают из Англии в Канаду, в Австралию, куда угодно. Никто не едет сюда! Ваша девочка будет ненавидеть английский пансион! Мы знали американскую девочку, которую родители отдали в английскую школу — это было несчастье для нее!» Но их доводы не были убедительными для меня. Были люди, считавшие, что моя идея была прекрасной и что ничего не могло быть лучше для такого живого и инициативного ребенка, как Ольга. Пансион — не для всех детей. Но для некоторых он — наилучшая школа жизни.

* * *

Живя снова на Восточном берегу, часто вспоминая мои первые месяцы в Штатах, проведенные в этих краях,[16] мне хотелось теперь показать все это и моей дочери. Так, я взяла ее к полковнику Руфи Бриггс, жившей в Бристоле в штате Род Айленд, где я провела несколько месяцев в 1967 году.

Тогда полковник Бриггс познакомила меня с Днем Благодарения, этим семейным американским праздником — без политики. Теперь же она приглашала нас с Ольгой на Парад Независимости 4-го июля, который в ее маленьком городе ежегодно проводился с большой серьезностью и изобретательностью — а также традиционностью.

Мы отправились к ней с радостью. Полковник мало изменилась, только ее эмфизема стала хуже, но она не желала бросить курить. Ольга сейчас же кинулась к «домочадцам» — большой собаке эрделю, и двум котам. Один кот был моим старым знакомым вот уже семнадцать лет и все еще оставался таким же приятным джентльменом, мурлыкавшим и ласкавшимся. Другой кот и собака были точными копиями давно умерших старых друзей.

Парад 4-го июля никогда не привлекал особого внимания в университетском Принстоне, где более значительным событием бывал ежегодный июньский парад выпускников университета. Здесь же в Бристоле, это было наиважнейшее традиционное событие года. Парад проходил по главной улице, где его можно было наблюдать прямо с балкона дома полковника. Стулья были поставлены также и для гостей — под деревьями на лужайке.

Полковник суетилась с приготовлениями, бегая, как всегда на высоких каблуках и с неизменной длинной сигаретой в зубах, готовя угощение для большой компании. В этот день она всегда приглашала на свой балкон Дочерей Американской революции — нескольких старых местных дам, и других знакомых. Мы уселись на садовые стулья под деревьями.

Как только начался марш с оркестрами, знаменами, барабанами, полил дождь, не остановившийся ни на минуту все последующие два часа парада. Я одела на Ольгу дождевик и держала над ней зонтик, но мы стоически терпели. Я любила с детства парады, они были веселым зрелищем — вроде цирка: зрелище для детей и детских душ. Ольга также выдержала испытание с блеском, и парад действительно был здесь прекрасным. Он включал гражданское население, школьников, велосипедистов, местных моряков, а также различные группы населения, представителей различных церквей и масонских лож. Были колоритные костюмы и униформы, много музыки и барабанов, и промокшие демонстранты совсем не казались

несчастными: наоборот, их лица были неизменно вдохновлены. Они, несомненно, думали, шагая перед толпами, собравшимися по сторонам главной улицы, о величии Америки, о ее демократии и о том, как отлична эта страна от всех прочих стран в мире.

Потом мы пробыли у полковника еще несколько дней, гуляли с собакой, я рассказывала о наших делах. Полковник проявила необычное для нее дружелюбие к десятилетней девочке — так как Ольга была, несомненно, очень добра с животными. Но мою идею о пансионе полковник встретила глубоко отрицательно — в основном, потому что я говорила о пансионе где-то в Европе. Сама она, проведшая половину своей жизни в Англии, а затем — на европейских театрах войны, считала со свойственным американцам патриотизмом, что «все американское — самое лучшее в мире». Включая и школы.

* * *

Представлять мою дочь старым друзьям, знакомым с первых дней в Штатах, всегда было для меня большим удовольствием. Так нас приглашал старый мой швейцарский друг дипломат Антонино Яннер, служивший теперь свой последний год послом в Риме. Он написал мне, чтобы мы приехали к нему с Адрианой в Рим, и обещал показать нам Рим и окрестности. «Это — последний год, когда у нас имеется такая возможность. Я ухожу в отставку, — писал он, — и, насколько я помню, вы почти не видели Рима!» — пошутил он, напоминая мне о моем трехдневном нелегальном сидении в Риме в 1967 году.

Я безумно хотела поехать, начала собираться. Но поездка в Англию на телевизионную программу с Маггериджем испортила все наши планы: позже, в июле, в Риме было бы уж слишком жарко. Я думаю, что Яннер и Адриана были обижены; и я сама была так огорчена тем, что наша встреча через многие годы — и теперь с Ольгой — не состоялась. Безусловно, Яннер очень одобрял английские пансионы Швейцарии и считал — как и я, — что не может быть лучшего интернационального образования для подростка. Нам следовало бы бросить все планы с Би-би-си и ехать к Яннерам в Рим… Но встреча с Маггериджем была уже запланирована, даты, к несчастью, совпадали с приглашением Яннера и пришлось последовать в Англию. Я никак не могу простить себе этой глупости, тем более, что Яннер и Адриана, как люди, значили для меня куда больше, чем эксцентричный, легкомысленный Маггеридж: и программа с ним оказалась плохой, как и следовало бы ожидать. Но Маггеридж был

настойчив, нахален и не давал подумать, а Яннер — как всегда джентльмен и чрезвычайно вежливый человек, оставил все «…как вам будет удобнее». В результате — пришлось мне ехать в Англию, а позже уже ничего нельзя было предпринять.

Яннер вскоре ушел в отставку и был очень болен.

Мы еще переписывались недолго, а потом он замолчал… Вскоре — уже живя в Англии — я узнала, что он умер. Ни вдова его, ни сын — выросший «бывший мальчик» Марко, теперь врач, не отвечали мне. Так печально окончилась большая дружба, на которую у меня были такие надежды — если бы осуществилась наша поездка к ним в Рим в июне 1981 года. И я так хотела представить ему мою Ольгу, которой я всегда могла гордиться. Только предвзято настроенные люди не поддавались очарованию этой прелестной, умной и живой девочки. Обычно же она покоряла всех.

Несколько ранее мы отправились с нею вместе на встречу с другим старым другом давних лет. Это был тот самый секретарь посольства Штатов в Дели, к которому я обратилась за помощью по поводу моего невозвращения в СССР в марте 1967 года. Мы с ним вместе проделали тогда незабываемое «путешествие» из Дели через Рим в Женеву. Боб Рэйл и его жена теперь приглашали нас с Ольгой провести с ними каникулы в Северной Каролине — они снимали там, на песчаном пляже, чей-то летний дом. Мы загрузили наш «датсун», собрали необходимые карты для поездки и двинулись на юг.

В августе, когда все американцы садятся в машину и отправляются из дома куда глаза глядят, движение на шоссе было ужасным. Но я могу найти дорогу по карте и по туристским справочникам. Теперь я полностью освободилась от моих старых страхов езды за рулем вместе с Ольгой. Эта поездка была наслаждением, и мы обе всегда вспоминаем ее.

Нет ничего лучше для отдыха, чем путешествовать за рулем по дорогам Америки. Я уверена, что нигде больше нет такого обслуживания автомобилистов-путешественников, как здесь. И столько всего нового — увидеть страну, узнать ее историю. По дороге мы осмотрели порт в Норфолке, где стоит на причале яхта Кусто. А Ольге понравился питомник диких пони в Мэриленде, где они живут свободно, гуляют по лесам, плавают в заливе.

Мы катились по шоссе, пока появлялся перед нами «Мак-Дональд» или «Кентаки-Жареный-Цыпленок», эти непременные остановки всех американцев с детьми. Ольга чувствовала себя в то время стопроцентной американкой, такой же, как все дети вокруг нас: ее поведение ничем не выдавало ее «происхождение» и ее знаменитых предков. И она не знала тогда ни слова по-

русски.

Как всегда при встрече с Бобом и его женой, мы неизменно возвращались памятью к нашей первой встрече в посольстве США в Дели и ко всей истории моего «перебега», включавшей наш совместный полет на авиалинии «Куантас» от Дели до Женевы… Мы каждый раз вспоминали подробности и неизменно находили нечто новое, незамеченное ранее. Когда-нибудь вся история моего «перебега», хранящаяся в Вашингтонском архиве, будет в числе документов, доступных публике. Но пока этого не случилось, мы наслаждались воспоминаниями. Теперь и моя дочь могла послушать!

Мы всегда начинали с того момента, когда Боб Рэйл был вызван из своего дома в Дели (рабочий день уже окончился) в посольство встретить советскую перебежчицу, ждавшую в комнате рядом с гардемарином на посту. Боб взял тогда мой паспорт, прочел то, что там значилось, — мое имя — Светлана Иосифовна Аллилуева — и посмотрел на меня. Затем мы пошли в комнаты наверху, где присутствовал также — по статусу, консул. Там я написала свою биографию-заявление, где меня попросили изложить причины, почему я пришла в посольство. Я не знала тогда, какой была первая реакция американцев — об этом Боб рассказывал мне много позже. Оказывается, многие думали, что это был какой-то хитрый трюк КГБ. Другие полагали, что я была действительно той, за кого себя выдавала, но что, возможно, я не понимала как следует, что делала. Никто не отнесся к факту с полной серьезностью. Сообщили американскому послу, лежавшему в постели с гриппом, и он решил немедленно же вывезти этого перебежчика из Индии, так как индийские власти вскоре могли законно потребовать моей выдачи. Как только была установлена моя личность, новость немедленно же просочилась через Государственный департамент в прессу…

Мы тем временем отправились из Дели самолетом, летевшим через Тегеран и Рим в Лондон и Вашингтон. Наутро, когда мы приближались к Риму, все газеты были уже полны сообщениями, причем было указано имя второго секретаря посольства в Дели Роберта Рэйла.

Когда мы приземлились наконец в аэропорту Да-Винчи, нас встретили очень взволнованные служащие американского посольства в Риме, сразу же отозвавшие Боба в сторону. Я, конечно, ничего не понимала и ничего не знала, и была уверена, что лечу в Вашингтон — как меня заверил Боб. Пытаясь увидеть тем временем «немножко Италии», я оглядывалась по сторонам. И когда мне сказали, что мы «должны на некоторое время задержаться в Риме», у меня не было против этого никаких

возражений.

Никто, конечно, не сказал мне ничего о газетах и о негодовании итальянского правительства, разрешившего мне пробыть здесь «только два часа в аэропорту». Не знаю, чем мое присутствие было столь опасно для Италии, но, по-видимому, его здесь никак не хотели. Боб прямо на глазах становился все более мрачным, так как мы, проведя здесь лишь некоторое время, должны были найти страну, куда мне разрешили бы въехать: дело в том, что Вашингтон переменил мнение и решил, что сейчас мое прибытие будет нежелательным. (По всей вероятности, велись переговоры с Советами, и, как всегда, никто не хотел никаких чрезвычайных происшествий в это время, никаких осложнений.) С помощью посольства в Риме, Боб должен был найти для меня иное место следования, а так как мне не разрешалось оставаться в Италии, все усложнялось.

Предоставив новости прессе, никто не подумал о том, что Бобу будет очень трудно теперь что-либо предпринять… Такие «утечки информации» всегда помогают только Советам, так как информируют их о происходящем. Сенсационные сообщения с преждевременным указанием мест и имен — типичны для «свободной прессы». Боб Рэйл и посольство в Риме столкнулись с весьма сложной ситуацией.

Я провела тогда безвыходно три дня в маленькой квартирке в Риме, не зная даже улицы, где она находилась, и ничего не видя из окон, кроме белья, развешанного на веревках по-итальянски, на высоте второго этажа. Квартирка состояла из гостиной и спальни; я сидела в спальне, а все остальные, очевидно, сотрудники посольства — в гостиной. Телефон там звонил беспрерывно. Бледный и расстроенный Боб наконец сообщил мне, что «в силу некоторых причин» я не могу следовать прямо в США, что надо было остановиться где-то, чтобы выяснить, «как пойдут дела». Его все время звали к телефону, вызывали в посольство, и он получал множество противоречивших одно другому указаний.

Для него было большим облегчением то, что я не задавала вопросов, не устраивала истерик по случаю отказа и вообще не вмешивалась в курс событий. Я же просто была счастлива «вырваться из клетки», и более всего довольна тем, что, очевидно, никто не собирался меня отослать обратно в Москву. Поскольку мне ничего не объясняли, детали происходившего вокруг не имели значения для меня. Сорок один год своей жизни я прожила, не принимая решений: кто-то их принимал за меня. Надо было только иметь терпение, ждать, а главное — быть вежливой и приятной — сохранять хорошие манеры. Последнее оказалось очень полезным в данных обстоятельствах, так как

Советы уже объявили через свои посольства во всем мире, что «Аллилуева — больная женщина и ее слова нельзя принимать всерьез». Поэтому, веря Москве или не веря, от меня ожидали неврастенического поведения. Но поскольку я не курила, не принимала успокоительных или снотворных пилюль и не рыдала, все поняли, что, очевидно, это было намеренным распространением лжи из Москвы.

Мне принесли тем временем журналы и книги, и я углубилась во всемирно известный — но совершенно недоступный нам в СССР — роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Ведь я была прямо из Индии, полная того равновесия духа, которым Индия славится. Никогда еще в моей жизни я не была так спокойна, так уверена, что все будет хорошо. Это были уроки трехлетнего общения с индусами, и конечно, с самим Сингхом. И мне было так приятно, что я нанесла пощечину советскому правительству! — Они заслужили ее, они «просили этого» — как говорят американцы. Все их вмешательство в личную жизнь людей, вся их бюрократическая система преследований, наблюдений, запретов и регулирований… Они проявили все это достаточно в нашей с Сингхом истории, так пусть и получают, что заслужили. Глупость должна быть наказана.

В Вашингтоне также хорошо было известно, что я: а) ничего не просила в своем заявлении о предоставлении мне убежища в США; и б) что я готова была ехать «в любую англоязычную страну, но не находящуюся под советским влиянием». Я подписала целый ряд бумаг, с выражением именно этого согласия. Это было сделано во время моего пребывания в Риме. Я никогда не просила о разрешении въехать в США — ибо просто не знала всех формальностей такого требования. Но я определенно не желала возвращаться в СССР — и об этом высказалась вполне конкретно. Я подписала бумаги, выражающие мое согласие ехать в Австралию, в Новую Зеландию, — мне было безразлично куда — лишь бы говорить по-английски и не находиться под давлением коммунистов или сочувствующих ему режимов и партий… К сожалению, я теперь понимала, что Индия возвратила бы меня назад в Москву: влияние СССР там было в то время очень сильным.

Пока мы сидели в Риме, американцам удалось убедить Швейцарию временно дать мне визу на въезд. Я согласилась на условие: «никакой политической активности», что означало также, насколько я это понимала, не встречаться с прессой. Швейцария в то время не занимала моих мыслей, я ничего не знала о ней, помимо общих исторических и географических

сведений: я никак не представляла себе, что смогу вдруг оказаться в Швейцарии! Этот поворот был странным для меня, но все же я не спрашивала ни о чем и принимала то, что давали, то, что было возможным.

И тогда в печати появились новые сенсационные заголовки: «Она переменила свое решение». «Она решила отправиться в Швейцарию для отдыха». И «она больше не ищет политического убежища в США». Идея об отдыхе в Швейцарии была особенно смехотворной, потому что я чувствовала себя наилучшим образом после двух месяцев в Индии. Никогда не чувствовала себя лучше! Но в прессе всегда все извращается. К счастью, я просто ничего не знала ни об этих новых заголовках, ни о первоначальной буре. Все это я увидела и узнала только позже, уже в США… И я не «переменила решения»: это Государственный департамент взял назад свое первоначальное согласие. В моем паспорте ведь уже была виза США, данная мне в посольстве в Дели.

Теперь, вспоминая о тех днях, Боб и я без конца обсуждали все эти детали. Боб, конечно, мог вносить в эти воспоминания все новые и новые факты, неведомые мне ни тогда, ни позже. Но я любила самую память тех дней, когда во мне не было ни тени сомнений, что я поступала правильно. Что все «образуется» так или иначе. Я просто сидела тогда в той маленькой квартирке в Риме и надеялась на лучший исход.

Тем временем пресса предложила публике еще одну «новость»: оказывается, я решила поехать в Швейцарию, «чтобы забрать деньги из швейцарских банков, которые положил туда мой отец». Такой поступок был бы вполне нормальным для любого иного европейского диктатора, но заподозрить в этом моего отца было просто смешно. Он вообще не думал о деньгах, живя полностью за счет государства, и никогда никому ничего не «оставлял». У него не было собственности, а все его жалованье, почетные награды и стипендии — все это собиралось годами в его кабинете, в пакетах, а после его смерти было немедленно же взято государством. Однако сообщения прессы показались публике достоверными. Много позже я встречала людей, спрашивавших меня о тех самых деньгах; о моем «наследстве», полученном из банков Швейцарии. И сколько я ни уверяла, что все это было неправда, верили газетам, а не мне… Я была не в состоянии объяснить им, что тогда, в 1967 году пресса предложила публике ложь, без проверки фактов, ложь, подсказанную неизвестно кем. Но, «что написано пером, не вырубишь топором».

…Тем временем, поскольку я не могла показываться на улицах Рима, еду нам приносили из маленького ресторана. Это

были мясные фрикадельки, макароны и кьянти. Мы болтали и шутили с Бобом, и все выглядело совсем не драматично, благодаря чувству юмора, в котором мы оба упражнялись. Я была в оптимистическом настроении — а Боб между тем сообщал своему начальству о моем вполне рациональном и даже веселом поведении. (Это и сыграло решающую роль в окончательном разрешении на мой въезд в США: я не настаивала на нем, а просто спокойно ждала и ни о чем не спорила…)

Пришла женщина из посольства, узнать не нужно ли мне что-либо купить в магазинах. Она купила мне новый чемодан и пальто, чтобы я оставила в Риме те, что были у меня, т. е. как-то изменила бы внешний облик. Она принесла также несколько головных платков и темные очки, — для того, чтобы я окончательно была бы неузнаваема, но это заставило меня рассмеяться. Идея «маскировки» напоминала мне детективные романы и фильмы — нет, я не могла участвовать в таком цирке! Разве я делала что-то секретно? Все было всерьез, а потому лучше без этих смешных штук. Чемодан, между прочим, был красного цвета, и он сохранился до сей поры: Ольга его очень любит.

Чемодан этот — с моей рукописью «Двадцати писем к другу» в нем и с одеждой еще из Москвы — был отправлен в аэропорт заранее, куда мы с Бобом должны были приехать в последнюю минуту. Наши билеты были на имя мистера и миссис Рэйл. По дороге в аэропорт мы распевали «Орриведерчи, Рома!» и вели себя, как школьники, которым наконец позволили выйти из класса. Когда мы прибыли в аэропорт, чтобы лететь в Женеву, Боб ушел первым, а меня попросили подождать. Возник новый план: так как камеры итальянского телевидения были уже приготовлены, чтобы зафиксировать нашу посадку в самолет (секретность не помогла!), меня решили провести через пилотский вход, куда доставляется почта и провиант. Поэтому мы отъехали куда-то к ангарам и стали ждать там маленького «скутера». «Скутер» был крошечный, я поместилась позади перепуганного итальянца-водителя, не знавшего ни слова по-английски. Затем «скутер» начал свой путь к самолету уже в темноте вечера, под ослепляющими огнями откуда-то с далекого расстояния. Я, конечно, ничего не понимала, что происходило — какая-то комедия! — но решила, что ладно, так надо. Никто не объяснил мне ничего, почему мы садимся в самолет таким странным образом. Я просто решила, что все это, как детективный роман…

Но в тот момент, когда мы уже были близко от самолета, мы увидели высокую фигуру, жестикулировавшую нам: «Стоп! Стоп! Поворачивайте обратно! Уезжайте!» Мой бедный итальянец, уже и

так достаточно испуганный странной затеей, совсем ошалел, и наш мотор заглох. Он старался изо всех сил, обливаясь потом, завести его, а тот высокий все махал руками, чтобы мы убирались отсюда. Наконец, мотор заработал и мы ринулись назад, к ангарам. Здесь итальянец знаками показал мне, чтобы я слезла, и тут же укатил, оставив меня одну среди каких-то построек и складских бараков. Было темно. Я стояла с сумкой в руках, ничего не понимая.

В здании, напоминавшем большой склад, был свет, я вошла в дверь. Никого. Поднялась по лестнице несколько ступенек и села — просто потому, что ноги не держали. Не знаю, сколько времени я просидела так, на каменных ступенях, но мне казалось, что вечность. (Прошло на самом деле больше часа, с тех пор, как мы расстались с Бобом.) Я просто сидела и ждала, что будет дальше… Не бросят же меня вот так, — кто-нибудь должен появиться.

В то же самое время Боб сражался с командой возле входной двери самолета, — где ожидало телевидение — чтобы ее не закрывали. Он не мог понять, почему я еще не появилась через другой вход. Но он не мог улететь «без миссис Рэйл» и потому не давал каманде закрыть двери и требовал «ждать миссис Рэйл, у которой уже есть билет!» Он не знал, что нас развернули и отослали прочь от самолета. Наконец, ему пришлось сойти, дверь закрыли и самолет улетел — с моим чемоданом… Боб был в самом деле озадачен, куда же я девалась, строил разные предположения и даже подумал, что я пропала или меня похитили и теперь будет вообще Бог весть что…

В аэропорту он долго не мог найти никого из тех, кто привез нас сюда, и никого не мог спросить обо мне. Наконец, он нашел кого-то и поехал искать меня где-то возле ангаров, ничего не зная точно. Когда я наконец увидела его, мы бросились друг другу на шею: я тоже боялась, что я уже никогда его не увижу…

Была уже ночь, и нас отвезли на какую-то другую итальянскую квартиру, где все заснули от изнеможения в креслах небольшой гостиной. Наутро мы должны были сесть в нанятый самолетик и убраться из Италии. Теперь это уже был полный скандал!

В предрассветные часы нас отвезли в аэропорт, и машина въехала прямо в ангар, где ждал маленький «Ал-Италия». Мы сели, и самолет, выкатив из ангара, сразу же поднялся.

Это был чудесный полет через Альпы, и поистине было чем любоваться, глядя через иллюминаторы на розовевшие снеговые вершины. Боб был бледен и измучен всеми этими днями ожидания и последними происшествиями. Он начал объяснять

мне, что будет дальше, так как в Женеве мы должны были расстаться, и ему следовало вернуться в посольство в Дели. В Женеве меня встретит швейцарский представитель министерства иностранных дел синьор Кристино; он представится, и я должна следовать за ним, быстро, — так как могут и там уже быть корреспонденты. Американское посольство будет в контакте со мной. «Мы не бросаем вас на произвол судьбы. Нам просто нужно время, не сразу… Я хотел показать вам Вашингтон, памятник Линкольну, все остальное… Я уверен, что я это еще сделаю!» Его уверения были не очень впечатляющими. Он был озабочен возможностью столкнуться с корреспондентами и здесь. «Не отвечайте ни на какие вопросы. Просто скорее идите в машину! Не говорите ни слова». Боб тоже ждал встречи с корреспондентами, но мы должны были пойти в разные стороны.

Настал момент прощания, и мне было не только грустно, но и жаль Боба, столько намучившегося со мной во всех этих передрягах: по существу, мы стали друзьями навеки. «Не волнуйтесь! — сказала я, — все будет хорошо!» — «Вы просто замечательная», — ответил он. (Позже он признался, что в тот момент он не был уверен, что я когда-либо попаду в Вашингтон.) Но я, не ведая о всех волнениях, причиненных моим побегом, радовалась тому, что «дала пощечину» тем, в Кремле…

Итак, Боб побежал к машине американского посольства, а я последовала в другую, за мистером Кристино. Репортеры уже были вокруг, фотографировали, выкрикивали свои вопросы ко мне. Машину Боба преследовали, пока они не пересекли границу Франции, и под вечер, усталый и голодный, он, наконец, достиг Парижа. «Я так хотел съесть что-нибудь вкусное в Париже! Но за поздним часом мне достались одни лишь американские „хот-доги“», — потом рассказывал мне он. Затем он возвратился в Дели.

Теперь мы смеялись, вспоминая обо всем этом, акцентируя смешную сторону. Но для Боба все это было тогда совсем не смешно. «Оставим эти „римские каникулы“ для ваших мемуаров, Боб», — повторяла я ему через годы и годы, поскольку я ничего не писала об этом в своей книге о побеге «Только один год».

Но лучше уж рассказать об этом здесь, двадцатью годами позже, пока я совсем не забыла подробности и впечатления.

* * *

В середине 70-х годов одна богатая дама в Принстоне, моя давняя приятельница, спросила — почему я не переиздам мои

старые «бестселлеры», две книги, пользовавшиеся таким спросом несколько лет назад. Все знали к тому времени, что мои финансы были подорваны. Идея была нормальной и обычной для любого автора, но с моими книгами все обстояло куда сложнее, чем она полагала. Я не хотела снова обращаться к фирме «Гринбаум, Вольф и Эрнст» и обратилась к молодому адвокату в Принстоне, знающему литературные дела. Он взялся просмотреть все мои старые бумаги и соглашения.

Выяснилось, что действительно я могла бы переиздать мою вторую книгу — «Только один год», если весь тираж уже распродан. Оказалось, что нет, как сообщил издатель. Почему же тогда я никогда не вижу мою книгу на полках магазина «Харпер энд Роу»? Где же тогда тираж — на каких-то складах? Лавка издательства «Харкорт Брэйс» всегда имеет в продаже мои книги… Почему же такое странное отношение моего издателя к своей же продукции? Права на переиздание моей второй книги были возвращены мне, лишь когда мы уже уехали в Англию, после 1982 года. Слава Богу, у меня был вполне легальный, нормальный контракт с издателем на эту книгу, подписанный еще в 1968 году.

С первой же, всемирно известной моей книгой «Двадцать писем к другу» дело обстояло куда сложнее, как разъяснил мне теперь молодой принстонский адвокат.

Подписав в марте 1967 года, в Швейцарии, соглашение с непонятным мне «Копексом» (где-то в Лихтенштейне) и получив, как мне казалось, «аванс от издателя», я по-существу продала все свои авторские права. Таинственный «Копекс» уплатил мне полтора миллиона долларов за все эти права без остатка. Мне показали тогда же пачки банкнот в чемоданчике (как это делается в детективных фильмах), а затем деньги были немедленно помещены в банк на имя фирмы — не на мое имя, конечно же. Довольная тем, что — как я полагала — наконец я обрела издателя, я не расспрашивала обо всех этих непонятных мне вещах и деталях. Но эти «детали» впоследствии и оказались моим огромным несчастьем.

Это соглашение (о правах) вместе с двумя доверенностями адвокатской фирме,[17] — испрошенными у меня и подписанными по их настоянию, — лишили меня всех прав вмешиваться в процесс издания и переиздания моей книги. Я лишилась всех прав на свою первую столь знаменитую книгу. Это было бесповоротно.

Позднее, в 1972 году, все права «Копекса» были переданы (каким образом? — я не знаю) Благотворительному фонду Аллилуевой в Нью-Йорке, то есть из рук швейцарского адвоката

«Копекса» все перешло теперь в руки все той же фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст», поскольку они были опекунами этого фонда. И с той поры все права на мою первую книгу оказались запертыми навеки в Благотворительном фонде — распустить который я не имела права… И конечно, я не могла распоряжаться ничем относительно «Двадцати писем к другу» — хотя я была сама же учредительницей Фонда, и это мои деньги за книгу были вложены в него. Неслыханная ерунда!

Проходили годы, менялись опекуны Фонда Аллилуевой. Но не было никакой возможности вернуть автору копирайт книги. Все было предусмотрено так, чтобы я осталась ни с чем.

Мне такая практика казалась аморальной, неэтичной, и многие — в том числе многие адвокаты, пытавшиеся что-либо сделать, чтобы разрубить этот узел — соглашались со мною. Фирма «Гринбаум, Вольф и Эрнст», основанная в начале века, просуществовала до 1982 года, когда была закрыта — по неизвестным причинам. Но соглашения, сделанные ею для меня, остаются в силе. Из прежних опекунов Фонда Аллилуевой, ныне отошедших от этой должности, остаются в живых Кеннан, Шварц и Морис Гринбаум: но они не желают даже слышать, что-либо о прошлом. Мои книги, ставшие бестселлерами, были не в моих руках. Для обеих книг, попавших в престижный Клуб ежемесячной книги, не было никакой возможности переиздания, обе они создавали теперь только проблемы для их автора.

Такова была печальная картина моей писательской деятельности, объясненная мне незаинтересованным, объективным адвокатом в конце 70-х годов. Как автор моих книг я могла быть уже мертвой; во всяком случае, легально я уже как бы не существовала. Я полагаю, что со стороны Кеннана — писателя, опубликовавшего столько книг в Европе и Америке — было бы только естественно и дружелюбно попытаться помочь другому писателю, судьбой которого он так много занимался в первые месяцы его появления в Америке. Но все мои попытки поговорить с ним на эти темы встречали его нежелание «ворошить прошлое», в котором он сам был столь активным участником. Он даже притворялся что «ничего не понимает в этих делах», хотя с его собственными изданиями все было в порядке: все его права, безусловно, были у него в руках. Потому-то в последние годы моей жизни в Принстоне мне больше не представилось случая для приятной встречи с ним.

* * *

Хорошо было съездить на Лонг-Айленд после многих лет, и снова следить здесь за приближающейся весной, как тогда в 1967 году. Старый мистер Стюарт Джонсон, чьей гостьей я была тогда, давно уже умер. Я приезжала на его похороны и заупокойную службу в Локуст-Вэлли. Но с тех пор я не была в этих краях, давших мне когда-то мое первое впечатление об Америке.

Теперь приятель из Принстона предложил поехать в северный конец Лонг-Айленда, где я когда-то останавливалась возле Бриджхемптона у Элеоноры Фриде. Возле моего дома в Принстоне зацвело молодое сливовое дерево. Мы ехали медленно, чтобы ничего не мелькало, чтобы можно было смотреть вокруг, думать и созерцать. Обогнули Нью-Йорк с юга. Теперь океан был справа от нас, синий и еще холодный. Мы приближались к фермам и полям Бриджхемптона. Я узнала маленький дом Элеоноры Фриде на пустынном пляже.

В 1967-ом, незабвенном году, после всей шумихи в прессе, после телевизионных интервью и публикаций отрывков моей первой книги, я была здесь в летние месяцы. Эта предварительная публикация — абсолютно исказившая мои факты, мысли, самую историю — сжатый «дайджест» книги, приготовленный моей переводчицей без консультаций со мною, оскорбила и ужаснула меня. Я поняла, что как автор я больше не существую: с моим текстом другие могут делать все что им угодно… А здесь на берегу можно было забыть обо всем этом. Надо было забыть, чтобы совсем не спятить.

Теперь же я прогуливалась по тому же самому пляжу, собирала отполированные морем камешки и куски дерева, смотрела на чаек. Кругом было пустынно, дул свежий ветер. Что могла я сказать, оглядываясь на те первые дни шумного успеха и все еще радостных, наивных ожиданий?

Я постарела на пятнадцать лет; у меня дочь-американка — моя реальная опора и основание, на котором все зиждется теперь. Иначе не было бы никакого смысла существования. Я разочаровалась во многих людях — это личные разочарования. Мне горько, что всегда на первом месте стояли деньги. Вся жизнь, все остальное — потом… Я не могла простить моего мужа и его Товарищество, тоже жаждавших от меня денег. Я любила его, и не жалела давать и платить за все, разорив себя, оставив дочь без средств для образования, а он — принимал все дары и никогда не беспокоился о ней, о ее будущем. Мне было горько, что погибла мечта о семье и доме в моей новой стране. Это было горше всего, гибель мечты, а не денег.

…На пляже бегали и весело скакали две громадные белые пиренейские овчарки, играли с набегавшими волнами, охотились

друг за другом. Женщина в ярко-желтой куртке играла с собаками, держа в руке две длинные веревки, привязанные к их ошейникам. Человек с седыми волосами и молодым лицом восторженно следил за собаками, совершенно поглощенный ими. Он был в песочного цвета куртке и сидел на песке на старом одеяле. Ветер играл его белыми волосами, белой длинной шерстью собак, вздувал их длинные пушистые хвосты, сдувал пену с волн. Вся эта картина была так хороша в своей законченности, в своих строгих неярких, гармоничных красках, что я сфотографировала их всех моей маленькой карманной камерой.

Когда, только что приехав в США, я могла бы выбирать любой вид деятельности для себя (или я так полагала), я очень хотела серьезно заняться фотографией, чтобы сделать книгу фотопортретов Америки… Затем научиться снимать фильмы и сделать фильм о красоте природы. О том, что природа говорит нам в своем молчании, в своих бессловесных посланиях. Это никогда не осуществилось. Вместо этого мне постоянно предлагали «преподавать русский язык» или же «заняться советскими делами» — ненавистная мне деятельность! Но — это был шаблон: все перебежчики кончали либо преподаванием языка, либо «специалистами по советским делам». Мне не нужно было ни того, ни другого, у меня были свои мечты. Но я никогда не достигаю того, чего хочу. Вместо моих мечтаний я стала разведенной матерью маленькой беззащитной девочки, которую нужно было вырастить и научить жить в этом жестоком мире.

Моя дочь, по всей вероятности, окончит европейскую школу-пансион, и в соответствии с хорошими традициями этих школ будет куда лучше подготовлена к независимой жизни, чем ее мать-эмигрантка. Она будет естественно принадлежать этому обществу, где мне было так трудно отказаться от моего идеализма ради чего-то более практического. Я всегда верила в хорошие школы, в учителей — куда более важных в жизни, чем родители, гены, наследственность, национальность и вся прочая чепуха. Среди частных и религиозных независимых школ все еще можно найти такие, которые учат жизни. Но стандартные государственные питомники для молодых зверей — эти будущие «фермы животных» — уже стремятся повсюду вытеснить частные школы и пансионы, которые, к великому несчастью, доживают свои последние дни.

…Крепкий ветер срывал белую пену с верхушек волн и трепал длинную белую шерсть двух больших собак. Мне трудно было вспоминать ту давнюю, первую весну. Слишком много всего прошло с тех пор, и я забыла ее ощущение…

Я возвратилась домой в Принстон поздно ночью, унеся с собой фотографию песка, моря, двух белых собак и седого человека на берегу. Дома я нашла бебиситтершу с ее молодым человеком, уютно смотревших телевизор в детской комнате. Свет горел, телевизор работал на полном звуке, а Ольга спала тут же на диване, прямо в платье. Было около трех часов утра. Я расплатилась с ними, взяла девочку наверх, раздела ее, уложила в постель. Она даже не проснулась. Слава Богу, — она была не плакса и не хрупкий цветок.

* * *

Только прожив десять лет в США как резидент-иностранец я имела, наконец, право подать прошение о натурализации и принятии в гражданство США. Многие полагали, что я вышла замуж с целью обрести таким образом американское гражданство. Но законы США часто неизвестны самим же американцам. Брак «помогал» таким вот образом только до второй мировой войны.

С 1969 года я жила без гражданства, после того как советское правительство, рассердившись, лишило меня советского гражданства. По правде говоря, мне нравилось жить так — не принадлежа ни одному правительству! Но поскольку теперь у меня была дочь-американка, чья судьба будет связана с Америкой, я чувствовала, что я тоже должна принадлежать ей, и наконец подала прошение.

Я привыкла к американскому образу жизни, у меня были хорошие друзья, мне нравились многие места, где мы бывали и жили, и в то время я не представляла себе, что мы будем жить где-либо еще. Это был год 1978. Я еще не думала о европейской школе-пансионе для моей дочери.

В день экзамена меня сопровождали три свидетеля из Принстона, из штата Нью-Джерси, где я прожила дольше всего в Америке. Это были учительница, соседка и приятельница. После этого настал день появиться в суде по делам Натурализации в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

В зале собралось девяносто таких же подавших прошение, как и я. Зал суда не мог вместить всех сопровождавших — их просили оставаться за дверью. Я стала смотреть на лица вокруг меня, — по преимуществу испанского или восточного происхождения, насколько можно было судить также по выкликаемым именам.

Прозвучало одно польское имя, один человек был из Афганистана. Мое имя «Лана Питерс», уже давно утвердившееся в практике к тому времени, никого не удивило. Для подавляющего

большинства здесь английский не был родным языком.

В этот ноябрьский холодный день (20 ноября) они были все тепло одеты, их одежда была опрятной, но дешевой. Люди выглядели очень серьезными, многие привели с собою детей, — наверное, не с кем было оставить. Дети вели себя тихо и тоже были одеты в лучшее воскресное платье. Эта толпа напомнила мне такую же в миссии Сан-Луи Рей в Калифорнии во время Народной мессы: этнический состав ее был таким же. Это были такие же работящие люди, и момент представлял для них огромное значение: натурализация означала для них лучшую работу, лучшую жизнь, постоянство, конец неопределенности. Поэтому они выглядели точно так же, как при получении причастия во время Народной мессы. Для них гражданство США было делом жизни. Никаких сентиментальных слов, столь любимых интеллигентами.

Нас вызывали по одному к столу перед судьей, чтобы подписать документ, по которому нам позже выдадут американский паспорт по месту нашего жительства. Возвращаясь на свое место после подписания бумаги, я видела внимательные, сосредоточенные глаза, оглядевшие меня так же, как они оглядывали каждого. Какое счастье, что не было репортеров! Все было так просто, естественно, с огромным достоинством и без ненужных слов. Судья, пожилой итальянец, в нескольких словах поздравил всех и пожелал нам хорошей жизни в США. Он призвал нас «не сражаться между собою и с другими, кто живет здесь». Он знал, что аудитория не имела времени и не была расположена к обильным словоизлияниям.

Каждый из нас получил маленький флажок — звезды и полосы, такой же, какой дети держат в руках на праздниках, — и мы пошли по домам. Моя приятельница сфотографировала меня с этим флажком в руке возле собора Святого Сердца в Ньюарке. Это была первая Олина учительница из школы Святого Сердца.

Когда я только что приехала в США в 1967 году, кто-то внес предложение в конгрессе, чтобы мне немедленно же было дано гражданство. Я никогда так и не слышала, что случилось с этим предложением. Я получила гражданство через одиннадцать лет, в полном соответствии с американскими законами.

Обычно иммигранты могут просить о натурализации через пять лет, и так делали многие, приехавшие из СССР. Но закон запрещает подавать так скоро всем тем, кто приехал из коммунистических стран или же сам был одно время членом коммунистической партии. Я принадлежала к тем, которые оставались «в карантине» целых десять лет. И тот факт, что я, находясь в партии коммунистов в СССР, никогда не была

активной политически, не был оценен по существу. Мое членство в партии было пустой формальностью — каковой оно является для множества людей в СССР. Возможно, что я могла бы попросить какого-нибудь дружественно настроенного ко мне конгрессмена ускорить мою натурализацию. Но зачем? У меня росла дочь-американка, я могла ждать, мне некуда было спешить.

Меня беспокоила лишь одна часть формальной процедуры: в присяге флагу США есть фраза — обещание «защищать Республику с оружием». Мы все повторили присягу в унисон, и я сделала то же самое. Однако я знала, что я не боец и что никогда не буду «держать оружие в руках» для любой цели. И все эти люди вокруг меня тоже не выглядели вооруженными бойцами. Вместо этого — подумала я — нам бы следовало всем дать присягу миру. С дочерью-американкой здесь и с детьми и внуками в СССР — о чем я могла еще думать, как не о Мире? Я думала о том, чтобы больше никогда не было войны и чтобы моя присяга флагу США стала бы мирной декларацией.

* * *

Среди всех моих друзей в Штатах, подаривших мне тепло и верность на многие годы, была одна, чей образ для меня символичен: безусловно, мне она представлялась в роли Матери. И мне хочется, чтобы она осталась перед глазами читателя, когда книга будет прочитана, закрыта и отложена в сторону.

Она родилась девятым ребенком в семье англичанина, обосновавшегося на Среднем западе Америки, в Айове. Он начал там успешное дело. Жизнь в маленьком городке была во всех отношениях провинциальной. Семья не знала бедности, но все должны были много работать, чтобы держаться на этом среднем уровне. Она выросла в подчинении у строгой волевой матери и в соответствии с уставами пресвитерианской церкви.

В правилах этой семьи, среди всего прочего, было нанимать на работу молодых иммигрантов и обучать их настолько, чтобы впоследствии они смогли бы выйти в жизнь самостоятельно. Заботиться о других и помогать им во всем было важным принципом отношений в ее семье, и это соединялось с глубокой верой в Бога и с уважением к запросам других людей. Эту школу человеческой этики она прошла с детства, и с ее врожденным сочувствием к другим она, возможно, смогла бы стать впоследствии гуманистом большого масштаба — если бы она не отдавала все свое внимание семье и особенно детям. Она рано вышла замуж, имела шестерых детей, любила самое материнство

и смотрела на него очень серьезно.

Но ее младшая любимица умерла от несчастного случая, другую дочь пришлось поместить на всю жизнь в лечебницу. А потом пришло и худшее.

Она очень любила своего мужа, молодого, вдохновенного священника, искавшего новых путей в пресвитерианской церкви и в отношении к человеку. Но ей, искренней и правдивой, невозможно было согласиться с ним во всем. В своем глубоком возвышении Природы, Жизни и всего натурального он вскоре пришел к увлечению модным тогда нудизмом. Не останавливаясь на полпути, он вскоре стал одним из лидеров этого движения, видя в нем духовные возможности и ценность отношения к человеку. Она много лет пыталась смириться с этим и приспособиться к его интересам, но внутренне понимала, что не сможет лгать. Ее муж проводил теперь большую часть времени в колонии нудистов, вдали от дома, и она в конце концов подала на развод в дни, когда разводы были все еще большой редкостью. Но она должна была жить в соответствии с своей собственной правдой — не его.

Позже оба они нашли других супругов, но она вскоре овдовела. Ее недолгий второй брак был очень счастливым и оставил дорогие ей прекрасные воспоминания. Четверо детей от первого брака, теперь взрослых, были очень близки с ней и всегда дорожили ее словом. Она жила после этого много лет одна, в своем маленьком домике на берегу озера Карнеги, в Принстоне.

Я встретила ее вскоре после приезда в Принстон в 1967 году через ее сына, оказавшегося моим соседом. Ей не составило никакого труда сразу же завоевать мое сердце: мягкая, спокойная женщина материнского облика, умная, полная достоинства — все, что я так любила в женщинах. Она никогда не сплетничала и всегда старалась понять точку зрения другого. Очень скоро я начала делиться с нею моими радостями и огорчениями. Я рассказывала ей о моем неудавшемся браке, о боли разлуки с детьми, а позже и с внуками в СССР. Она все понимала, у нее было большое сердце.

Я делилась с нею моими трудностями, будучи уже немолода и воспитывая дочь в незнакомой мне культуре. Ее реализм, ее равновесие духа и настоящая немелочная практичность всегда поддерживали меня. Она не была сентиментальной, легко плачущей «бабусей». Нет, она оставалась всегда сильной и женственной — даже в свои девяносто лет.

На празднование ее девяностого дня рождения съехалась вся ее семья, более тридцати человек. Они приехали «как бы вдруг», сняли местный клуб для большого празднования. Она могла

теперь наслаждаться плодами своей долгой жизни, своей любви к ним: теперь теплые волны внимания возвращались от них к ней. Она знала этот процесс круговращения любви и гордилась им, потому что в этом заключалась философия ее жизни. Она любила всех этих успевающих, шумных разнообразных людей, никогда не вторгаясь в их независимость, но и не позволяя им «руководить ее жизнью». Так, она наотрез отказалась от дома престарелых, когда кто-то внес эту типично американскую идею на рассмотрение. Такая «старость в детдоме» была не для нее.

Последние годы она обычно проводила долгое время, сидя в кресле возле большого окна, с обширным видом на озеро. Наблюдать отсюда за водой и отражениями деревьев, за птицами и растениями, впитывать их в себя было ее необходимостью: она умела созерцать, сливаться с окружающей красотой. В этом была глубокая потребность для нее. Возможно, также потому, что зрение ее постепенно угасало, и прекрасный вид озера и знакомых деревьев постепенно туманился и становился для нее все более и более недосягаемым.

Когда она не смогла больше читать, она стала слушать новые книги, записанные на кассеты, и нашла, что это даже лучше, чем держать книгу в руках… Соседи часто приходили, чтобы читать ей вслух ее почту, обширную, как у кинозвезды, и приходившую из многих стран мира: она любила людей, любила компанию. К ней приходили дети и подростки, молодая пара с неладами в семье, она со вниманием выслушивала истории иных жизней.

Ее гостиная, где она сидела в кресле у окна, была полна книг и журналов, кругом стояли растения в горшках и кадках, и в ее комнатах никогда не было атмосферы «старой женщины», жившей здесь. Она и не была «старухой», всегда чисто одетая, причесанная, со старомодным шиньоном седых волос, она сидела с прямой спиной и высоко поднятой головой — прекрасная поза, утраченная современными распущенными женщинами. В этой гостиной она провела последние тридцать лет своей жизни.

Она всегда отдавала много времени своей пресвитерианской церкви, хотя призналась мне, что ее сын — квакер — был намного ближе к ней в его вере. Терпимая к мнениям других, она участвовала во всех инициативах, направленных к поддержанию мира на земле, давая щедрой рукой на благотворительность и на все способы «установления мостов» и взаимопонимания в современном человечестве.

Она так наслаждалась преимуществами своего спокойного возраста и любила говорить на эту тему со своими молодыми посетителями, боявшимися «постареть» в их сорок, тридцать лет… «Я люблю оглядываться назад и наслаждаться прожитым.

Чего же здесь бояться?» — говорила она серьезно. И она совершенно не боялась смерти.

«Я готова к ней, я готова, — говорила она. — Не знаю, почему Господь все еще не зовет меня, вся моя работа давно уже сделана. Я думаю о смерти, как о новом виде опыта, интересном и важном. Безусловно, — это совсем не конец пути! Я ожидаю ее с любопытством…» В ее словах не было ни сентиментальности, ни проповеди.

Я приходила к ней, когда мы жили в Принстоне, всякий раз, когда мне так нужны были ее сила, ее житейская мудрость, ее спокойная вера и ее глубокая терпимость к мнениям других людей. Она была моей скалой спасения, и касаться ее было всегда утешением. Она всецело поняла необходимость школы-пансиона для моей дочери и благословила нас в поездку в Англию, которую и сама продолжала любить.

Через все годы моих открытий, сделанных в новой стране, годы надежд и энтузиазма, боли и разочарований, потерь и роста она всегда была моей спасительной скалой в бушующем море современного мира, в которое я бросилась так плохо подготовленная. И когда я думаю о ней и о всей ее жизни,[18] я всегда знаю и чувствую, как глубоко я, несмотря ни на что, люблю Америку. Ее Америку.

ДАЛЕКАЯ МУЗЫКА

Это — послесловие, но не эпилог.

Мы живем сейчас в Англии, где моя дочь учится в школе-пансионе квакеров. Я опять иностранец-резидент, но теперь с американским паспортом в руках. Тысячи американцев живут за границей, но никто не считает их «перебежчиками». Жизнь в Англии нелегкая, совсем не такая, как описывали мне ее некоторые мои знакомые, люди порядочного достатка. Мне неприятно думать, что Малькольм Маггеридж был прав, когда говорил, что «в эти дни многие уезжают из Англии в другие страны, а не наоборот».

Я надеялась написать и опубликовать здесь новую книгу, но пока что мне удалось лишь выпустить рассказ о жизни Эдит Чемберлен, озаглавленный «Девяностый день рождения», который вошел в сборник «Люди», изданный с благотворительной целью. [19] Мое имя в сборнике стоит рядом с отличными писателями Англии и знаменитыми людьми, которые все написали для него по рассказу. Все считают, что я также богата. Это — как глупая шутка. Жизнь все время играет шутки со мной: вроде того как, сбежав от русского коммунизма, я попала в коммуну Райта в Америке… Но я не теряю надежды на спокойную жизнь где-нибудь, когда-нибудь. Не теряю надежды издать новые книги в США или в Англии, писать еще и еще. Я — писатель, а не домохозяйка.

Люди думают, что я богачка, однажды написавшая «книгу о Сталине» и продавшая ее за миллион. Или — что кто-то пишет за меня. Богачи и кинозвезды часто нанимают писателей, чтобы выпустить свои автобиографии. Мало кто верит, что я — писатель, что писать для меня — это существовать.

Моя дочь счастлива в школе-пансионе, как я и полагала. Большая компания детей — это потребность ее натуры. К сожалению, она не попала в католическую или в англиканскую школу по моему выбору; но ей нравятся квакеры, это новый опыт для нее. Скоро я уже не буду в состоянии выбирать за нее: я знаю, что это время почти что наступило. Она все еще подросток, но общество говорит детям сегодня, что они уже, как взрослые; что они должны, обязаны принимать свои решения, сражаясь с родителями. Это — современное общество, в котором они растут и будут жить. Мы жили и росли в иные дни. Я предвижу наше с ней будущее: будет борьба! Она не тихое, застенчивое существо. Ее сила воли и упрямство поразительны, так же как и ее многие разнообразные таланты. Но в ней также есть глубокая, чистая

любовь.

Будь на то моя воля, и были бы у меня деньги, я бы, конечно, поместила ее в школу в Швейцарии, где ей предлагали место: но мне не давали там статуса иностранца-резидента. Швейцария впускает только очень богатых и именитых резидентов, как, например, пианист Владимир Ашкенази или маэстро Корчной. Но это все же самое мирное и самое интернациональное на земле государство, и я не перестаю восхищаться этой маленькой республикой с большой историей. Мне так хотелось бы вырастить мою дочь хорошо образованным интернационалистом. Я считаю, что это — самое важное в наше время.

Моя жизнь, по существу, совсем не является какой-то эксцентричной выходкой; по своей сути она символична для нашего времени. Но я родилась слишком рано. В следующих поколениях не будет таких понятий, как «перебежчики»: люди будут свободно путешествовать по лицу всей планеты и селиться, где им угодно. Но я была хорошо подготовлена именно к этому мышлению жизнью моих много кочевавших предков.

Около ста пятидесяти лет тому назад германские предки моей бабушки по материнской линии переселились из своего Вюртемберга в одно из многих немецких поселений тогдашней царской России. Они выбрали теплую, винодельческую, изобильную тогда Грузию за Кавказским хребтом. Русские цари давно уже ввозили немецких работников, крестьян, ремесленников, зная их добросовестную работу, моральный образ жизни и ответственность. Из «русских немцев» вышло немало выдающихся деятелей искусства и науки России.

Немецкие крестьяне и ремесленники Поволжья, Украины и Грузии, оставаясь крестьянами, занимались виноделием. Семейство Айхгольц владело небольшим ресторанчиком у дороги. В семье немецкая кровь смешалась с украинской и грузинской, позже — и с русской.

Семья Айхгольц была лютеранского вероисповедания. Моя бабушка — девятый ребенок в семье — была названа Ольгой, но говорила дома по-немецки, а вне дома — по-грузински. Ее русский язык был всегда плоховат, и с акцентом, насколько я помню ее в ее старости. Она всегда продолжала считать себя южанкой, обожала Грузию и считала ее своей родиной. Возвращение в Германию никогда не приходило ей на ум, — с этим было кончено. Однако немецкий она помнила хорошо, и всегда пела мне «Stille Nacht». Сегодня СССР насчитывает многие миллионы «русских немцев», не многим удалось выехать в Германию, а многим хотелось бы — но невозможно… Но это — результат советского режима. Поколение моей бабушки жило

счастливо в России тех дореволюционных дней. Их немецкая колония возле Тифлиса процветала.

Бабушка Ольга вышла замуж за молодого рабочего из Центральной России, переехавшего в Грузию в поисках работы. Помимо этого, его полуцыганское происхождение привило ему потребность постоянно кочевать с места на место. Он дал ей свое русское имя — Аллилуев, происходящее от «аллилуйя» — «хвала Богу», — а это означало, что кто-то в его семье был из низшего духовенства, — не старше рангом, чем дьякон, возможно пономарь или звонарь. Все мои предки, включая поколения простых крестьян со стороны отца, были из тружеников низших слоев общества.

Таким образом, моя полунемка бабушка и мой полуцыган дедушка оба считали Грузию своим домом. Там они встретились и поженились, там и родились их дети. Москва, Россия были для них — как и для всех типичных Грузин — далеким, холодным севером, куда их совершенно не тянуло. В Тифлисе они стали интернационалистами, так как этот город был — до большевистской революции — космополитической столицей, центром науки, искусства, торговли и церковного образования, связанным с Европой, Ближним Востоком, Персией, Турцией.

Вскоре дедушка Аллилуев примкнул к социал-демократическому движению — весьма популярному новому экспорту из Европы, — охватившему широкие круги тогдашней России. По своему социальному положению, однако, и по своему характеру дедушка, естественно, попал вскоре во фракцию левых ленинских большевиков, и с этой поры жизнь его и его всей семьи больше не принадлежала им. Они начали переезжать — сначала в Батум, потом в Баку, а затем и на север — в Москву и в Петербург. Дедушка сидел частенько теперь в тюрьме, а молодая жена и даже дети должны были принимать участие в подпольной работе партии. В это время Аллилуевы встретились с молодым Джугашвили-Сталиным, моим отцом. Но мамы моей еще не было тогда на свете, она родилась в 1901 году.

Несмотря на то что предки моего отца уходили всеми своими корнями в крестьянскую почву бедняков Грузии, и вряд ли знали о других странах и других языках, он порвал связи со своей родиной очень рано. Его мать, простая религиозная женщина, хотела сделать его священником грузинской православной церкви, но он вскоре погрузился в совсем иную «веру» — марксизм, принесенный сюда русскими социал-демократами, и с этим совершенно утратил все связующие нити с родным языком и родной землей. Россия стала его любовью и его одержимостью, он полюбил русских революционеров и даже холодную Сибирь, куда

его вскоре привела его деятельность революционера-подпольщика.

Когда мы с братом родились в Москве в 20-е годы, интернационализм был в духе эпохи, а потому никому не приходило в голову учить нас грузинскому языку. Русский был языком культуры. С раннего возраста нас учили также немецкому, во-первых, потому что это было также в духе эпохи (французский вышел из моды, как язык аристократов); во-вторых, потому что мама никогда не забывала своих германских корней.

Среди предков моей Ольги (названной, как читатель может догадаться, в честь бабушки) были — со стороны ее отца также датчане, французы и англичане. Питерсы были методистами и масонами, эмигрировавшими в Америку; прадед Ольги был методистским проповедником в штате Индиана. Обучение в пансионе в Англии для нее, по существу, совсем не «дальнее путешествие», а скорее — возвращение. Она схватила британское произношение очень быстро, а также полюбила восточную Англию Эссекса и Кембриджа.

В ее интернациональной квакерской школе она встретила детей со всего мира — из всех бывших колоний Британской империи — и впервые в ее жизни лицом к лицу встретилась с различными национальными культурами и традициями. Но Ольга считает себя американкой, а быть американцем в современном мире значит быть интернационалистом. По крайней мере так полагают сегодня лучшие умы Америки.

В Принстоне я знавала одну семью, три поколения которой были вовлечены в работу Организации Объединенных Наций, начиная еще с Лиги наций: деды, родители и внуки. Они были франко-чешского происхождения, затем в семью вошли американцы и представители Ближнего Востока. Я восхищалась этой семьей и думала, как хорошо было бы мне делать какую-нибудь работу для Объединенных Наций! Увы, имя моего отца закрывает мне двери повсюду.

Но, может быть, когда-то в будущем мою жизнь будут считать одним из примеров попытки разорвать «железный занавес», для того, чтобы все наши дети жили вместе на нашей планете. Может быть, обо мне будут думать и так! И это тогда будет моим вкладом в Объединенные Нации…

Конечно, я не оставила мир коммунизма, чтобы сделаться проповедницей еще одной, другой политической крайности. Правда не в крайностях, а в умеренном демократическом процессе, который не позволяет ни левых ни правых крайностей, не допускает диктаторства — ни марксистского, ни какого-либо иного — не дает никому узурпировать права народа, захватывать

в свои руки весь мир. С той поры как я оставила СССР в 1966 году, вплоть до сегодняшнего дня, мирные инициативы все время обсуждаются как между лидерами мировых держав, так и между простыми людьми земли. Милитаризма боятся, его ненавидят в любом закоулке планеты. Но Америка по-прежнему стоит оплотом демократических традиций, давая людям быть тем, чем они хотят быть, не допуская полного поглощения государством экономической, культурной и духовной жизни. Марксистские же революции пришли в конце XX века к полному порабощению мысли, хотя и не это подразумевалось вначале революционерами-идеалистами. Однако результаты изжили те давние идеи свободы, равенства, братства… Результаты подорвали марксизм как таковой, он уже не служит более идеалистическим умам сегодняшнего дня, как то было сто и более лет тому назад. Марксизм насаждается сегодня только с помощью советского оружия, армий, денег и ложных обещаний, щедро раздаваемых самым бедным, самым отверженным слоям населения Азии, Африки, Южной Америки — там, где нет образования, там, где Америку ненавидят за ее богатство, которым эти люди не могут воспользоваться… Ненависть и зависть питают антиамериканизм обедневших масс во всем мире, тогда как молодежь всего мира тянется к Америке и к ее идеалам. Но ведь будущее принадлежит молодежи.

Я так хочу мира на земле. Я так хочу, чтобы милитаризм перестал угрожать существованию нашей планеты Земля. Я желаю всем моим внукам — существующим и еще не родившимся, обнять друг друга без чувства какой-то «политической вины», без чувства виноватости оттого, что кто-то уехал жить в другую страну… Но то, что я вижу сегодня в мире, — удручает; и у меня нет рецептов для спасения, разве кроме Надежды и здравого смысла.

Надежда и здравый смысл существуют повсюду, в особенности в малых странах, не имеющих претензий на мировое господство. Существует громадный запас древней мирной мудрости Европы и Азии, христианства, буддизма, индийских традиций ненасилия… У Индии всегда было доброе имя в этой традиции. Но рецепт «спасения» лежит, право, в изменении нас самих, — нас, человеческих существ. Мы все стали такими ненавистниками, такими насильниками, такими агрессивными в нашей повседневной жизни и поведении. Каждую минуту мы разрушаем куда больше, чем создаем за всю нашу жизнь. И это не оттого, что мы — русские или американцы, или немцы, или японцы. Нет — это оттого, что род человеческий позабыл, что мы все — единая Семья Человека; что разрушение в одном конце

планеты несет свой разрушительный отзвук в другой конец земли, потому что мы все — единая плоть и кровь.

Жить в Англии — значит быть в самом центре планеты, узнавать новости изо всех уголков земли. Говорящий по-английски мир, говорит от лица всех людей. Но не удивляйтесь, дорогой читатель, если завтра вы найдете нас где-либо еще, в Европе, в Азии… Я мечтаю о юге Индии, где так живы древние традиции, но где также раздаются голоса современных интернационалистов, стремящихся соединить Запад с Востоком, Север с Югом в мышлении и в практике. И это удастся — если мы все не погибнем в атомной катастрофе, все вместе, а также наша планета, так как в будущей войне никто не «выиграет» и не уцелеет.

Как все верующие в Бога, я верю что Создатель не даст этому случиться с Его созданием. Но часто мне приходит на ум мысль, что, если люди слишком долго подрывают веру в Бога и в Его власть, — Создатель отвернется от своих созданий и покинет всех нас. И оставленные Им и Его мудростью, люди тогда пожрут друг друга и уничтожат все вокруг с помощью своих высоконаучных изобретений, которыми они так гордятся. И это произойдет независимо от их идеологий и от всех их философий.

В эти напряженные времена реальная мирная инициатива может прийти только от тех, кто обладает холодным рассудительным умом, от тех, кто мыслит здраво, а не эмоционально, от тех, кто достаточно дипломатичен, чтобы встать между двумя сражающимися драконами и спокойно предложить им сделать несколько шагов друг к другу. Только так возможно ослабить напряжение во всем мире, прекратить идеологические споры хотя бы на время, вспомнить о наших общих человеческих обязательствах, вспомнить, наконец, кто мы суть…

Кто знает? Возможно, Индия снова предложит миру свою древнюю мудрость ненасилия. Может быть, мировое христианство укажет человечеству пути. Быть может, некое новое соединение усилий всех религий мира найдет правильный путь для человечества. И не убий зазвучит тогда сильнее, чем когда-либо.

Но если эти слова больше не имеют значения, то, конечно, тогда не имеют никакого смысла ни жизнь, ни книги этого автора.

Англия, 1983. Кембридж
Вторая редакция — США, 1986
Спринг-Грин, Висконсин

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Заявление Светланы Аллилуевой, сделанное в посольстве США в Дели, Индия, 6 марта 1967 года

(Подлинник на английском языке)

Я родилась в Москве 28 февраля 1926 года. Мои родители — И. В. Сталин и Н. С. Аллилуева. Моя мать умерла в ноябре 1932 года, и, только достигнув шестнадцати лет, я узнала, что она покончила с собою. Она была на двадцать два года моложе моего отца, который хорошо знал ее родителей еще с 1890-х годов: ее родители были также вовлечены в социал-демократическое движение. Мои отец и мать поженились после Октябрьской революции.

Моя мать была второй женой моего отца. Первой женой его была Екатерина Сванидзе, грузинка, умершая вскоре после того, как родился их сын Яков. Хотя Яков был намного старше меня, он был моим дорогим другом, намного более, чем мой брат Василий.

В 1943 г. я окончила десятилетку в Москве и в том же году поступила в Московский университет. В 1949 году я окончила университет по специальности новейшая история.

Еще студенткой я вышла замуж за студента Григория Морозова. В 1945 году родился наш сын Иосиф. Мой муж был студентом Института международных отношений. Мы разошлись в 1947 году, и мой сын остался со мной. Проф. Г. И. Морозов занимается сейчас международным правом и недавно выпустил свою книгу об Организации Объединенных наций, известную в Америке. Он часто ездит за границу на встречи со своими коллегами в Канаде, Париже, Варшаве. Мой отец не одобрял нашего брака и ни разу не встретился с моим мужем, так как Г. Морозов — еврей. Но он никогда не настаивал на нашем разводе.

В 1949 году я вышла замуж второй раз за Юрия Жданова, сына А. А. Жданова. Мой отец хотел этого брака, так как он любил Ждановых. Но брак этот был несчастливым, и, хотя в 1950 году родилась наша дочь Катя, мы вскоре разошлись.

С тех пор я жила одна с моими двумя детьми. Я занималась историей русской литературы, а позже начала делать переводы для издательств. Некоторые из моих переводов были изданы в Москве: глава в книге А. Ротштейна (Лондон) «Мюнхенский заговор», глава в книге Джона Льюиса (Лондон) «Человек и эволюция». Я также писала внутренние рецензии для издательства детской литературы в Москве на переводы с английского языка.

Смерть моего отца в марте 1953 года мало что изменила в моей жизни. Я давно уже жила отдельно от него, и моя жизнь была всегда простой, такой она оставалась и после его смерти. Мой отец прожил последние двадцать лет на своей даче возле Кунцево, под Москвой.

Мой старший брат Яков, находясь в действующей армии в Белоруссии, был захвачен в плен в августе 1941 года. Когда мой отец был в Берлине на Потсдамской конференции 1945 года, ему сказали, что немцы расстреляли Якова незадолго до того, как лагерь был освобожден американскими войсками. Один бельгийский офицер прислал моему отцу письмо о том, что он был свидетелем гибели Якова. Позже, через несколько лет, о том же факте сообщалось в статье одного шотландского офицера в английском журнале. Но семья Якова так и не получила официального известия о его гибели из его военной части, и потому его вдова, дочь и я часто думаем, что, возможно, он все еще жив где-нибудь: так много советских военнопленных все еще остается в разных странах мира.

Мой брат Василий был летчиком, после окончания войны он стал генералом и командующим авиацией Московского военного округа. После смерти нашего отца он оставил армию и вскоре был арестован. Он говорил всем, что «отца убили соперники», и поэтому правительство решило его изолировать. Он оставался в тюрьме до 1961 года, когда его, совершенно больного, освободил Хрущев. Вскоре он умер. Причиной его смерти был алкоголизм, совершенно подорвавший его здоровье, и — конечно — семь лет тюрьмы. Но многие до сих пор не верят, что он умер, и часто спрашивают меня: «Правда ли, что он в Китае?..»

Фактически у меня нет сейчас никаких близких родственников, кроме моих детей — Иосифа и Екатерины.

Теперь об Индии.

В 1963 году, находясь в больнице в Кунцево, я встретилась с коммунистом из Индии, по имени Браджеш Сингх, приехавшим в Москву на лечение по приглашению КПСС. Такие приглашения рассылаются каждый год всем компартиям мира.

Сингх принадлежал к старому аристократическому роду Индии. Его племянник Динеш Сингх сегодня является министром иностранных дел. Браджеш Сингх вступил в коммунистическую партию в начале 30-х годов в Европе. Он подолгу жил тогда в Англии, Германии, Франции и стал близким другом и соратником М. Н. Роя. Он был европейски образованным человеком, а также хорошо знал классическую Индию.

В 1963 году после нашей встречи он уехал в Индию, чтобы вернуться в Москву в 1965 году в качестве переводчика

издательства «Прогресс». С этого времени он жил в нашем доме и мы планировали пожениться. Мы также планировали путешествовать вместе и поехать в Индию через три года, когда истечет срок его контракта с издательством «Прогресс».

Но Советское правительство и лично премьер Косыгин были против этого брака. Хотя закон СССР сейчас не воспрещает браки с иностранцами, мне этого не могли позволить. Нам не разрешили зарегистрировать наш брак, так как правительство полагало, что тогда я уеду из СССР насовсем.

Браджеш Сингх оставался в Москве полтора года, живя у нас. Мы все, включая моих детей, полюбили его. Но все эти запреты и препятствия потрясли его. Он был слабого здоровья (много лет страдал от астмы), и в Москве ему становилось все хуже и хуже. 31 октября 1966 года он умер. Я считала, что моей обязанностью было привезти его прах в Индию, для погружения в Ганг.

Для этой печальной миссии мне нужно было специальное разрешение премьера Косыгина. Он дал таковое, но лишь на две недели. Однако мне удалось задержаться дольше, так как в Индии я встретила друзей и родственников Сингха и начала думать о том, чтобы остаться в Индии. Но я встретила препятствия: ни советское правительство, ни правительство Индии не разрешили бы мне этого. Я должна сказать, что были и другие причины, почему я не желала возвращаться в СССР.

С детства всех нас — мое поколение — обучали коммунизму, и мы верили в него. Но постепенно, приобретая жизненный опыт, я стала думать иначе. Годы хрущевского либерализма, XX съезд партии многое открыли нам всем. Мы начали самостоятельно думать, дискутировать, спорить и уже не были, как автоматы, преданы всему тому, чему нас учили.

Кроме того, большую роль в моей жизни сыграл поворот к религии. Я выросла в семье, где никогда не говорили о Боге. Но став взрослой, я поняла, что без Бога в сердце невозможно существовать. Я пришла к этому сама, без чьей-либо помощи или проповеди. Но в этом был громадный сдвиг, потому что с этого момента все основные догматы коммунизма потеряли для меня всякую силу.

Я верю в силу интеллекта повсюду в мире, в любой стране. Я верю, что дом может быть где угодно. Мир слишком мал, человечество — это капля во Вселенной. Вместо борьбы и ненужного кровопролития человечество должно работать вместе для всеобщего прогресса. Это единственное, что для меня имеет серьезное значение: работа учителей, ученых, образованных священников, врачей, адвокатов — их совместная работа повсюду на земле, независимо от государства и границ, независимо от

политических партий и идеологии. Для меня не существуют капиталисты или коммунисты, а только лишь хорошие люди и плохие, честные или бесчестные. И где бы они ни жили, — повсюду на земле люди одинаковы, их важнейшие нужды и требования идентичны, как и их основная мораль. Мой отец был грузином, мать была весьма смешанной национальности, и, хотя я выросла в Москве, я верю, что дом может быть где угодно. Правда, я с молодости полюбила Индию, возможно, оттого, что учение Махатмы Ганди более соответствует моим понятиям, нежели коммунизм.

Я надеюсь, что когда-нибудь я смогу приехать опять в Индию и остаться здесь навсегда.

Мои сын и дочь остаются в Москве, и я понимаю, что, возможно, я не увижу их долгие годы. Но я знаю, что они поймут меня. Они тоже принадлежат к новому поколению в нашей стране, которое не одурачить старыми идеями. Они сделают свои собственные выводы о жизни.

Да поможет им в этом Бог. Я знаю, они не отвергнут меня, и придет день, когда мы встретимся: я буду ждать этого.

6 марта 1967 г. Дели[20]
Светлана Аллилуева

2

Доверенность адвокатам[21]

Я, Светлана Аллилуева, сим подтверждаю и передаю совместно и раздельно моим адвокатам Эдварду С. Гринбауму и Аллену Ю. Шварцу эту доверенность, с правом передачи и замещения, и тем самым уполномочиваю каждого из них действовать от моего имени во всех случаях, касающихся иммиграции, учитывая законы, правила и регуляцию иммиграции во всех странах повсюду в мире, а также перед любым правительством или администрацией, перед всеми агентствами и учреждениями, которые, возможно, будут действовать в вышеуказанных случаях.

29 марта 1967 г.
Светлана Аллилуева

3

Доверенность адвокатам

Я, Светлана Аллилуева, сим подтверждаю и передаю совместно и раздельно моим адвокатам Эдварду С. Гринбауму и Аллену Ю. Шварцу эту доверенность, с правом передачи и замещения, и тем самым уполномочиваю каждого из них действовать от моего имени, вести переговоры, учреждать и изменять соглашения во всех делах, касающихся продажи, передачи, лицензирования или иных форм использования моих авторских прав во всем мире на книги, статьи и иные литературные материалы, написанные уже или написанные в будущем, включая, но не ограничивая публикацию книг, журнальных или газетных статей, использование моих литературных произведений на радио, телевидении, их сценическую или кинообработку, а также взыскивать, хранить, вносить в банк и платить мне все суммы, полученные в результате вышеуказанных действий.

29 марта 1967 г.
Светлана Аллилуева

4

Передача прав Светланой Аллилуевой в пользу компании «Копекс» (г. Вадуц в Лихтенштейне), состоявшаяся 20 апреля 1967 г.

Поскольку г-жа Аллилуева является автором и владельцем всех прав на неопубликованную рукопись, озаглавленную «Двадцать писем к другу», а также поскольку компания «Копекс» желает опубликовать и владеть указанной рукописью,

постольку и, принимая во внимание сумму в 1.500.000 долларов (полтора миллиона долларов США), г-жа Аллилуева передает «Копексу» все свои права и доход от вышеуказанной рукописи, включая все авторские права, установленные законом, а также все права на возобновление и расширение подобных прав по всему миру.

Сумма в 1.500.000 долларов будет уплачена следующим образом:

— залог в размере 73.875 долларов уплачен сегодня;

— баланс в 1.426.125 долларов уплачен в банкнотах, доставленных г-же Аллилуевой сегодня.[22]

В свидетельство данной сделки обе стороны подписали это соглашение.

Копекс Светлана Аллилуева

5

Соглашение между агентством «Пасьенция» и издательством «Харпер энд Роу» о рукописи Светланы Аллилуевой

Издательство «Харпер энд Роу»
49 Ист 33-я улица,
Нью-Йорк, 10016 14 апреля 1967 г.

Господа,

нижеследующий документ после подписания обеими сторонами составит Меморандум о Соглашении между издательством «Харпер энд Роу» и агентством «Пасьенция» в г. Вадуц относительно покупки Издательством прав на вышеуказанную рукопись, русская версия которой находится в настоящее время во владении Издательства. Мы понимаем и соглашаемся, что более детальное Соглашение о публикации будет принято в надлежащее время, но до того момента настоящее письмо будет обязательным для обеих сторон.

1. «Пасьенция», владелец всех прав на рукопись «Двадцать писем к другу» по всему миру сим продает и гарантирует передачу Издательству прав на публикацию ее на английском языке в Соединенных Штатах, а также в Канаде в следующем порядке:

А. Права на книгу в твердой обложке.

Б. Права на книгу в мягкой обложке и права на переиздания.

В. Права на приобретение книги Книжными клубами.

Использование Издательством прав, отмеченных в пунктах «Б» и «В», должно быть одобрено «Пасьенцией», и это одобрение не будет задержано без достаточно серьезного для того повода.

2. В соответствии с правами, проданными Издательству, оно соглашается на следующее:

А. Нанять без финансовых претензий к «Пасьенции» переводчика, удовлетворяющего требованиям «Пасьенции», чтобы подготовить английский перевод рукописи, который будет одобрен «Пасьенцией».

Б. Опубликовать рукопись сразу же, как только будет закончен перевод.

В. Заплатить «Пасьенции» или ее представителю:

1) двести пятьдесят тысяч долларов ($250.000) в следующем порядке:

а) сумму в сто двадцать пять тысяч долларов ($125.000) при

подписании сего Соглашения; получение чего удостоверяется;

б) сумму в сто двадцать пять тысяч долларов ($125.000) не позже 5 июня 1967 г.

2) дополнительную продажную цену, если таковая будет, Издательство должно выплатить «Пасьенции» в соответствии с параграфом «А».

3. Сим «Пасьенция» назначает Издательство единственным агентом в связи с распределением прав на публикацию отрывков данной работы на английском языке в Северной Америке. Издательство соглашается, однако, не вести переговоров об этих правах ни с кем без предварительного согласия «Пасьенции», а только лишь с теми сторонами и на тех условиях, которые утвердит «Пасьенция». В обмен за это Издательство получает комиссионные в размере десяти процентов (10 %) со всех сумм, полученных «Пасьенцией» от распределения этих прав. Оставшиеся девяносто процентов (90 %) будут выплачены «Пасьенции» в течение семи (7) дней после получения Издательством 10 %, за исключением того, что относится ко второй серии публикаций отрывков из книги; это решение относится к пункту «А».

4. Издательство соглашается не объявлять о данном соглашении, данной работе и ее авторе, пока это не будет разрешено «Пасьенцией».

5. Все остальные права, не проданные или не переданные Издательству, остаются зарезервированными за «Пасьенцией». Безусловно, «Пасьенция» будет советоваться с Издательством, прежде чем продать зарезервированные права публикации данной работы, однако «Пасьенции» принадлежит право окончательного решения.

Принято и одобрено: С уважением

Издательство Эдвард С. Гринбаум,
«Харпер энд Роу» адвокат агентства «Пасьенция»
(Вадуц, Лихтенштейн)

6

Письмо адвокатской фирмы издательству «Харпер энд Роу», газете «Нью-Йорк тайме» и журналу «Лайф» о книге Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу»

Издательство «Харпер энд Роу», Нью-Йорк 10016 «Нью-Йорк таймс», Нью-Йорк 10036 «Лайф», Нью-Йорк 10020

Август, 1967

Уважаемые господа,

в результате дискуссий, проходивших недавно между различными заинтересованными сторонами, а также ввиду событий в Европе,[23] мы желаем подтвердить следующее.

1. Выход книги в издательстве «Харпер энд Роу» назначен на 2 октября 1967 г.

2. Газета «Нью-Йорк таймс» будет публиковать авторизованный сжатый вариант очерк книги в 30.000 слов в течение последующих двух недель, начиная с воскресного выпуска 10 сентября.

3. Журнал «Лайф» напечатает авторизованный[24] сжатый вариант книги в 30.000 слов в двух выпусках — 12 и 19 сентября.

4. Публикации в «Нью-Йорк таймс» и в «Лайфе» будут иметь подзаголовок: «Отрывки из книги „Двадцать писем к другу“, выходящей в издательстве „Харпер энд Роу“ 2 октября», а также поместят знак копирайта.

5. За пределами США первым покупателям прав на эти предварительные публикации будет разрешено начать публикацию 1 сентября, или позже, по их выбору.

6. Публикация книги вне США разрешена в любой день начиная с 21 сентября.

Кроме изменения сроков публикации на более ранние, все остальные условия и пункты соответствующего соглашения остаются в полной силе.

Будьте добры возвратить подписанную копию этого письма с посыльным, с тем, чтобы у нас был документ о согласии всех сторон с новым расписанием публикаций.

Искренне ваш

Морис С. Гринбаум

7

Договор между издательством «Харпер энд Роу» и «Копексом»[25]

Соглашение, заключенное 29 сентября 1967 года между издательством «Харпер энд Роу» и корпорацией «Копекс» в г. Вадуц, Лихтенштейн, представленной фирмой Штахелин и Гизенданнер (адрес: 39 Альфред Эшер Штрассе, 8027 Цюрих, Швейцария, «Копекс»).

Ввиду того, что издательство «Харпер энд Роу» вошло 14 апреля 1967 г. в соглашение с агентством «Пасьенция», действовавшим как неназванный агент «Копекса» для покупки прав на рукопись Светланы Аллилуевой, и ввиду того, что обе стороны желают теперь дополнить поименованное соглашение в отношении указанных прав,

стороны соглашаются о нижеследующем.

1. «Копекс» настоящим продает, передает, гарантирует, ассигнует и уступает издательству права публикации книги Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» на английском языке в США и в Канаде, с тем чтобы иметь и сохранить таковые права навсегда для себя, для своих последователей и правоприемников.

Проданные и гарантированные права являются полными и исключительными правами на издание книг в твердой и мягкой обложке, а также на право перепечатки и на права ее распространения через книжные клубы США. Этими правами может пользоваться как издательство «Харпер энд Роу», так и его доверенные лица в течение всего периода действия копирайта на указанную книгу, а также в течение дополнительного времени или продления срока действия указанного копирайта.

2. Издательство «Харпер энд Роу» обязуется передать «Копексу» для его письменного одобрения любое предполагающееся разрешение на издание книги в мягкой обложке, на перепечатку и на права книжных клубов, прежде чем таковое разрешение будет иметь место, и в указанном одобрении не будет отказано или оно не будет задержано без серьезных на то причин.

3. Стороны соглашаются в том, что Меморандум о соглашении,[26] состоящий из четырех страниц, и расписание публикаций на трех страницах войдет как часть в данное Соглашение во всей своей полноте. Изменения касаются лишь

того, что во всех случаях «Копекс» заменит «Пасьенцию».

4. Издательство «Харпер энд Роу» согласно зарегистрировать копирайт (авторское право) на данную работу в США на имя «Копекса» и включить во все издания указанной книги информацию о копирайте в пользу «Копекса» в соответствии с законами о копирайте в США и в соответствии с Всемирной Конвенцией о копирайте, а также с Бернской конвенцией. Копирайт английского перевода будет обозначен на имя переводчицы.

5. Издательство «Харпер энд Роу» согласно действовать в качестве агента «Копекса» в связи с распределением прав на первую и вторую публикацию отрывков указанной книги на английском языке в США в объеме, который укажет «Копекс». Невзирая на объем работы, которую издательство «Харпер энд Роу» выполнит для «Копекса», издательство получит 10 % прибыли от этого распределения. «Копекс» согласен уведомить издательство «Харпер энд Роу» о своих переговорах по поводу первой или второй публикации отрывков или по поводу любой иной публикации в любой форме, предваряющей выпуск книги, предусмотренный данным Соглашением, с тем чтобы издательство «Харпер энд Роу» смогло бы полностью соответствовать требованиям закона об авторских правах в США.

В случаях, если зарегистрированный копирайт на данную книгу или ее часть окажется обозначенным не на имя «Копекса», прежде чем книга выйдет в твердой обложке в издательстве «Харпер энд Роу», «Копекс»[27] согласен представить в издательство «Харпер энд Роу» зарегистрированную передачу этих копирайтов «Копексу», прежде чем книга выйдет в свет. Данный подпункт не относится, однако, к переводам указанной книги с русского языка.[28]

6. «Копекс» далее согласен информировать издательство «Харпер энд Роу» об издательствах всех изданий указанной книги в твердой обложке, которые появятся за пределами США, а также сообщить даты этих публикаций, как только таковые станут ему известны.

7. «Копекс» гарантирует издательству «Харпер энд Роу», что он является единственным владельцем указанной работы; что указанная работа есть оригинал и что она не посягает ни на чей копирайт или обычное право, ни на чьи права собственности, или любое иное право; что указанная работа не содержит в себе скандального, непристойного и клеветнического материала или нарушения чьих-либо прав личной жизни и что она ни в коей мере не противоречит законам территорий, обозначенных в пункте первом (1); что «Копекс» есть единственный и

исключительный владелец прав, переданных сим издательству «Харпер энд Роу»; что эти права не были ранее предложены или обещаны кому-либо другому и что «Копекс», обладает полным правом для вступления в данное Соглашение, чтобы осуществить продажу и остальные гарантии, указанные в настоящем Соглашении.

«Копекс» согласен освободить от материальной ответственности издательство «Харпер энд Роу» и оградить его от материальных потерь (включая обоснованное вознаграждение адвокатам), а также от убытков, которые может причинить ему суд, потребовав возмещения, возникших из-за нарушения предшествующих гарантий, как определено окончательным суждением. В случае если претензии такового суда будут успешно защищены, принимается к сведению, что компенсация «Копекса» будет ограничена пятьюдесятью процентами (50 %) всей суммы судебных издержек.

8. Если в случае обоснованного мнения издательства «Харпер энд Роу» появится значительный риск ответственности перед третьими лицами или опасность действий против данной книги со стороны правительства США или Канады; и в случае, если «Копекс» откажется разделить с издательством «Харпер энд Роу», по требованию последнего, все издержки издательствам (включая обоснованную плату адвокатам), в связи с устранением или облегчением вышеуказанного риска; или если, согласившись разделить подобные убытки, «Копекс» откажется одобрить изменения и редактуру рукописи, предложенные Издательством или его представителями, то издательство «Харпер энд Роу» — как владелец прав публикации — может отложить или совсем прекратить публикацию безо всякой дальнейшей ответственности перед «Копексом».[29]

Издательство «Харпер энд Роу» с надлежащей быстротой оповестит «Копекс» о любом требовании, претензии или судебном иске, и «Копекс» будет полностью кооперироваться с Издательством в защите. В случае претензий, требований или иска издательство «Харпер энд Роу» имеет право удержать платежи «Копексу», причитающиеся по данному Соглашению, чтобы сохранить обязательства «Копекса», изложенные в настоящем Соглашении.

Издательство «Харпер энд Роу» сохранит право расширить представительство и гарантии «Копекса», описанные здесь, вплоть до третьих лиц, с которыми Издательство заключает соглашения на данных условиях (например, с покупателями дополнительных прав на работу, гарантированных Издательству), и «Копекс» будет нести ответственность в такой же мере, как если бы таковые же

представительства и гарантии были первоначально даны этим третьим лицам. Гарантии и возмещение потерь, описанных здесь, сохранятся также и в случае, если данное Соглашение будет аннулировано. Издательство «Харпер энд Роу» письменно оповестит «Копекс» об этих третьих лицах и возможных с ними соглашениях.

9. «Копекс» согласен с тем, что, несмотря на то что данный пункт входит в противоречие с Меморандумом о Соглашении и приложенным Расписанием, за книги в твердой обложке, проданные по цене, сниженной на 50 % или более от первоначально установленной издательством «Харпер энд Роу», «Копекс» будет получать десять процентов (10 %) от суммы, фактически полученной издательством «Харпер энд Роу». Ничто содержащееся в Меморандуме о Соглашении и его Расписании не будет основанием для снижения продажной цены по отношению к остальным экземплярам, проданным через обычные каналы распространения.

10. «Копекс» согласен на то, что за экземпляры данной книги, используемые издательством «Харпер энд Роу» для рекламы или проданные им по цене, равной или же ниже себестоимости, он не будет получать проценты.

11. В случае, если издательство «Харпер энд Роу» продаст указанную книгу через агентства «книга-почтой» или посредством дополнительной рекламы в газетах и журналах, «Копекс» соглашается получить пять процентов (5 %) от розничной цены, установленной в таковой продаже, вместо цены, указанной в Меморандуме о Соглашении и Расписании.

12. Издательство «Харпер энд Роу» соглашается высылать почтой полугодовые отчеты о продаже книги «Двадцать писем к другу» по 30 июня и по 31 декабря каждого года; отчеты будут высылаться 1 октября и 1 апреля вместе с суммой, полагающейся к уплате в эти сроки. В этих отчетах будет указана продажная цена и сумма, причитающаяся от реализации данной книги и от распределения второстепенных прав. В случае, если «Копекс» получит переплату за продажную цену экземпляров книги, проданных, но позже возвращенных, он соглашается с тем, чтобы Издательство либо вычло эту переплату из будущих платежей, либо потребовало немедленного возвращения таковой переплаты, и таковое возвращение будет сделано сразу же по получении требования Издательства. В случае, если, по мнению издательства «Харпер энд Роу», имеется риск возвращения большого количества непроданных книг магазинами, «Харпер энд Роу» может удержать благоразумный резерв из сумм, причитающихся «Копексу». Таковой резерв может быть удержан только в течение

первых трех полугодичных отчетных периодов, следующих за публикацией книги в твердой обложке.

13. «Копекс» предоставил издательству «Харпер энд Роу» полную рукопись на русском языке, каковая была затем переведена г-жой Присциллой Джонсон Мак-Миллан. Как выбор переводчика, так и сам перевод были одобрены «Копексом» и издательством «Харпер энд Роу». «Харпер энд Роу» соглашается на то, чтобы все издания данной книги, опубликованные или разрешенные к публикации, содержали бы именно этот перевод без каких-либо изменений, сокращений или поправок.[30] Далее стороны соглашаются, что «Копекс» приложит все усилия[31] к тому, чтобы приобрести копирайт на английский перевод у переводчика, после того как книга будет опубликована, с тем, чтобы «Харпер энд Роу» смог бы получить свою долю дохода от использования этого копирайта.

14. В случае любого посягательства на авторские права (копирайт) на указанную книгу, Издательство может по своему усмотрению учинить судебный иск или применить меры, которые сочтет нужным, и, если «Копекс» согласится на таковую процедуру, расходы на нее будут нести поровну обе стороны, а доход от выигрыша дела будет поровну разделен между ними; если копирайт зарегистрирован на имя «Копекса», то издательство «Харпер энд Роу» обещает, что подобный иск будет учрежден Издательством от имени «Копекса». В случае, если «Копекс» откажется участвовать в суде о нарушении копирайта, все доходы по выигранному делу будут принадлежать Издательству, несмотря на то что копирайт принадлежит «Копексу».

15. Издательство «Харпер энд Роу» согласно предоставить «Копексу» десять (10) экземпляров указанной книги безвозмездно. Дополнительные экземпляры могут быть куплены «Копексом» по цене, сниженной на сорок (40 %) процентов от указанной продажной цены.

16. Данное Соглашение может быть передано другой компании любой стороной без согласия другой стороны, и его условия обязательны и действительны к пользе как обеих сторон, так и их правоприемников и уполномоченных.

17. Обе стороны согласны, что в случае, если сумма, причитающаяся «Копексу» от продажи указанной книги, превзойдет тридцать пять тысяч (35.000 долларов) за один календарный год после 1967 года, то издательство «Харпер энд Роу» распределит выплату сверхприбылей так, чтобы после 1967 года «Копекс» получал ежегодно не более 35.000 долларов.

18. Это Соглашение должно быть интерпретировано и

осуществлено как полная продажа прав, а не как лицензия на издание.

19. Все права, не гарантированные особо для издательства «Харпер энд Роу» в данном Соглашении или в предварительном Меморандуме о Соглашении, зарезервированы за «Копексом».

20. Настоящий документ является полным Соглашением между двумя сторонами, и ни один пункт его не может быть изменен иначе, как в письменном виде и с согласия обеих сторон.

21. Это Соглашение будет интерпретировано с точки зрения законов штата Нью-Йорк, независимо от места его подписания или исполнения.

В подтверждение сего стороны надлежащим образом оформили данное Соглашение в день и год, обозначенные выше.

«Копекс» «Харпер энд Роу»

8

POWER OF ATTORNEY

I, Svetlana Allilueva, do hereby and convey, jointly and severally, to my lawyers,

Edward S. Grecnbaum and

Alan U. Schwartz my power of attorney with power of substitution, thereby authorizing and empowering each of them to act for me in all immigration matters concerning the immigration Jaws, rules, and regulations of all countries throughout the world before any and ail governmental or administrative authorities, agencies, departments or other bodies which may be concerned with such matters.

March 29, 1967 SVETLANA ALLILUEVA

9

POWER OF ATTORNEY

I, Svetiana Alliluеva, do hereby grant and convey, jointly and severally, to my lawyers,

Edward S. Greenbaum and

Alan U. Schwartz my power of attorney with power of substitution, thereby authorizing and empowering each of them to act for me and to negotiate, execute and modify agreements on my behalf in all matters pertaining to the sale, lease, licence or other exploitation of any and all rights throughout the world in and to books, articles or other literary material written or to be written by me in all media, including, but without limitation, book publication, magazine and newspaper publication, and syndication, and radio, television, dramatic and motion picture uses, and to collect, secure, deposit, invest and pay out monies in connection therewith.

March 29, 1967 Svetlana Alliluеva

ASSIGNMENT

made April 20, 1967, by MRS. SVETLANA ALLILUEVA to COPEX ESTABLISHMENT, Vaduz, Liechtenstein.

WHEREAS, MRS. ALLILUEVA is the author and owner of all rights in an unpublished manuscript entitled «Twenty Letters to a Friend», and

WHEREAS, COPEX ESTABLISHMENT desires to publish or have published such manuscript,

OW, THEREFORE, in consideration of an amount of U.S. 1,500,000.00 (U.S. Dollars One Million Five Hundred Thousand), MRS. ALLILUEVA hereby assigns to COPEX (ESTABLISHMENT all of her right, title and interest throughput the world in and to the above manuscript, including but without limitation, all copyrights therein, both common law and statutory, and any renewals and extensions thereof throughput the world.

The price of U.S. $1,500,000.00 shall be paid as follows: I-a down payment of U.S. $73,875.00 has been made today; l-the balance of U.S. $1,426,125.00 is paid in notes which [have been delivered to MRS. ALLILUEVA today.

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed this instrument.

Copex Establishment Mrs. Svetlana Allilueva

11

April 14, 1967
Harper Row, Publishers, Inc.
49 East 33rd Street
New York, New York 10016

Re: Manuscript Written by Svetlana Allilueva

Gentlemen:

The following, when signed by us both, shall constitute a Memorandum of Agreement between you and Patientia Establishment, Vaduz («Patientia») concerning your purchase of certain rights in and to the above-referenced manuscript («the work»), the Russian version of which is presently in your possession. It is understood and agreed that a more detailed publishing agreement will be entered into at the proper time but until that time this letter will be binding upon both parties.

1. Patientia, the owner of all rights throughout the world in and to the work, hereby sells, grants, conveys, assigns and sets over to you the English language publication rights in and to the work for the United States, its territories and possessions and the Dominion of Canada as follows:

A. Hard Cover Book Rights

B. Paperback and Reprint Rights

C. Book Club Rights

Your exercise of the rights specified in paragraphs B and C above shall be subject to the prior approval of Patientia, which shall not be unreasonably withheld.

2. In consideration of the rights sold to you hereunder you agree as follows:

A. To employ, without financial obligation to Patientia, a translator satisfactory to Patientia to prepare an English language translation of the work, which translation shall also be satisfactory to Patientia.

B. To publish the work as quickly as possible after the translation has been completed.

C. To pay to Patientia or its assignee:

(i) TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND DOLLARS ($250,000) as follows:

a) The sum of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($125,000) on execution hereof, receipt of which is hereby acknowledged.

b) The sum of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($125,000) on or about June 5, 1967. (ii) The additional purchase price, if any, to which

Patientia may become entitled pursuant to Schedule A hereof.

3. You are hereby appointed by Patientia as its sole and exclusive agent in connection with the disposition of first and second North American English language serial rights in and to the work. You agree, however, not to negotiate or deal with anyone for the disposition of these rights without the prior approval of Patientia and then only with parties and upon terms agreed to by Patientia. In exchange for your services hereunder you shall receive a commission of ten per cent κ 10 %) of all sums received by Patientia from the disposition m these rights. The remaining ninety per cent (90 %) shall be 'remitted to Patientia within seven (7) days of your receipt [thereof, except that with regard to second serial rights the (provisions hereof shall be subject to Schedule A.

4. You agree not to issue or cause to be issued any initial announcement or initial publicity relating to this agreement, the work or the publication thereof, or its author, until permitted to do so by Patientia.

5. All rights not specifically sold, granted, conveyed, assigned and set over to you hereunder are reserved to Patientia. Patientia shall, of course, seek your advice prior to disposing of any reserved publication rights in the work but its decision in connection with such disposition shall be final.

Yours very truly,
Edward S. Greenbaum
Attorney in Fact for
PATIENTIA ESTABLISHMENT, VADUZ
ACCEPTED AND AGREED TO:
HARPER ROW, PUBLISHERS, INC.

1. Harper Row, Publishers Inc., New York 10016
2. The New York Times, New York 10036
3. Time Inc., New York 10020

Re: Svetlana Allilueva's Twenty Letters to a Friend

Gentlemen:

I As the result of the discussions held over the past week among I the various interested parties and because of the events in Europe, we would like to confirm the following:

1. Harper Row will publish on October 2nd.

2. The New York Times will publish the authorized 30,000-word extract over a two-week period commencing in the Sunday issue of September 10th.

3. Life Magazine will publish the authorized 30,000-word extract in two instalments in the issue of September 12th and 19th, respectively.

14. The New York Times and Life publications will carry a line «These are excerpts from the book Twenty Letters to a Friend, to be published on October 2, 1967 by Harper Row, Publishers Incorporated» and also carry the proper copyright notice.

5. The purchasers of first serial rights outside the United States will be authorized to commence publication September 10, 1967 or such later date as may be feasible.

6. Book publication outside the United States will be authorized on any date beginning September 21st.

Except for the advancement of the publication dates as set forth above, all other terms and conditions of the respective agreements shall remain in full force and effect.

Would you please sign and return the enclosed copy of this letter by messenger, so that we may have a record of everyone's agreement on the new schedule.

Cordially yours,

Maurice C Greenbaum

13

AGREEMENT made this 29th day of September, 1967 between HARPER ROW, PUBLISHERS, INCORPORATED, of 49 East 33rd Street, New York 10016 («HARPER ROW»), and COPEX ESTABLISHMENT, of Vaduz, Liechtenstein, care of Staehelin Giezendanner, 39, Alfred Escher-Strasse, 8027 Zurich, Switzerland («COPEX»).

WHEREAS, Harper Row on April 14, 1967 entered into a Memorandum of Agreement with PATIENTIA ESTABLISHMENT acting as undisclosed agent for Copex, for the purchase of certain rights in a manuscript written by SVETLANA ALLILUEVA; and

WHEREAS, the parties now desire to supplement said agreement with regard to the said rights;

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises contained herein, the parties hereto agree as follows:

1. Copex hereby sells, conveys, grants, assigns and sets over, to Harper Row, the English language book publication rights in and to a work by Svetlana Allilueva entitled TWENTY LETTERS TO A FRIEND, in the United States of America, its territories and possessions and the Dominion of Canada, TO HAVE AND TO HOLD forever and absolutely for itself, its successors and assigns.

The rights sold and granted are complete and exclusive hard cover book publication rights, paperback and reprint rights and book-club rights in the above stated territory. These rights may be exercised by Harper Row or licensees of Harper Row, during the term of copyright of the said work and any renewal and extensions thereof.

2. Harper Row agrees to submit to Copex, for its prior written approval, any proposed licence of paperback, reprint and book-club rights prior to execution thereof, which approval shall not be unreasonably withheld.

3. The parties agree that the Memorandum of Agreement, consisting of four pages and an additional Schedule of three pages, shall be deemed a part of this agreement as if fully set forth herein, except that «Copex» shall be substituted in every instance for «Patientia».

4. Harper Row agrees to register copyright in the said work in the name of Copex in the United States of America, and to include in all editions of the said work a copyright notice in the name of Copex in conformity with copyright law of the United States of America, the Universal Copyright Convention and the Berne Convention. Copyright in the English language translation shall be in the name of the translator.

5. Harper Row agrees to act as the agent of Copex in connection with the disposition of first and second North American English language serial rights in and to the said book to the extent Copex requests it to so act. Notwithstanding the extent of the activity of Harper Row on behalf of Copex, it shall receive 10 % of the proceeds of such disposition. Copex agrees to notify Harper Row of any negotiations it may conduct for first and second serial publication and for any other publication in any form in whole or in part, prior to the book publication contemplated by this agreement, in order that Harper Row may fully comply with all copyright requirements of the United States of America.

If any registered copyright in the said work or any part thereof shall be procured in the name of any party other than Copex prior to publication of the hard cover edition of Harper Row, Copex agrees to deliver to Harper Row legally recordable assignments of such copyright or copyrights in the name of Copex before the hard cover edition goes to press, except that the terms of this subparagraph shall not apply to translations of the work from the Russian language.

6. Copex further agrees to notify Harper Row of the names of the publishers of all hard cover editions of the work outside the United States of America and of the dates of publication of such editions promptly upon receipt of such information by Copex.

7. Copex represents and warrants to Harper Row that it is the sole proprietor of the said work; that the said work is original and does not infringe upon any statutory copyright or upon any common law right, proprietory right, or any other right whatsoever; that the said book contains no matter which is scandalous, obscene, libelous, in violation of any right of privacy, or otherwise contrary to the laws of the territory stated in Paragraph 1 hereof; that Copex is the sole and exclusive owner of the rights herein sold to Harper Row; that it has not previously assigned, pledged or otherwise encumbered the same; and that it has full power to enter into this agreement and to make the sale and other grant herein contained.

Copex agrees to indemnify Harper Row for, and hold it harmless from, any loss, expense (including reasonable attorneys' fees), or damage occasioned by any claim, demand, suit or recovery arising out of any breach of the foregoing warranties as determined by judgement finally sustained. If such claim, demand or suit is successfully defended, it is understood that Copex's indemnity hereunder shall be limited to fifty per cent (50 %) of the costs incidental to the defence of such claim, demand or suit.

8. If, in the reasonable opinion of Harper Row, there appears to be substantial risk of liability to third persons or of action against the work by the United States or Canadian governments, and if Copex,

upon request by Harper Row, refuses to share equally with Harper Row in the cost (including reasonable attorneys' fees) to be incurred by Harper Row in connection with the elimination of and/or lessening of such risk or, having consented to share equally in such costs, Copex refuses to authorize changes to be made in the manuscript as recommended by Harper Row and/or its representatives, Harper Row, as owner of publication rights, may postpone or cancel publication without further liability to Copex.

Harper Row shall, with reasonable promptness, apprise Copex of any claim, demand or suit and Copex shall fully cooperate in the defense thereof. In the event of any claim, demand or suit Harper Row shall have the right to withhold payments due Copex under the terms of this agreement as security for Copex's obligations as stated herein.

Harper Row shall have the right to extend Copex's representations and warranties contained hereinabove to third parties with whom it makes agreements pursuant to the terms hereof (such as purchasers of subsidiary rights granted to Harper Row herein) and Copex shall be liable thereon to the [same extent as if such representations and warranties were originally made to such third parties. The warranties and indemnities as stated herein shall survive in the event this agreement is terminated. Harper Row shall notify Copex, in writing, of the identity of such third parties and of the nature of the agreements with such third parties.

9. Copex agrees that notwithstanding anything to the contrary contained in the Memorandum of Agreement and Schedule thereto, with regard to all copies of the hard cover book sold at discounts of fifty per cent (50 %) or more from Harper Row's suggested list price, the additional purchase price shall be ten per cent (10 %) of the amount actually received by Harper Row. Nothing herein contained shall be deemed to reduce the purchase price as stated in the preliminary Memorandum of Agreement and Schedule, with regard to any other copies sold in the regular channels of distribution.

10. Copex agrees that there shall be no purchase price Kayable on copies of the said work used by Harper for promotional purposes or sold by it at a price equal to or below;he cost of manufacture.

11. If Harper Row makes any sales of the said work by means of direct mail, circular, or coupon advertising, newspapers and periodicals, Copex agrees to accept five per cent (5 %) of the retail price thereof as the purchase price payable In such sales in lieu of the price stated in the preliminary Memorandum of Agreement and Schedule.

12. Harper Row agrees that semi-annual statements of account as of June 30 and December 31 of each year shall be rendered by mail on October 1 and April 1 accompanied by remittance for respective

amounts due thereunder. Such statements shall contain the purchase price due from the sales of said book and the disposition of any subsidiary rights. Should Copex receive an overpayment of purchase price on copies reported sold but subsequently returned, it agrees that Harper Row may either deduct such overpayment from future purchase price due under this agreement or request an immediate return of such overpayment, which return shall be made promptly on receipt of a request therefor made by Harper Row. If, in the opinion of Harper Row, there is a risk of booksellers returning for credit a substantial quantity of unsold copies of the said book, Harper Row may withhold a reasonable reserve to compensate for such returns from the purchase price due Copex. Such reserve may be withheld only for the first three semi-annual accounting periods following the period in which publication of the hard cover book occurs.

13. Copex has delivered to Harper Row the complete manuscript in Russian, which manuscript has been translated into the English language by MRS. PRISCILLA JOHNSON McMILLAN. Both the translator and the translation have been approved by Copex and Harper Row. Harper Row agrees that all editions of the work published by it or licensed by it hereunder shall contain the translation exactly as approved by the parties hereto and without any changes, deletions or alterations thereof. It is further agreed that Copex will use its best efforts to obtain an assignment of copyright to the English language translation from the translator after publication by Harper Row, so that Harper Row may obtain its share of royalties and other revenues received from the use thereof.

14. In case of any infringement of the copyright to the work, Harper Row may, at its discretion, sue or employ such remedies as it deems expedient and if Copex agrees to such suit all such suits or proceedings shall be at the joint expense of both parties, and the net proceeds of any recovery shall be divided equally between them; if the copyright is in the name of Copex, such suit may be instituted by Harper Row in the name of Copex. If Copex refuses to join in an infringement proceeding, the proceeds of recovery shall be the sole property of Harper Row regardless of whether suit is instituted in the name of Copex.

15. Harper Row agrees to give Copex ten (10) copies of the said book without charge. Additional copies may be purchased by Copex at a discount of forty per cent (40 %) off the cover price.

16. This agreement may be assigned by either party without the consent of the other party, and its provisions shall bind and inure to the benefit of the parties and to their respective successors and assigns.

17. Both parties agree that in case the purchase price due Copex

from the said work shall exceed Thirty-Five Thousand Dollars ($35,000) in any one calendar year after 1967, Harper Row shall apportion the payment or payments of all such excess over a period of years so that there shall not be paid by Harper Row to Copex, in any one year after 1967, an amount which shall exceed $35,000.

18. This agreement is intended as and shall be interpreted as a complete sale of rights and not as a publishing licence.

19. All rights not specifically granted to Harper Row herein or in the preliminary Memorandum of Agreement are reserved to Copex.

20. This is the complete agreement between the parties and it may not be modified or a waiver of any of its terms claimed unless in writing signed by both parties.

21. This agreement shall be interpreted under the laws of the State of New York regardless of the place of execution or performance.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have duly executed this agreement the day and year first above written.

HARPER ROW, PUBLISHERS,

COPEX ESTABLISHMENT INCORPORATED

С.Аллилуева. 1968. Фото Кристофера Шеферда-Кушмана, помещенное на английском издании „Двадцати писем к другу"

С.Аймагуева и В.Петерс на день по приезде. 1970

Гимназисты «Гелиоса». В центре сидят: С.Аймагуева с мужем В.Петерсом. Слева возле стоит О.И.Райт с доктором Исламом. 1971

О.И.Райт

О.И.Райт и Новелла Райт. 1971

Ферма „Аспиндзари" в пятом Высокогорье. 1972

В.Питерс с дочерью Ольгой. 1971

С.Аллилуева и В.Питерс в церкви в день крещения Ольги. 1971

С.Аллилуева с дочерью Ольгой. 1971

Дом № 50 по ул. Вильсона.
Принстон. 1968

С. Аллилуева и С. Хайкина. 1972

С.Аплаучена с дочерью
Ольгой. 1975 г

С.Аллилуева с дочерью Ольгой. Принстон. 1980

С.Аллилуева с дочерью Ольгой. 1983

notes

Примечания

1

Мой внук и его одноклассники хорошо знают французский язык.

2

Мы в конце концов перестали посылать деньги в Индию, так как это было единственным реальным способом прекратить растраты и заставить семью Сингха передать госпиталь в руки работников здравоохранения.

3

Через пятнадцать лет в Грузии я встретилась с другими членами этой семьи… Но об этом — в другой книге.

4

См. поэтический цикл «Волны», (1929): «…оформясь во что-то прочное, как соль» (Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965, с. 349).

5

Ларри Спивак теперь не соглашается со мной, «не помнит» такого шепота и прислал мне стенограмму этой передачи. В стенограмме сказано, что я приглашена по поводу выхода новой книги. Но в тексте она не упоминается, и, естественно, что после предупреждения и я ни разу не упомянула книгу тоже… Слушатели, очевидно, полагали, что это все разговор «вообще» и ни слова не услыхали о второй книге перебежчика.

6

Как выразился в 1966 году тогдашний премьер Косыгин об индийском коммунисте Б. Сингхе.

Taliesin Fellowship.

Это был В. В. Питерс.

Общая сумма их была 460 тысяч долларов.

10

Теперь уже 55 лет. Он пришел в Талиесин в 1932 году, двадцатилетним студентом.

11

Шел суд в Сан Хозе (Калифорния) по поводу обвалившейся крыши театра, построенного Талиесином.

12

В последовавшие годы Иованна вышла замуж за этого студента и часто была в отъезде с ним вместе. Но приезды ее в Талиесин всегда сопровождались разногласиями с матерью. Потом, устав от этих битвмиссис Райт с помощью ненавистного доктора объявила Иованну наркоманкой, нуждающейся в специальном лечении в институте, и Иованну заперли в таковом частном учреждении где-то в Коннектикуте. Постепенно она потеряла и мужа. Ее лишили всех прав, денег, собственности, и дректора Талиесина (доктор в их числе) объявили себя ее полными опекунами. Так закончилась эта неравная битва дочери с матерью. После смерти миссис Райт в 1985 году Иованна, кажется, выбралась наконец из своего заточения, но на самом деле разрушенная многолетним «лечением». В Талиесине ей не бывать, пока доктор все еще в его директорах и, по существу, вместе с другими управляет Архитектурной школой и Фирмой ее отца…

В целом — более семисот тысяч долларов.

14

Он закрыл все операции на ферме и отделил мои деньги в банке от моего мужа.

15

Как написал в свое далекое время Константин Симонов. «Трубка после обеда // конец трудового дня // тихая победа // домашнего огня». Я все еще помнила хорошо русские стихи, поэзию. Но забывала окончательно разговор. И совсем перестала к этому времени думать по-русски.

16

См. «Только один год», 1969, изд-во «Харпер энд Роу», части 2 и 3.

17

См. Приложение.

18

Эдит Чемберлен умерла в 1985 году в возрасте 96-ти лет в Принстоне, в своем маленьком домике у озера.

«People». Anthology. London, by Chatto Windus, 1983.

20

Впервые напечатано с разрешения посла Честера Боулза в книге: Светлана Аллилуева. Только один год, 1969, Нью-Йорк.

21

Приведенные в данном Приложении подлинные документы 1967 года, воспроизведенные в индийском (Дели, 1984 г.) издании «Далекой музыки» на англ. языке, были переданы мне фирмой «Гринбаум, Вольф и Эрнст» только в 1979 году, после настоятельных требований моего тогдашнего адвоката, желавшего ознакомиться с законной стороной выхода моих книг. Здесь эти документы даны под номерами: 2–7.

22

Мне никто ничего не «заплатил», и я не имела понятия, куда девались те банкноты, которые мне показали (в чемодане) и убрали. Я оставалась совершенно без денег до мая 1967, когда я уже была в США на Лонг-Айленде. Никаких отчетов мне никто никогда не давал. Кто тратил деньги «от моего лица», и на что, мне неведомо. Но я их не тратила и не видела. Соответственно доверенности все деньги были в руках у адвокатов. (См. документ № 2.)

23

Москва выслала через Виктора Луи «свой» вариант книги и пыталась напечатать его в Европе, чтобы тем остановить нашу публикацию в США.

24

Никакой авторизации публикации ни в «Нью-Йорк таймс», ни в «Лайфе» я как автор не давала и даже не знала, что вместо «отрывков» Присцилла Джонсон Мак-Миллан сделала сокращенный вариант моей книги, написанный ею от первого лица: т. е. публика считала, что это написано мною. Содержание было грубо искажено публикатором.

25

Официальный договор между агентом и издателем подписан, как это видно здесь, за три дня до фактического выхода уже переведенной книги. По существу, рукопись была передана издательству «Харпер энд Роу» и переводчице для работы уже в марте 1967 года. Официальное оформление последовало значительно позже, возможно, по настоянию представителей «Копекса» (швейцарских адвокатов). В Нью-Йорке же Гринбаум, Вольф и Эрнст попросту передали рукопись своему клиенту — издательству «Харпер энд Роу». «Копекс» оставался какой-то мистической «фигурой», существующей лишь на бумаге.

26

Между «Пасьенцией» и издательством «Харпер энд Роу» (см. документ № 5).

27

На мои многочисленные вопросы, «что же такое „Копекс“?», мои адвокаты отвечали: «„Копекс“ — это вы». Этот ответ сделал всю процедуру еще более непонятной для меня.

28

Эти предосторожности относились, по-видимому, к различным «вариантам» якобы моей книги, продававшимся в то лето в Европе через Виктора Луи и даже печатавшиеся в журналах.

29

Отголоски этих конфликтов дошли до меня в то время только благодаря копии письма Дж. Кеннана к моим адвокатам, переданной мне Алленом Шварцем. В письме к ним Дж. Кеннан просил их «уговорить» меня отложить публикацию. Шварц указал, что ни одно издательство не согласится с таким откладыванием, так как это будет просто провалом издания. Правительство СССР в то время прилагало все усилия, чтобы отложить или запретить публикацию моей книги в канун 50-летия Октябрьской революции, считая таковую «пропагандистским выпадом» против СССР. В силу именно этой опасности запрещения издания правительством выпуск в свет моей книги был ускорен и назначен на 2 октября. По выходе «Двадцати писем к другу», Харрисон Солсбери написал, что… «Кремлевские стены не упадут от публикации этой книги».

30

Мне пришлось сделать исправление грубейших ошибок вскоре, при подготовке издания в мягкой обложке в 1968 году. Никто не настаивал на «идентичности», так как уже всем было известно, что перевод был неточным и, по выражению Эдмунда Вильсона, «вульгарным».

31

Копирайт на английский перевод до сих пор остается собственностью Присциллы Джонсон Мак-Миллан, а это значит, что при переиздании книги, можно пользоваться только этим текстом.